84(2=Рос=Рус)6
Б-89

Александр Брюховецкий

КРАСИВО ЖИВЕМ

Сух. тип. 3569—35 000 000.

84(2Рос=Рус)6
Б-89

Александр Брюховецкий

КРАСИВО ЖИВЕМ

РАССКАЗЫ

58494-1

Кемерово
Сибирский писатель
2011 г.

АБ Тайгинская ЦБС
МБУ "ЦБС Тайгинского городского округа"

ББК 84.3Р7
Б87

Брюховецкий А. Н.
Б 84.3Р7 «Красиво живем»: рассказы/
А. Н. Брюховецкий. – ООО ПК «Офсет»; 2011. – 240 с.

ISBN 5-85119-043-4

ББК 84.3Р7
Б87

ISBN 5-85119-043-4

© Брюховецкий А. Н. 2011
© ООО ПК «Офсет» 2011

ПРО ЧАЙНИК
(рассказал Михаил Иванович)

Надумали мы как-то с женой чайник купить. Да не какой-нибудь там… эмалированный, а блестящий зеркально и со свистком. Это ж милое дело: сидишь ты, к примеру, в зале, глазеючи в американский телевизор, а у тебя на кухне германский чайник посвистывает: вставай мол, закипел я, пропусти кружечку…

Спасибо перестройке, что предоставила нам такой выбор товаров, кроме этой, как её… зарплаты. Кругом шик, блеск, продавцы улыбаются, здороваются, как будто мы давно знакомы. А чайников этих... прямо сказать, хоть граблями греби, и самые разные, ну, разумеется, и цены тоже разные. Они ведь, цены, и должны быть разными – рынок ведь.

Ну, значится, снял я спецовку, морду перед поездкой хорошенько помыл, жена тоже намарафетилась… Волнуемся.

Страшно волнуемся: шутка ли, всю женину зарплату считай придётся за чайник отдать. Чутьё, оно подсказывает, что эта посуда столько не может стоить, но ведь капитализм – язви его… забудь про себестоимость. Оно, если здраво рассудить, можно и без чайника обойтись – в кастрюльке, к примеру, кипяти, и пей сколько душе угодно. Но с другой стороны, неудобно в кастрюльке-то – струя шибко широкая идёт, можно себя, гостя ошпарить, язви его… Правда, мы уже с супругой приноровились и в кастрюльке... (советский сгорел), два года уже как приноровились, а тут жена раз!.. и поставила перед фактом: чайник, — говорит, — надо купить. Хватит, говорит, по-скотски жить. Все люди, как люди… из чайника внутренности полощут, а мы как…

Я то её, конечно, понимаю, как хозяйку, хорошая посудина она не лишняя в хозяйстве – перед людьми стыдно не будет, а чайник он и с носиком и свистком, и того… с ручечкой.

На другой день уже на работе все знали, что я за покупкой намылился в выходные. И, казалось, что тут особенного: какой-то чайник человек приобретает... мелочь вроде. Ан нет, судя по стоимости – не мелочь. В общем волнуемся, как те собаки у мангала. Ну приехали, по рынку шляемся – чайник заприметили – прицениваемся. А он-то, действительно хорош: блестит и морду, как в зеркале отражает, хоть брейся или прыщи выдавливай.

Я за ручечку приподнял его, щелчка дал в крутые бока, себя в отражении разглядываю, и жена тут же отражается с своим серьёзным ви-

дом. А на чайник и не следует серьёзно смотреть по причине его округлости – морды на нём кособочатся – смешно даже, вот только цена не позволяет смеяться.

Я спросил у торговки с сигаретой в зубах:

— А скажите, любезная, какая ему цена?

А та:

— Тысяча.

Мы чуть не упали. Баба моя, гляжу, побледнела. А продавщица нам опять:

— Берите, берите, последний остался, задёшево уступаю. Он же со свистком и сиянием блестит вдобавок.

— Я, — говорю, — вижу. – И давай свисток отстёгивать, чтобы дунуть в него значится. В смысле с проверкой на исправность, а торговка снова.

— Свистулька, господа, не снимается, она откидывается. Как чай наливаете, так и откидываете. На пружинке она.

А как же я дуну в него? – Почесал я за ухом.

А та в ответ:

— И нечего туда дуть. Всё там в исправности. Этот чайник от серьёзной фирмы – германский он. Дома он у вас засвистит, как закипит так и того…

Долго мы на него смотрели, словно два удава. Красивый, гад, чайник-то, но дорогой очень!..

Походили мы по рынку, посмотрели внимательно и нашли такой же, но уже за семьсот пятьдесят. Вот так удача!.. На душе веселее стало. Я опять ногтем его обстучал, в отражение глянул, ушами пошевелил, засмеялся, а баба моя, гляжу чего-то всё серьёзная. А рынок огромный, давай мы его тщательно исследовать на предмет дешевого чайника. И точно!.. хоть и устали шляться, но опять удача! Опять такой же чайник: всё так же, ручечка, свисток, отраженьице, и ценник на нём – шестьсот двадцать. Смотрю, жена улыбается – значит будем брать.

Купили мы, значится, этот чайник и на вокзал с лёгкой душой. По дороге ещё на один рынок заскочили – рыночек. Смотрим, а там такой же чайник, но уже за четыреста пятьдесят. Мне плоховато чего-то стало. Не по себе в общем, и баба задёргалась. Я у продавца, мужика дебелого, и спрашиваю:

—А чего это, — говорю, — этот чайник по такой цене продается, уж не дырявый ли он случаем?

А мужик грозно отвечает:

— Ты фирму не оскорбляй! Чайник этот германский, и продаю я его с большой скидкой, считай задаром.

Расстроились мы и поплелись дальше. А у вокзала в одном бутике мы опять увидели такой же чайник, но уже за триста рублей. Хорошо валидол с собою взяли… Друг на друга злимся, что сразу здесь не глянули, да спекулянтов понужаем скверными словами.

Домой приехали убитые. Распаковали покупку и скорей его на плиту ставить. Соседи пришли, любуются, морды подносят поближе, чтоб отражаться, а я успокаиваюсь потихоньку: не протекает ведь, и жду когда вода закипит. Глаз не спускаю с чайника, сердце бьётся учащённо. Смотрю, пар уже вовсю... а свиста нет. Расковырял свисток, крутил, вертел, дую в него, а он и не шипит даже.

Весь день мы словно в трауре были. Расстроены до предела. Потом успокоились: пусть и не свистит, главное — отражает хорошо и не протекает. Но через неделю чайник потускнел и как мы его не тёрли – только хуже сделали. Шурин потом зашёл как-то говорит: «Фуфло вы китайское купили, однако.» Наверно он прав. Вот так, думаю, дожились, язви его!..

В следующий раз обязательно шурина с собою возьму.

ИНИЦИАТИВА

(рассказал Иван Иванович)

Как-то делать было нечего. Не так, чтоб совсем нечего – работа завсегда имеется, просто надо себя иногда от неё отваживать. Вон, господа капиталисты совсем замотались с этой работой, жалко мне их, торгуют и торгуют без выходных и праздников – не ленятся же.

А я, честно, не трудоголик. Не могу я, к примеру, траншею копать и днём и ночью, да ещё и в постели думать о ней. Надо отдых себе устраивать – отвлекать своё тело от всевозможных лишних усилий. Вот я и решил отдохнуть, в смысле релаксацию небольшую сделать, и поехал в город.

Денег, правда, у меня больших не водится (у меня их отродясь много не водилось), так на мороженое и семечки хватает. Раньше мои предки с хлеба на квас перебивались, а я вот таким образом…

В общем приехал в город – отдыхаю, на трамвайчике катаюсь, рекламой самой разной любуюсь. А рекламы, как червей в навозе, - глазам больно и мыслям тесно. И чего это, думаю, такой огромный плакат растянули через весь проспект: « По-о-лная распродажа». Думаю, как это понимать? Потом смекнул, что до этого она была не полной, шутейной как бы, а тут на тебе!.. полнейшая – без остатка, бери давай, бери, бери… чтоб тебе… Грудь мою распёрло от такого приглашения, аж голова от счастья закружилась, хотел побежать и купить, много, много раз купить, но сами знаете… Да ещё скидки эти… Ты не накидывай – скидывать не придётся.

Покатался я немного и решил на скамеечке в парке посидеть. Сижу, мороженое откушиваю в стаканчике вафельном. Прямо со стаканом его поглощаю – хорошо ведь придумали – еду вместе с посудой жрёшь. Мыть, понимаешь, не надо и не намусоришь.

Сижу, жизни радуюсь. Птички тренькают, дамы прохаживаются, мужики. Кто бутылкой пива балуется, кто дешёвым портвейном – в общем пар выпускают. Про творчество Фёдора Михайловича Достоевского, честно скажу, не спорят, в основном про какие-то проблемы: кто-то кому-то задолжал и что тому уже пора морду бить за это.

Противно мне стало, потому что вспомнил, что и я должен одному некоторую сумму – терпит давно уже, а может и обозлиться…

Ну, я на этих прохожих сильно внимание не стал заострять и стал глядеть на небо. Там обнаружил две высоченные заводские трубы. Из одной дымовуха страшная идёт, а вторая пламень ясный из себя выбрасывает. И этот огонь, говорят, уже лет девяносто небо греет. Какой-то попутный газ от какого-то важного продукта исходит, вот его и подожгли, чтоб не вонял по городу. А важный продукт спокойно себе перерабатывается.

Во-первых, это правильно, конечно. Раз мешает – долой его. Это, наверно, происходило так: запустили, значит, преогромнейшую печку и ненужное полетело в трубу. Потом чувствуют смрад ужасный от разложения продукта идёт, и начальник тут крикнул рабочему: « А ну-ка залезь и подожги его к такой матери, чтобы не вонял тут». Ну мужик залез, поджёг и прикурил даже от гигантского факела. Работяга этот на доске почёта побывал даже, да и помер, однако, а факел горит и горит.

Гляжу я, как полыхает он и размышляю: « А ведь зря горит, пользы никакой. Не по-хозяйски это».

Гляжу долго и представляю.

Представляю я, как наверху, над этим пламенем греется огромный чайник. А для чего? – спросите вы. Отвечу – для пользы.

Конкретная польза будет от горячей воды. А это уже во-вторых: заварки если туда насыпешь – вот тебе и чай. Ну чай это смешно. А вот морды бомжам отмыть запросто можно. И бесплатно к тому же. Да они сами к этому чайнику сбегаться будут. Сполоснутся и пойдут дальше умытыми мордами город украшать.

И так у меня засвербилось… так заегозилось с этой идеей, что я тут же побежал к высокому городскому начальству.

Это начальство меня, конечно, выслушало. Оно то морщилось, как сушённый урюк, то разглаживалось и сияло, словно лампочка в пятьсот ватт, потом сказало.

— В общем-то здорово, поздравляю! Чайник мы запросто склепаем нужных размеров. Вот только я щас позвоню Сан-Санычу – начальнику этого огня, и мы благое дело быстро порешим.

Я просто задохнулся от волнения, как будто мне уже медаль дают за заслуги перед Родиной. Весь в струнку вытянулся… жду. А начальство поговорило с Сан-Санычем, поморщилось, как после уксуса, да и говорит мне:

— Сожалеем, мой друг, но эта вода дармовой никак не будут.

— Как же так? – спрашиваю.

— А так, — отвечает высокое начальство, — рынок есть рынок, за огонь платить надо.

— Так он же зря горит! – возмущаюсь.

— Оно-то так, но как только начнёшь греть – плати. Рынок, понимаешь.

Приуныл я, что хорошая идея на корню подрублена, и пошёл на вокзал.

Взял билет и, ожидая автобус, с грустью посмотрел на трубу с бесполезным огнём. Ну раз, думаю, не вышло – надо эту идею оставить, и перевожу взгляд на соседнюю трубу с клубящими облаками дыма, и вот на тебе!.. опять «ноу-хау!» А что если этот дым активно использовать, чтобы к каким-то нуждам приспособить. И тут же сообразил: «А для копчения рыбы и мяса».

Единственное в чём закавыка, так это в химическом составе дыма. Но раз, думаю, им город дышит, значит организм уже усвоил его, а раз так, то и выгода налицо. Вот только как начальство отреагирует, то которое этому дыму хозяин. Неужели, думаю, и за дым деньги стребуют.

Ведь в стране рыночная экономика всё-таки. А так если по-хорошему реализовать обе мои идеи, то всегда будешь сытым и мытым.

Ведь здорово!

ДЕНЬ НЕУДАЧНЫЙ

(рассказал Иннокентий Иванович)

Как дела, говоришь? Да дела, прямо сказать, не блестящи: то тут, то там поддаёт, в поясницу.. да везде… На погоду что ли?.. или ещё чего. Неудачный день какой-то. А вчерась тоже не лучше было: решил я к этим парням сходить, как их там… да ты их знаешь. Все к им ходют за подмогой.

Нет, не Малаевы, это раньше все думали, что у их фамилия такая, а они... Тьфу ты!.. А, вспомнил! – Колупаевы. Мишка значит, Костя и Васька. Три брательника их, семейный подряд – кому чего там… и не дорого, а бывает и за бутылку только. Ну это смотря какая работа.

Ну вот... А мне, сам знаешь, позарез забор надо поставить, а то скотина все вытаптывает. Ну и поплёлся я к этим братанам. Далековато, правда, аж на край деревни. Иду и думаю, самое главное, чтоб они тверёзые были. И совсем неважно, что у них с фамилией изменения, на морды ведь пластически операции не сделали – какой им смысл рожи менять, это не в их интересах – заказчик опознавать не будет. Правда, реклама у их не на уровне – пьют шибко, подлецы…

Ну и пришёл я к им. Гляжу, у самих-то забор валяется, а калитка еле на веревочке держится: руки, видать, не доходят, - всё для людей, для людей…

Хотел я покричать братовьёв-то, да вдруг слышу кто-то сопит громко под черёмухой. Пригляделся – вроде Мишка лежит. Подошёл я к ему, а от его прёт, аж черёмуху перешибает… В общем наклюканный он. Прошел я потихоньку в сенцы – тихо, в доме тоже никто песен не поёт. Постучался – дверь сама открылась, а там, в горнице, у стола, ещё один «труп». Пригляделся – Костя на половиках дрыхнет, и тоже от его прёт… Глянул в спаленку – там мамашка ихня, Ильинична, пузыри пускает – причащённая тоже… а она от их не отстаёт. Во-во... а где ж, думаю, Васька? С кем разговор держать?

Вышел я, походил по двору. На завалинке посидел, а тут и Васька нарисовался: где-то шлялся, видать. Ну конечно же, пьяный. А как же?!.. Но не совсем. Поручкался, рядом сел. Закурить попросил.

Спрашивает:

— Как дела Иваныч?

— Да дела, Вася, никудышные, — говорю, — скотина, — говорю, — огород вытаптывает. Забор надо ставить. Подсоби, Васёк, да цену назначь.

Обсказал я ему, сколько надо столбов штук, да жердей. Васька сильно голову вниз опустил, аж до самой земли, я думал – уснул, а он потом:

— Замётано, Иваныч. Ну, к примеру, я много не возьму с тебя… в общем триста и магарыч.

Я аж возрадовался – недорого. Ударили по рукам.

Васька говорит:

— Как того братовья оклемаются, так сразу.

— А когда оклемаются? – спрашиваю. – Скотина ведь того…

— Ну не сёдня, и не завтра. Может послезавтра…

Мы опять ударили по рукам, и я пошёл домой. Нехорошо, конечно, что все они пьяные, но Васька слово держит, я знаю.

Ну и пошёл я. Улица длинная, да ты же знаешь. Иду неторопко, размышляю, сколько надо гвоздей прикупить, а гвозди тоже дорогие – капитализьм долгожданный для мужика опять наступил. Хорошо, что ещё такие люди есть, как эти братовья. И вот иду и на душе легко — легко мне так…

Иду и гляжу: впереди, далеко, собака крупная маячит. Мне вдруг неприятно как-то стало. Не люблю я собак которые не на привязи. Чего-то они завсегда ко мне пристают, наверно, чуют, что я их презираю. А как же их любить-то, ведь неизвестно, что у ей на уме: тяпнет, или нет…

Ну иду и смотрю – вроде прохожих не задевает, ну так кое-кого нюхнёт и дальше бежит. А бежит она навстречу мне, по моей стороне. Ох и здоровая кобелина, сдалека видно, что породистая, ну прям с телка целого. Пригляделся – да, кобель. Кобелище!.. эт, слышь, у моего соседа, Гришки, кобель в доме живёт – ротвелер – порода такая. Я както у Гришки и спрашиваю: «кобель поди килограмм на полста потянет, морда-то вон какая… Нет, говорит, восемьдесят. И то, говорит, он щас прибаливает. А так до сотни дотягивает Хохо!. Вот это кобелина!..

Ну а этот, который мне навстречу бежит, может и не ротвелер, может и не прибаливает, но здоровый тоже кобеляка. И тут я потихоньку перехожу на другую сторону улицы, уступаю этому зверю дорогу. А он, гляжу, тварь, тоже переходит на другую сторону, то есть на мою опять. Вот сука! Я беру, значит, и снова перехожу на прежнюю сторону, смотрю

– кобелина подлая, опять перебежал дорогу, и опять я с им в лобовую. Я беру и снова перехожу и он тоже. Разберись тут, случайность это или ещё чего… Ну не буду же я туда-сюда бегать: люди подумают ещё – ненормальный Иннокентий Ивавнович.

Я даже морду отвернул в сторону и иду, чтоб на него не глядеть, каким он там курсом двигается. Не гляжу и поругиваю всё собачье племя да нашего главу администрации села, что он бродячих собак не отстреливает. Не гляжу в общем на него, а гляжу на дом Жоржа Буравского. На фронтоне у его ангелочки резные из дерева. Ишь, думаю, как ты красиво живёшь, Жжоржик. Ничего, ничего, кончилась советская власть – приватизируют совхоз скоро – не наворуешься. А то ить полхозяйства разворовал. В общем фиг тебе будет с маслом, Жорж!..

Иду и сам не заметил, как с кобеля да на Жоржа переключился, потом гляжу, а кобель вот он уже… и взгляда собачьего с меня не сводит.

Сходимся мы с им, я правда, чуть правее беру – пропускаю его, а сам внутри негодую, но делаю вид, что мне совсем нет дела до всяких там собак. Даже насвистывать стал «Подмосковные вечера.»

Прошёл кобель мимо меня, глянул только слегка и разминулся. Меня, конечно, и отпустило, полегчало… Вздохнул я глубоко, плечи расправил, и тут, понимаешь, мне прямо в зад кто-то как воткнётся… да как задышит. У меня в коленках ноги так и обмякли, но я иду и вида не подаю, мол, ничего особенного в этом нет, а кобель проклятый идёт и идёт таким образом.

Остановился я. Кобель тоже. Я в сторону – он зарычал. Я стал и не двигаюсь. А он, подлец, поднял заднюю ногу и… окропил меня горяченьким… Ну ты знаешь... меня никто вот так… никогда… хоть скрозь землю провались. Во, позор!.. Детишки, слышу, смеются где-то…

Ну сделал он своё дело и пошёл дальше. А на душе у меня… Да неужели ему столбов мало! Вон сколько их. Вот так вот. А ты, как дела? На днях ежели Васька не придёт по поводу забора, то мне придётся к ему идти. А как?.. А может этот кобель меня поджидает: где этот столбик ходячий!.. Паскудство в общем какое-то. Одно ясно – день неудачный у меня сегодня.

МУЖИК С ОТВЁРТКОЙ

Мужик шёл по аллее. Шустренько шёл – спешил видать, а руке отвёртка. Чего она в руке – непонятно. Лучше ведь в кармане, чтоб не видели. А она вся тут – неприятно – жутковато. Это если бы все так с незачехлённым инструментом… Ну, допустим, мужик этот – электрик. А если бы плотники… с топорами… Может у этого электрика карман прохудился – сквозонёт отвёрточка в прореху – ищи потом. Может и так. А может он специально так крепенько зажавши её… и со взором горящим…

А взгляд у мужика недобрый и щёки запавшие – голодный мужик, значит. А голодные все злые. А может он просто уставший – ковырялся полдня со счётчиком у знакомых – фазу искал, а та, чёрт знает её, была в самом деле или причудилась. Вот он искал её, искал, а те знакомые и не позолотили ручку, потому что нет электричества. Ему так и сказали: «Иди ты, иди…» И он пошёл. А морда злая и отвёртка в руке. И мысли всякие недобрые у него в голове роятся, а тут ещё эти прохожие туда-сюда, туда-сюда, да на отвёртку опасливо поглядывают.

И правильно, что поглядывают – мало ли чего… Человек не в настроении, и ещё эта в рука… поблёскивает зловеще. Хотя мужик на первый взгляд держит её как-то небрежно, а на самом деле долго ли её стиснуть… и потому все себя очень нехорошо чувствуют при виде этого электрика, да как нехорошо!.. страшно им! Времена-то вон какие!.. тяжёлые времена… правда, они у нас лёгкими никогда не были. Ещё много лет тому назад кто-то выкрикнул: «Кому живётся весело, вольготно, понимаешь!..» А ему тоже кто-то в ответ: «Товарищ, верь взойдёт она!..» Вот все и ждут, когда она взойдёт, а тут этот мужик настроение сбивает – электрик этот.

Конечно, может, он и не электрик вовсе. А просто купил мужик отвёртку, чтобы тут же за углом дырочку в ремне проковырять. Подзатянуть ремешок. Штаны падают окаянные – похудел. А что ж не похудеть, когда всё кругом не так, как хотелось бы. Съел мужик, однако, что-то непотребное и, пожалуйста – диарея. Он, видимо, думал: раз упаковка такая красивая, значит и внутри оно такое же… а оно – отрыжка от производителя, вот и…

А вдруг мужик от природы такой худой и злой, на всех смотрит с пренебрежением: «Ужо я вам!..» — и инструментом водит для острастки. А прохожие что? А у прохожих холодок по спине, и ноги ватные сразу. Как же так, днём белым с небритой мордой и вооружённый. У них,

у прохожих, тоже может кое-что за пазухой имеется – камень, но они же не показывают вида…

А этот прям из себя весь, смотрите мол, каков я без прикрас, могу в смысле и пырнуть, если что не так.

Грех так думать, но в наше нелёгкое время… Хорошо, что этот мужик не пьяный, ну разве ему чуть-чуть плеснули – грамм двести за то, что он всё-таки нашёл третью фазу, а те возрадовались и возблагодарили мастера…

Теперь он вышагивает целеустремлённо до хаты, чтобы наступить жене на горло и выжать несколько рублей и к Бахусу в объятия на недельку. Мужик, конечно, пусть выпивает раз есть на это желание и средства, вот только отвёрточкой бы не размахивал на улице, а то ведь граждане подумают, что сейчас всё можно да и выйдут завтра кто с чем, да и начнут размахивать, да и начнут…

Времена-то вон какие!..

КАК МУЖИК ХОТЕЛ МЕДВЕДЯ ОБМАНУТЬ

(сказка)

У одного мужика исчезли пчёлы. Целый рой. Ох, и намаялся он, бедняга, бегая по окрестностям деревни. А у мужика было двое детишек-сладкоежек, да и сам он любил медком побаловаться.

Вот бродит он по реке опечаленный, ко всякому звуку прислушиваясь – не загудит ли где его рой, чтобы позвать его в свой улей. Встречал мужик рыбаков и спрашивал у них, не видели ли они его пчёл, но те лишь качали головами, не отрывая глаз от своих удочек. Спрашивал он и у землепашца, на что тот, вытирая пот со лба, отвечал.

— Видел я тут несколько. Одна даже ужалила меня.

— Нет, нет, их не несколько, а целый рой, — вздыхал мужик и шёл дальше.

Не найдя свой рой поблизости, решил он сходить за реку, где был лес и проживали там не только дикие звери, но и дикие пчёлы. «А вдруг мои пчёлы, — думал мужик, — подружились с дикими и остались у них жить».

Долго он ходил по лесу, в воздухе носились только мухи да комары. И вспомнил тут мужик, что его знакомый медведь, Михайло Потапыч, тоже занимается пчеловодством и наверняка знает, где может быть его пропавший рой.

Идёт мужик о детишках своих, сладкоежках, думает, а тут и хозяйство Михайло Потапыча показалось. А хозяйство-то всего ничего: берлога, а рядом дерево с дуплом. А в дупле возня шумная идёт – пчёлы работают – туда-сюда летают, кто с мёдом в дупло, кто из дупла в поле за нектаром. И так завидно стало мужику, что он и говорит медведю.

— А скажи, любезный Михайло Потапыч, сколько пчёл у тебя в наличии имеется?

Медведь почесал за ухом и отвечает:

— А разве их можно посчитать, когда они все летают туда-сюда.

Понравился мужику такой ответ, вот он и говорит медведю.

— У меня пропал целый рой пчёл, вот мне и кажется, что они у тебя поселились, а раз так, то и мёда ты должен мне ровно половину отдать.

А медведь не растерялся и говорит:

— А ты залезь на дерево и приглядись хорошо, может и правда там твои пчёлы.

Мужику делать нечего, злится он, что медведь вовсе не глупый, но на дерево полез. Вот лезет он, а сам от страха трясётся, хотя и знает, что не любят пчёлы такого, кто их боится. Они это чувствуют хорошо. Не успел мужик до середины дерева добраться, как медведь его спрашивает:

— А что, мужик, не твои ли это пчёлы?

А мужик с дерева:

— Похоже, что мои. – А сам всё трясётся от страха.

И только он это промолвил, как налетели на него дикие пчёлы и давай жалить во все места.

— Ну что, твои это пчёлы? – смеётся медведь.

— Нет, нет! – кричит мужик и, свалившись с дерева, побежал домой.

А через несколько дней вдруг приходит к нему Михайло Потапыч с горшочком мёда.

— Вот, мужик, мёд тебе.

А мужик удивлённо отвечает:

— Так пчёлы же не мои у тебя. Я ведь хотел обмануть.

— Я знаю, — говорит медведь, — но это не тебе, а твоим детишкам-сладкоежкам. Жаль мне их. Я-то знаю, какая это вкуснятина.

Чуть не прослезился мужик от радости. Засиделись они с медведем допоздна за чаем, а тут глядь в окно, и рой к мужику вернулся. Долго, видать, его пчёлы нектар собирали, и вот теперь спешат в свой улей.

Стыдно мужику было, что он так с медведем нехорошо обошёлся. Через три дня набрал мужик своего мёда горшочек и пошёл к медведю чай пить. С тех пор они стали между собою дружбу водить.

ДВА КОТА
(сказка)

Жили у одной хозяйки два кота. Рыжий и чёрный. А хозяйка была женщиной сварливой – то это ей не так, то не это. И невзлюбила она рыжего кота за его цвет, хотя он был котом трудолюбивым – мышей ловил, по столам не бегал. А вот чёрный кот-лежебока и большой любитель попакостить, но за его проказы битым оказывался чаще рыжий кот. Смотрит хозяйка: сметана в горшке наполовину улетучилась, и за рыжего… Или мяса кусок стащен, то виноват опять рыжий кот.

И вот черный кот от безделья и объедания стал толстым и ленивым, а хозяйка всё его ласкает: « Мой ты хороший котик, ну съешь ещё кусочек…»

Терпел, терпел, рыжий кот такую несправедливость и решил покинуть хозяйский дом, чтобы поискать лучшей доли. Вот забрёл он в глухой лес и смотрит, где бы ему дом построить. Выбрался наконец он на опушку и увидел там большой пень. «Вот здесь я и буду жить», — решил кот и вырыл под ним себе жилище с кладовой и спальней, а на пне перед входом, написал: «Здесь живёт рыжий кот».

И стал рыжий кот потихоньку осваиваться с лесной жизнью. Мышей ловить он умел, а здесь в лесу их было такое множество, что всем хватало: и лисице, и ястребу, и прожорливой сове. Вот только одиноко ему жилось: некому было сказки рассказывать, но зато его никто больше не бил веником и не обзывал всякими нехорошими словами.

К осени ему очень пригодился рыжий цвет. Он мог лежать прямо на опавшей листве, и никто его не замечал, потому-то и охотиться было ещё легче. Вот сидит он в оранжево-желтом кустике и лишь протягивает лапку – рраз, и мышка его!.. К зиме он запасся мясом, потому что в холода охотиться тяжело, и все звери делают себе запасы по осени.

Всё было хорошо, только он всё чаще стал тосковать по хозяйскому подворью. Как там его брат – чёрный кот. Хозяйка, наверное, его ещё сильнее любит.

А дела на хозяйском подворье совсем были не гладки. С тех пор, как ушёл оттуда рыжий кот, мыши почувствовали полную свободу и стали

ещё наглее вести себя: они грызли всё в погребах – картофель, свеклу, морковь, а в кладовых поедали зерно. Мешки просто худели на глазах у хозяйки, а черный кот всё бока свои отлёживал да по горшкам со сметаной лазил. Поняла тут хозяйка, что совершила большую ошибку, обижая рыжего кота, и свой гнев перенесла теперь на чёрного.

Но чёрный кот и не думал перевоспитываться, и мыши разгулялись вовсе, они уже бегали по столу, воруя куски хлеба. А когда они стали укладываться спать в тёплые тапочки хозяйки, то она рассердилась не на шутку. Хорошо отхлестав толстого и ленивого кота веником, она выбросила его в чулан, где было много мышей. В чулане бедному чёрному коту мыши всю ночь не давали спать, дёргая его за хвост и усы. Там он просидел несколько дней и ночей, а когда хозяйка заметила, что мыши за это время окончательно доели зерно, то выгнала черного тунеядца на улицу. Слёзно просился чёрный кот в дом, но хозяйка строго-настрого приказала:

— Я очень тебя любила, котик, думала, что больше мне рыжий пакостит, а получилось всё не так, да и мышей ты оказывается ловить совсем не умеешь. На вот тебе сухарик и иди куда хочешь, но без рыжего кота не возвращайся, не пущу, так и знай.

Опечалился черный кот и, взяв котомку с сухариком, пошёл искать своего братца. А на улице уже наступили холода. Северный ветер срывал последние листочки с деревьев, и с неба падали редкие колючие снежинки.

Долго бродил черный кот, блуждая в мрачном и холодном лесу. Сухарик он свой давно съел, а поймать мышь он не мог, да и мыши-то давно уже попрятались в свои норки, лишь изредка какая прошмыгнёт по припорошенной снегом земле, неся в зубах колосок с зерном, но и эта мгновенно исчезала, словно дразня его специально. Исхудал бедолага от голода. Шерсть его совсем уже не грела. Она скатывалась комочками, повылезла местами. Ночью он спал под деревом, прикрываясь рваной котомкой и дрожа от холода и крика взбалмошного филина.

Плохо было черному коту. Звал он братца, да не мог дозваться. « А может он давно умер от голода, - думалось ему, — такая же наверное и моя участь.» А когда его уже покидали силы, то неожиданно перед носом он увидел наполовину запорошенную снегом табличку, что здесь проживает рыжий кот.

— Братец! Братец! – радостно закричал он, стуча лапою в пень. – Это я, пусти меня, пожалуйста.

Целую неделю откармливал рыжий кот черного, благо запасов было много. Они часто разговаривали о своём бывшем житье, хозяйке.

— Ты, братец, прости её, — говорил чёрный кот, — она по тебе очень скучает. Ждёт тебя. Очень уж много мышей в хозяйстве развелось, я один не справляюсь, – соврал он.

— Хорошо, — сказал рыжий кот, — только ты покажи сначала, как ты умеешь ловить мышей, они иногда и в снегу возле моего дома резвятся.

Стыдно стало черному коту, и он признался, что хозяйка поэтому его и выгнала, что он не умеет их ловить. Тогда он дал рыжему коту слово, что обязательно пройдет у него курсы по ловле мышей да и не будет больше в кринки со сметаной заглядывать.

Поверил рыжий кот, и пока ещё не наступили сильные холода, отправились к хозяйке. По дороге братья наблюдали, как мышковала лисица, да перенимали у неё опыт зимней охоты, гоняясь за мышами, разрывая лапами снег. Обрадовалась очень хозяйка, когда увидела своих котов, молочком их напоила, да пожаловалась, что нет ей житья от мышей.

Принялись тут братья за работу и в миг разогнали серое полчище. Стали бояться теперь мыши этого дома. А рыжий цвет стал у хозяйки самым любимым.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Как-то я заскучал и, чтобы не впасть в депрессию, отправился в гости к дяде. Застал я родственника за чтением толстенной книги. Он настолько был увлечён этим действом, что не обратил на меня никакого внимания, словно я представлял из себя молекулу, не более. Я долго скрипел табуреткой и покашливал, дабы привлечь к себе внимание дяди, но тщетно, лишь когда я стал насвистывать мелодию «Бери шинель, пошли домой» (его любимая песня – дядя воевал), то он наконец-то оторвался от чтива и внимательно, поверх стёкол очков, начал меня пристально рассматривать.

Мне стало неуютно от такого откровенного взгляда и я, передёрнув плечами, словно от озноба, хотел было удалиться, но дядя, не отрывая своего сверлящего взгляда от моей внешности, выдавил по слогам:

— Эо-гип-пус.

— Что? – не понял я.

— Тут пишется, — дядя, также не отрываясь буровил меня своими маленькими глазками,— что предком лошади был зверёк под названием – эогиппус.

— Ну и… — недовольно поморщился я.

— А то, что этот зверёк в процессе эволюции постепенно превратился в лошадь, хотя промежуточных звеньев в этой цепи практически нет. – Дядя поднялся со стула и нервно заходил по избе, потом сел на место и вновь уставившись на меня, продолжил. – И я вот глядя на тебя, дорогой мой племянничек, нахожу что ты, мне кажется, являешься тем самым недостающим звеном, ха-ха-ха!.. надо тебя учёным показать, а то замордовались они бедные.

— Я что дядя, по-вашему – лошадь? – возмутился я.

— А то! – реготнул он. – Эх, не обижайся, племяш, все мы немного лошади, всю жизнь в работе, в работе… а в итоге – ящик. Во, как неразумно получается.

— А что у вас, дядя, за книга? – поинтересовался я.

— Дарвин, племяш, Дарвин. Ты его ещё в школе должен проходить. Ты какие оценки по биологии получал?

— Честно признаться, не любил я этот предмет.

— А вот и зря, поскольку как раз этот предмет и объясняет кто мы такие. Получается, племяш, что по дарвинской теории мы всё-таки от обезьяны произошли.

— Да не верю я этому! – запальчиво воскликнула вся моя сущность. Ни разу ещё не видел, чтобы обезьяна превратилась в человека!.. Если б это было так, то этих обезьян вовсе бы и не было сейчас.

— Да, но вот теория происхождения видов доказывает, а может, предполагает, что это был совершенно другой вид обезьян, от которых и произошли мы с тобой. А вот религия настаивает – всё это появилось путём сотворения. Кто же прав?

Дядя замолчал в глубоком раздумье. Притих и я. Действительно, как же появился человек и всё остальное? Но я сказал не в тему:

— Вам, дядя, делать больше нечего, что ли? Не нашего ума это дело. Давайте лучше завтра жука колорадского травить будем. Сначала у вас дружненько, потом у меня. Одному-то неудобно с ведром и насосом по ботве прыгать.

— И это верно, — дядя потрогал кончики своих усов, похрустел длинными пальцами.

58494-1
АБ Тайшетская ЦБС

Потом вновь повисла длинная пауза: прожорливый колорадский жук никак не занял наше воображение и все наши мысли так же крутились вокруг пресловутой теории дедушки Дарвина.

— И это верно,— повторил дядя раннее сказанную фразу и, взяв в руки книгу, ткнул желтым прокуренным ногтем в страницу. – Вот видишь, это – эогиппус.

Я внимательно всмотрелся в изображение маленького невзрачного зверька.

— И это предок лошади?

— Вот именно.

— Да это какой-то суслик! – возмущённо вырвалось у меня. – Как же он мог превратиться в лошадь. И был ли в этом смысл?

— Смысл был наверно в том, чтобы сделать для человека надежного помощника в виде тягловой силы, и я это понять могу. – Дядя уставился в обшарпанный пол, словно там был написан ответ на волнующую нас тему. – Нет, нет. Во всём этом мало случайности.

— Я, дядя, разделяю ваши мысли, хотя полагаю – эволюция тоже имела место в происхождении видов.

— А вот на это посмотри. – перелистнул дядя страницу.

— Это крыса, что ли?

— Этот грызун, племяш, считается предком человека. Так полагает наука.

— Обал-деть! Тьфу! Я всё же нахожу, дядя, что больше общего между обезьяной и человеком, а этот грызун!.. – я поморщился. – Слушайте, а почему это вы на старость лет занялись этим?

Дядя включил электрочайник, смёл крошки хлеба в ладошку, потом закинул в рот и посмотрел на меня, как ранее, внимательно и строго.

— Вы что теперь во мне, ха-ха, недостающее звено между грызуном и обезьяной увидели? – засмеялся я.

— А ты тоже, племяш, шутить горазд. Сейчас ты у меня в качестве грызуна будешь карамельки хрумать и чаем припивать. Присаживайся к столу. А заинтересовался я теорией Дарвина именно потому, что стар. Любопытно ведь. – Он достал из тёмного шкафа конфеты и пряники. – Ты пей чаёк, а я тебе поведаю одну необыкновенную историю, а может – случай.

Меня всегда раздирало любопытство: ведь дядины истории были всегда сногсшибательны, и порой казалось, что этот видавший в жизни всякого человек, просто бессовестно врёт, но в любом случае всё выглядело весьма и весьма убедительным, а сегодняшним вечером…

А сегодняшний вечер настолько потряс нашу психику, что мы, говоря попросту, буквально офигели, поскольку дядина история рассказанная за чаем, перешла в потрясающее событие, отчего мы долго не могли оправиться.

Итак, дядя прихлёбывая чай из блюдца начал:

— А помнишь, племяш, бабу Катю, которая тебя пирогами с ревенем угощала? (я утвердительно мотнул головой). Любила она пироги с ревенем,— продолжал он. — И вот когда её не стало…

Мне жутко было вспоминать день похорон моей любимой бабушки. Дядя тогда зарыдал как ребёнок у гроба, так она ему дорога была. Они вместе прожили долгую и трудную жизнь.

— Когда я похоронил свою зазнобу, — дядя смахнул слезу, — то хорошенько наклюкался. И представляешь, племяш, так мне её жалко было, что буквально её голос слышал.

— А это, дядя, уже галлюцинации.

— Да ты погодь, сопляк, какие тут галлюцинации, ну выпил, конечно, изрядно. Боль свою душевную притупил, а к полуночи меня свалило. Не знаю сколько проспал, а просыпаюсь по нужде. Вот здесь я лежал,— дядя увлёк меня в другую комнату и показал где раньше у него стояла кровать. – Просыпаюсь, значится, я по нужде и слышу... а глаза-то ещё не открыл, слышу: музыка играет, да такая музыка!.. Я потом открываю глаза и стою, ошарашенный, от этой, ну чисто небесной, музыки. Боже ж ты мой!.. Стою, значится…

— Ну, дальше! – нетерпеливо крикнул я. Тут я его специально поторопил, чтоб он не успел придумать, что дальше наврать. – Ну, дальше, импровизатор!

— Чё дальше-то? Слушай, чё дальше. – возмутился дядя. – Стою, значится, как будто я и не я – обмер весь от красоты и музыки. Не перебивай, племяш, не перебивай! А красота заключается вот в чём: вокруг меня в огромном количестве звёздочки мелкие горят, и ими вся комната усеяна – куда ни глянь, всё облеплено огоньками: и картина на стене и кровать, шмотки, всё в мелких звёздочках. И музыка ещё…

— Может с улицы музыка?

— Какая улица? В комнате она играет. На улице ночь, часа два, три. Музыки такой больше я никогда не слыхал.

— А звёздочки, поди, с перепоя? – хихикнул я.

— Может, и с перепоя, не знаю. Но только я испугался шибко и быстро залез обратно под одеяло. Лежу. Слышу, музыка всё играет. Может,

думаю, снится всё это. Стал щипать себя – больно, вроде не сон. Опять встаю с кровати, глаз не открываю — боюсь. Поднялся, стою. Потихоньку всматриваюсь и, представь, всё те же звёздочки… да и я весь ими облеплен, и руки, ноги… — ужас! Я опять в кровать. В общем, всегда было тоже самое, как только глаза открою. Потом всё же набрался храбрости... представь, племяш, на немецкий танк легче было идти, чем по своей комнате. Короче, я лежу и определяюсь в мыслях, как проскочить быстро в другую комнату да на — улицу, и ка-а-к рвану!.. И только я дверь открыл, музыки и огоньков, как и не бывало. Вот чудеса-то! С тех пор, племяш, я нет-нет да и Господа в душе имею, хоть вроде и неверующий.

Я на этот раз поверил дяде, ведь это было так убедительно, тем более что это произошло в день похорон моей бабушки. Дядя не мог соврать в этом случае.

— А может это баба Катя вам знак подавала.

Дядя тяжело вздохнул.

— Может, и знак. Только что она этим хотела сказать?

— А что ей хорошо там. В гости звала, – с дуру брякнул я.

— Какие ещё гости? Ты что опупел? Я не собираюсь пока на тот свет, – рявкнул зло дядя. – Ты думай, что говоришь!

Я стыдливо опустил голову. Дядя загремел чайником.

— А может мне и показалось, – уже спокойно вымолвил он.

Н-нет, дядя, не-не показалось. – заикаясь произнёс я, указывая на входную дверь. Она светилась мелкими разноцветными огоньками.

— Твою!.. О, Господи!.. – подскочил дядя как ужаленный.

— Вы, вы видите звёздочки? – таращился я на дверь.

— Как же, же… — забормотал перепуганный донельзя родственник, пятясь к окну.

Звёздочки действительно были всамделишные. С двери постепенно стали переходить на вешалку, где висела дядина старая фуфайка. Она через какие-то секунды вся была усеяна светом, как нечто праздничное.

У дяди, видать, отнялась речь, поскольку он только мычал и продолжал пятиться задом к двустворчатому окну. Если у него заклинило речь, то меня словно пригвоздили. Я кричал, что нужно быстрее сматываться отсюда, но не мог пошевелить даже пальцем, а в это время дядя уже распахнул окно и, перевалившись через подоконник, готов был уже выпасть в полисадник, чтобы тут же, ломая густые заросли малины, дать дёру. Но, увы, у него ничего не вышло, так же как и я, он стал пленником

собственного дома. Дядю какая-то неведомая сила потащила обратно в комнату, да с такой силой, что у него затрещали штаны, а он всё не разжимал пальцы, уцепившись за подоконник, наконец он вместе с ним грохнулся в середине комнаты. Я же с испугом наблюдал за этим странным действом, не в силах помочь ему. Я закричал:

— Дядя, что с нами происходит? Неужели это баба Катя с нами так расправляется?

— Не похоже, племяш,— наконец он обрёл дар речи. – Я ей ничего плохого при жизни не делал! Держись, давай!

— Да мне и не надо держаться, наоборот – меня держит что-то.

Я попытался оторвать руки от стола и проделал это с большим трудом, потом пошевелил корпусом, ногами – магнит вроде стал отпускать меня. Я став свободным, подскочил к дяде всё ещё сидящему на полу, но тут опять случилось непредвиденное… Моего старого родственника приподняло на полметра от пола, и он, бултыхаясь, как космонавт в барокамере, начал летать по комнате, выпучив от страха глаза и размахивая руками, в надежде за что-либо зацепиться.

— Племяш, держи меня! – орал он.

Я бегал по комнате и пытался поймать дядю. Мне удалось схватиться за его левый сапог, который тут же остался у меня в руках, а дядю продолжало крутить по комнате. Наконец его поднесло к телевизору и эта страшная неведомая сила, стала проталкивать моего отважного родственника вовнутрь телевизионного ящика. Я с ужасом наблюдал, как он полностью провалился за экран – торчала только одна голова и рот, который раскрывался, но звука не было. Я с сапогом в одной руке подбежал к телевизору и обошел его со всех сторон. Да, дядя был внутри ящика и с полными ужаса глазами всё разевал рот. Я схватил пульт и добавил громкость – дядя тут же заорал в динамике.

— Племяш, я в телевизоре почему-то! Ты меня видишь?

— Отлично вижу! Изображение чистое. Только как тебя угораздило? – Волновался я, подыскивая тяжелый предмет, чтобы разбить кинескоп и вызволить пленника. И я уже запустил кочергу, но прежде чем лопнул кинескоп, дядина фигура выскочила из кадра, мелькнув босой ногой. Родственник исчез самым невероятным образом!

Я огляделся: комната уже полностью усеяна разноцветными огоньками, они обволакивали даже меня, мои руки, одежду. Больно пощипывая своё тело, я убедился – это не сон. Но что же это? Я уже готов был выбежать на улицу подальше от этого кошмара, но меня вновь сковала

неведомая сила, а потом резко уменьшив в размере, меня повлекло к печной дверце (хорошо, что это было летом) и дальше через дымоход вытолкнуло на крышу дядиного дома.

Когда я оседлал эту крышу, усевшись на конёк, весь чёрный от сажи, то тут же начал чихать, протирая глаза. Первое, что я увидел, был дядя, обнявший телеантенну и весь дрожащий от страха.

— Племяш, нас… нас похищают, однако! – закричал он, увидев меня.

И тут я увидел как впереди, метрах в пяти от нас, завис в воздухе светлый серебристый диск с какими-то шарообразными существами.

— Н-н-нло, что ли? – спросил дрожащим голосом я.

— Похоже, племяш, похоже.

— А на фига мы им нужны?

— А хрен его знает! Может, поглядят на нас да и улетят. Если, племяш, они нас оставят в покое, то надо будет срочно продавать дом и валить подальше от этого места.

Но нас, видно, не хотели оставлять в покое. Летающая тарелка приблизилась к самой стрехе дома, и из неё высыпало множество колобков различного окраса. Они покатались по крыше, наводя ужас, потом окружили нас плотным кольцом, словно волки свою добычу. Я, в отличии от дяди, старался не терять самообладания и, имея в чёрном, стал изображать из себя навозного жука, в надежде, что они побрезгуют мной. Уперевшись лбом в деревянный конёк крыши, я высоко задрал задницу и начал елозить конечностями, но моё представление закончилось тут же: я неожиданно получил крепкого пинка в оное место и, взлетев, успел ухватиться за антенну, на которой уже давно раскачивался дядя.

Широко раскрытыми глазами мы уставились на своих мучителей, взявших нас в кольцо. На вид обыкновенные разноцветные шары: ни рук, ни ног. Они подпрыгивали на крыше, кружа вокруг нас издавая непонятные звуки в виде хлюпанья и попискивания.

Наконец один шар розового цвета, видать окончательно осмелев, подлетел к дядиной обезумевшей физиономии и, сморщившись, как сушённый урюк, выдавил на свою морщинистую поверхность обыкновенный человеческий глаз, которым и уставился на дядю. А рядом с этим мерзким глазом появилось подобие куриной гузки. По всей видимости, рот инопланетянина, из которого стало вырываться отвратительное для слуха бульканье и чавканье. Дядя хотя и пребывал, как и я, в великом страхе, всё же брезгливо отвернулся, и вовремя – шар начал плеваться

розовой липкой слюной, уделав нас с ног до головы. Мне стало дурно, и я, теряя сознание, выпустил из рук антенну, но дядя успел подхватить меня подмышки, запев отчаянным здоровым басом:

Врагу-у не сдаё-о-тся наш го-рдый «Варяг»,
Поща-ды никто-о не желает.

— Я, дядя, желаю пощады, – вырвалось из моей груди. – Скажи им, чтобы нас оставили в покое!

— Племяш, не дрейфь, пробьёмся! – и дядя придерживая одной рукой моё ослабевшее тело, другой начал вытаскивать из своих брюк широкий солдатский ремень.

Когда же солдатская бляха со свистом замелькала в крепкой дядиной руке, то мерзкие пришельцы отскочили от нас метра на полтора и буквально у всех на крутой силиконовой поверхности выросли мокрые сморщенные гузки, которые дружно раскрывались пуская слюни, из них дружно донеслось пронзительное: «У-у-у!»

— О, это уже по-нашему заговорили! – сверкнул дядя озорными глазами. – Счас мы будем весь русский алфавит изучать!

Мне после этого стало намного лучше, даже, честно сказать, весело. Я с интересом наблюдал за поведением странных существ, которые словно мухи облепляли нас, лишь только уставала дядина рука. Наконец дядя выдохся и я перехватил орудие нашего сопротивления, но оно чудесным образом вырвалось из моих рук и зависло в воздухе над нашими головами.

— Хыу! – вырвалось из мокрой гузки розового шара (он, видно, был главный).

— Хыу! – утробно пропищали остальные шары.

— Они, что, матерятся? – спросил я у дяди.

— Не знаю, но счас что-то будет, – ответил со страхом в голосе дядя.

И точно, наши тела, помимо нашей воли, резко оторвало от антенны, и по воздуху, плавно, понесло в их летательный аппарат.

Ну что говорить в этом случае тем, кто никогда не испытывал чувства свободного полёта… у меня рубашка пузырём… а у дяди трусы... поскольку его штаны уже не придерживаемые ремнём, сдуло, и они повисли на телеантенне вместе с последним сапогом. Конечно, всё это было бы смешно, как говорится, когда бы не было так грустно… и очень

страшно – могучая и тайная сила безжалостно распоряжалась нашей волей, судьбой, наконец.

Я залетел первым в эту пресловутую летающую тарелку и мягко опустился ягодицами на идеально гладкую поверхность. Дядя летел головой вниз, но я успел развернуть его тело, и родственник аккуратно уселся рядышком. Мы осмотрелись: ничего особенного вокруг. Тарелка была настолько проста и чиста, что из неё можно было щи хлебать – ни одной кнопочки, ни руля управления, ну ничего нет – стерильная чистота да прозрачный колпак сверху, который тут же бесшумно накрыл гвардию пришельцев вместе с нами. Гвардия же расселась по краям тарелки, точнее облепили эти края своими округлыми разноцветными телами. И опять мы внутри, а они снаружи.

Главный из инопланетян уже раскрыл было свою мерзкую гузку, чтобы выдавить оттуда непонятный нам звук, но тут я вдруг чихнул, да так, что с меня при этом слетел пуд сажи. Все тут опять заорали: «Хыу!», и я в одно мгновение оказался за бортом космического корабля. Но упасть вниз мне не пришлось – меня прилепило к борту летательной тарелки словно эпоксидной смолой, и аппарат, набирая бешеную скорость, начал вращаться вокруг себя, сдувая с меня слой сажи. За время этой издевательской процедуры я по своей хулиганской природе, успел нацарапать монетой на борту «Здесь был Вася».

Когда же я вновь оказался внутри тарелки, испуганный и чистый, то мы были уже далеко, поскольку огни нашего провинциального городка исчезли, и вокруг только пустая чернота вселенной.

— Племяш, ущипни меня, – попросил дядя.

Я ущипнул его за голую ляжку. Он вскрикнул и поморщился.

— Да, это не сон, – сказал он тревожно оглядываясь по сторонам. Мой престарелый родственник выглядел смешно: старый заношенный пиджак, черные трусы до колен и дырявые носки, остальное растеряно на пути в неизведанное. Я хихикнул, разглядывая необычный прикид родственника. Он же осуждающе зыркнул на меня, шевеля длинными усами, как таракан, и что-то бурча под нос, начал шариться в карманах пиджака.

Пока дядя изучал на ощупь их содержимое, инопланетяне постоянно меняли свой окрас, видать в зависимости от настроения, так мне показалось. И скорее всего они хамелеонили от неподдельного любопытства— что же землянин ищет в своей одежде, и не опасно ли это для них? Да, так оно и было: когда дядя вытащил кисет с махоркой, они вдруг все стали одинакового цвета – зелёного. «Концентрация внимания», – понял я.

Дядя, не обращая внимания на пришельцев, завернул козью ножку и наполнил её едким самосадом. Прикурил. И тут началось такое!.. Как только дядя выпустил первую порцию сизого дыма (а это было целое облако), то наши мучители начали громко и отвратительно чихать, брызгая мокротой через рот-гузку. О, это было сногсшибательное зрелище! Инопланетяне до того дочихались, что свалились в изнеможении бильярдными шарами к нашим ногам. Они были повержены. Мы ошарашено глядели на некогда грозных и всемогущих существ, теперь совершенно недвижимых и жалких.

— Что это с ними? – испугался я.

— Никотин видать не переносят, – широко заулыбался заядлый курильщик.

— И что же дальше?

— Будем ждать.

— Как это ждать! – заорал я. — Мы несёмся в космосе неизвестно куда, а он : «Будем ждать.» Я лично домой хочу!

— А что я могу поделать? – возмутился дядя.

— Да ты для начала хотя бы загасил самокрутку! – не унимался я, озираясь по сторонам, словно там была хоть какая-то надежда на спасение.

Дядя заплевал свой источник зловония и тупо уставился на посиневших инопланетян. Они, на удивление, все оставались одинакового цвета. Мы в страхе стали оглядываться по сторонам сквозь прозрачный купол корабля: кругом мрак, но временами появлялись светящиеся планеты, они проплывали мимо так быстро, что разглядеть на них что-либо было невозможно. Также пролетали с рёвом и шипением огромные огненные болиды, сотрясая наш аппарат.

— Капец нам однако, – резюмировал я.

— Ещё не вечер, племяш, ещё не вечер…— пытался взбодрить меня родственник. – Надо ждать пока они оклемаются, иначе точно будет хана!

— А может полёт они запрограммировали, тогда, глядишь, где-нибудь и высадимся.

— Ну и что после того, как высадимся? – дядя зло покосился на меня.

— Ну значит жить будем, – пролепетал мой язык.

— Ага, картошку будем высаживать на чужой планете, да жука колорадского собирать, – сплюнул под ноги дядя.

— Там их наверно нет, жуков этих, – вздохнул я. – А всё-таки дома лучше…

— У нас выбора нет, – буркнул дядя.

Корабль летел видно с преогромной скоростью, потому как за какие-то секунды мы увидели, как мимо нас пролетали целые созвездия ярких объектов.

— Это галактики мимо нас проносятся, – в страхе шептал дядя. – Да ты глянь только, племяш, вон их сколько нарисовалось этих галактик – как гроздья винограда развешены в пространстве. – И дядя стал неумело креститься.

— Это что ж получается, мы из нашего родного млечного пути уже выскочили? – испуганно спросил я дядю.

— И давно, видать, выскочили. – поддакнул он. – Целые гроздья винограда… а кто же хозяин этого виноградника?..

— Кто бы он ни был – я с ним не желаю знакомиться, – продолжал лепетать мой язык.

— Не желаешь, а придётся.

— Не хочу, не хочу! – закричал я истерично и ударил кулаком по чему-то упругому и скользкому.

Это упругое громко чихнуло и тоненько запищало.

— О, один уже одыбал! – воскликнул обрадовано дядя и взял шар на руки.

Тот постепенно розовел и на гладкой поверхности появилась уже знакомая нам гузка.

— Гутен морген! – реготнул дядя, и сделал пальцами козу. – Утю-тю-тю!.. какой ты мяконький!..

Шар долго менял цвета в руках у дяди, потом из разверстой гузки зыркнул глаз и вырвалось хрипловатое:

— Хлопци, шо ето зи мною було?

— Вот это да! – воскликнули мы почти в унисон. – Да он же хохол!

— Ты говори по-русски. – дядя наставил на него погашенную самокрутку.

Шар опять долго переливался всевозможными цветами и наконец выдал:

— Вы, гусские?

— Да, да! – хором прокричали мы от радости.

Шар завертелся юлой вырвавшись из рук дяди и, совершив пару стремительных оборотов вокруг нас, заявил с расстановкой:

— Я наст- гаива-юсь на гус-скую гечь. Вы, пожа-луйста, не кугите больше. Это очень пагу-бно для нашей бгигады. Я вам гово-гю как стагший когабля.

— То, что ты говоришь по-русски – это очень нас радует, – оживился дядя. – Теперь ответь нам, уважаемый, вы кто будете такие?

Пока дядя выжидал ответ на свой вопрос, другие шары уже приходили в движение. Они перекатывались, меняя окрас, и жалобно попискивали.

Старший шар не спешил с ответом. Он тревожно разглядывал своих собратьев, как те, сопя и покряхтывая, выстраивались возле него только по их ведомому ранжиру.

— Ну! – дядя наставил на него погасшую, но всё ещё зловонную самокрутку.

— Отвечаю,— тут же выпалил старший. – Нас тгудно назвать инопланетянами – мы живём с вами на планете Земля.

— И где же вы это с нами проживаете? – первым отреагировал я.

— Да-да, где? – подхватил дядя.

— А в центге земли. Там у нас лабогатогия.

— Вот это да!.. – воскликнул я и посмотрел на дядю. У того глаза были не меньше моих – с блюдце. – И что же вы там исследуете?

— Вы, пожалуйста, спгячьте папигосу в кагман а то она смегдит сильно. – чихнул громко старшина летающей тарелки и продолжил:— А мы сначала пгоизводим, потом исследуем.

— Кого производите? – тут уже лидировал дядя.

— Вас.

— Нас?.. – обалдело переглянулись мы.

— Именно вас – человеков, – шар, казалось, даже заулыбался своей мокрой гузкой. Она растягивалась ниточкой, потом собиралась в осклизлый кружочек, и так несколько раз. Другие шары приоткрывали свои мерзкие ротики и зорким единственным глазом следили за нашей реакцией на такие новости.

И действительно мы с дядей были оглушены откровением этих существ и долго не могли что-либо сказать по этому поводу. Наконец дядя выдавил:

— А вас кто тогда произвёл?

Опять наступила пауза со стороны наших похитителей, но вместо ответа на свой вопрос мы получили тоже вопрос.

— Хотите знать пгавду? – продолжал картавить старший шар.

— Да, – ответили мы.

— Ответить по-гусски? – уже казалось издевался шар.

— Да! – выкрикнули мы в унисон.

— А хген его знает!

— Ммы –м… – промычал дядя. — Племяш, ущипни меня,

Я ущипнул его за голую ляжку.

— Да, это не сон. Так что же получается?.. Выходит, что тайна мироздания так и остаётся тайной? Как это печально!.. – тяжело вздохнул он.

— Да, это очень и очень печально,— подхватил я. – А может, оно и к лучшему. Только вот куда это мы летим и летим?

— А ну поворачивай назад! – грозно приказал дядя старшему шару и вытащил из кармана кисет с самосадом. – Счас я вас, как тараканов, травить буду!..

Шары от таких действий заядлого курильщика начали вновь переливаться различными цветами и мелко вибрировать.

— Пгоблемы нет! – пропищал старший. – Мы только хотели показать вам наши угодья. Но сейчас же мы повегнём назад, если вам это не нгавится.

— И большие у вас эти угодья? – спросил я. – Я смотрю галактика за галактикой мелькает…

— О, эти угодья настолько далеки, что нам ещё очень долго лететь. – включились в разговор другие шары,— Мы ещё до кгая этих угодий не долетели.

— Ин-тере-сно, а за краем что? – не удержался дядя.

— Вам по-гусски ответить?

— Да.

— А хген его знает!

— Ну это мы уже слышали, – поморщился я, как от зубной боли.

Мы долгое время летели назад. Летели и молчали, так же как и наши похитители. Они виновато чмокали мокрыми гузками и зорко следили за дядиными руками, чтобы тот не лазил в карман за страшным ядом. Дядя конечно же страшно хотел курить, но терпел, иначе бы тарелка стала неуправляемой.

Наконец мы увидели наш родной голубой шар и запрыгали от восторга.

— Земля! Земля! – орали мы, как дети.

— Не хотите посетить нашу лабогатогию? – спросил старший.

— Нет! Нет! Только домой! – радостно кричали мы.

Вскоре мы зависли над дядиным полисадником. Также был вечер, но наш корабль мог заметить кто угодно, поскольку с него светили мощные прожектора, заливая всё вокруг неземным таинственным ярким светом. И точно по улице Заречной, которая проходила с другой стороны дядиного дома, колбасился местный уфолог Козин Сан-саныч. Он, как всегда, был навеселе, и увидев, меня и дядю, спускающихся по лучу, как по трапу, с небесного аппарата, помахал нам рукой.

— Неужели мне это всё кажется? – кричал в восторге он снизу. – Или это всё на самом деле?

— Пить надо меньше, – похлопал я его по плечу. – Разве не видишь, что мой дядя инопланетянин? Живёшь рядом и не знаешь!..

А дядя в это время уже бодренько спрыгнул с голубого яркого луча в своих знаменитых семейных чёрных трусах, но при пиджаке. Сан-саныч перекрестился и, ни слова больше не вымолвив, дал стрекача через густой дядин малинник. За ним погнались с лаем соседские собаки, кусая беглеца за пятки.

— А самый главный вопрос на прощание! – крикнул дядя старшему шару, задрав голову кверху. – Как же тогда быть с теорией Дарвина, если мы созданы вами, правда, пока в непонятных целях?

— Теория Дарвина тоже имеет место! – прокричали пискляво с тарелки. – Мы создаём виды животных и гастений, а время проводит жёсткий отбог – оставляя только лучшее, сильное.

— И всё-таки эогиппус предшественник лошади или как? — неунимался дядя.

— Тгудно ответить. Это надо поискать в спгавочнике, – блеснул лукавым взглядом старший шар. – Мы столько всего навыдумали, что и сами запутались. Вот напгимег: вонючий ваш самосад мы не создавали, это уже вы, человеки, вывели. Да вы много ещё чего навогочаете – ваши действия надо отслеживать. На Луне уже были, на Марс собираетесь… Хотя фиг с вами – ваша тегтитогия обозначена чётко, за котогую вы ни-ни… Вы тоже создатели. Давайте лучше пгощаться!..

— А душа? Душа как же? – вырвалось у меня.

— Ответим, если вы отдадите нам ваш кисет с самосадом для исследования.

— Я с удовольствием, но что взамен?

— А что бы вы хотели?

Мы начали лихорадочно соображать, как бы повыгоднее провернуть дельце. Сначала я сказал дяде, что деньги ох как бы не помешали нам… Много денег!.. но дядю вдруг осенило:

— Эликсир бессмертия есть?

— У нас всё есть! – выкрикнул картавый.

И как только мы получили пузырёк с оранжевой жидкостью, то аппарат начал посвистывая вращаться набирая обороты.

— А душа? Душа?.. вы же обещали!.. – закричал я.

— Вы же будете бессмертны! Зачем же о ней тогда беспокоиться?! – донеслось сверху.

— Они правы, – спокойно сказал дядя.

Летающая тарелка исчезла тихо и быстро. Её словно и не было. Были только я и дядя с пузырьком в руке.

Когда мы вошли в дом, то там осталось свидетельство того, что произошло с нами: мебель перевёрнута, телевизор разбит, на столе сажа и раскрытая книга Чарльза Дарвина о теории происхождения видов.

— Мы многое у них ещё не узнали, – сказал сокрушённо дядя, присаживаясь на старую скрипучую табуретку.

— И всё-таки дедушка Дарвин прав отчасти или как? – спросил я дядю.

— Тебе по-гусски ответить? – засмеялся он.

— По-нят-но, – вздохнул я.

— Племяш, ущипни меня. – попросил старый родственник.

— Опять за ляжку? – язвительно спросил я.

— Ой! Нет, не сон!

— Так эликсир же тому свидетельство!..

— А что мы с ним будем делать? – вздохнул дядя.

Пузырёк стоял на столе, и в свете загаженной мухами лампочки-сотки, переливался загадочно-янтарно.

— Ты, племяш, хочешь жить вечно? – уставился на меня дядя своими глазами-буравчиками.

— Нне, не знаю, – почему-то мой голос задрожал. – Этто, наверно, страшно жить и жить… все кругом будут умирать, а ты…

— Вот и я так думаю, племяш, жить вечно – это глупо.

— А что тогда мы будем делать с эликсиром?

— Окропим землю, чтобы вечной была.

— Ты, дядя, полагаешь, что этого пузырька хватит на всю нашу планету?

— Как знать. Как знать…— бормотал он.

Мы этой же ночью бродили по окрестностям нашего провинциального городка и капля за каплей сдобряли землю для вечности. И уже

под утро уставшие, но помолодевшие душой, отдыхали на крылечке у дядиного дома и смотрели на бледнеющие звёзды. Дядя нещадно курил крепкий самосад и, покручивая кончики усов, говорил:

— Неужели всё это было с нами? – вздыхал он.

— А то!.. – хихикал я.

Во дворе у соседей вдруг заржала лошадь. Дядя поднял кверху указательный палец:

— Эо-гип-пус, – по слогам произнёс он.

— Нет, лошадь, – спокойно резюмировал я.

— Нет, эогишпус!..

Мы смеялись хватаясь за живот. Потом вдруг из-за забора показалась взлохмаченная человеческая голова. В слабом утреннем свете мы опознали нашего местного уфолога Сан-саныча. Глаза его лихорадочно блестели.

— А вы, вы, не видели ку-куда НЛО полетело? – заикаясь спросил он у нас.

— А тебе как, по-русски ответить? – спросил его дядя.

— А как же ещё?

— Тогда: хген его знает! – сказал весело дядя, а я, свалившись с крылечка, скорчился от приступа смеха.

Нам было весело оттого, что людям хочется так много знать.

КАК МЫ С ДЯДЕЙ РИСОВАЛИ

Дядя потерпел крупное фиаско. Ну это потом, а в начале всё было гладко. Вообще-то ему на роду было написано – шоферить, шоферить и ещё раз крутить баранку. А его временами черти высаживали из кабины автомобиля и заставляли заниматься тем, что вовсе ему и не предназначено судьбой. А может, ему было виднее.

Я очень удивился (я всегда удивлялся – его выходки были неожиданны), когда он решил вплотную заняться изобразительным искусством, не имея к этому никаких способностей. Для него смена профиля работы – всегда радостное, наиважнейшее событие. Он в таких случаях больно хлопал меня по плечу:

— Ну вот, племяш,— при этом его глаза, один серый, другой сзелена, светились одинаковым голубоватым огоньком изнутри,— решил я, понимаешь, сменить профессию…

У меня, как всегда в подобных ситуациях, отваливалась челюсть. Если в такое время я ел, то чуть не давился, если же нет,— то мог просто поперхнуться обыкновенным воздухом.

— Я вчера, племяш, устроился в райбыткомбинат мастером художественного цеха. – Он приосанился.

— Как это? – Я шумно проглотил слюну. Закашлялся. – Ведь вы, дядя, рисовать совсем не умеете!

Сказавши это, я не спускал с него глаз, думая, что он смутится, скажет – пошутил, мол. Но дядя держался серьёзно, даже наилегчайшая ухмылочка не загуляла по его худой, испещрённой морщинами физиономии. Мало того, он даже стал суровее взглядом и строго так мне:

— Ты, дорогой, племянничек, разве не знаешь, что в человеке бывают потаённые творческие силы. Эти силы до поры, до времени спят. Дрыхнут, понимаешь.

Я был в растерянности: уж очень много всяческих сил спало в моём неугомонном родственнике, в чём читатель будет постоянно убеждаться. Я, честно признаться, не верил его словам, но это оказалось не так.

Он, действительно, устроился в художественный цех. Точнее – коврово-художественный. Страна в это время остро нуждалась в коврах и ковриках. В стране всего было в достатке – «изобилие настоящее», а вот с коврами – напряжёнка. Что-то, где-то было упущено партийным аппаратом. Недоглядели, недоработали, и вот результат – нет ковров для советского человека. И вот потому-то человек, типа дяди, бросал свою основную работу и хватался за полухудожественное ремесло.

Когда дядя пригласил меня в ковровый цех (очень уж я настаивал) у него уже отросла бородка, как у козла, а на голове он носил беретик-матерщинку.

Я спросил тогда:

— Дядя, а что это за маскарад такой у вас?

— Это, дорогой племяш, образ.

— Козла, что ль? – схамил я, потом спохватился,— шутка, конечно.

— Ещё раз такая шутка и…— Он не договорил, вталкивая меня в полутёмный коридор цеха. Там остро пахло краской и разбавителями. Гудели вентиляторы.

— Стой, кто идёт? – раздалось сиплое из полумрака.

— Свои,— ответил дядя.

— Проходи.

Мы прошли и попали в большую комнату. И тут я всё внимательно разглядел. Во-первых, я увидел хозяина, кто крикнул «Стой». Это был, как потом выяснилось, старший мастер-художник. Он был тоже с бородкой и по отношению к дяде – грузноват, с опухшим лицом и большим синюшным носом. Он был пьян— едва держался на ногах. Он был неотъемлемой частью этого вонючего и грязного интерьера.

— Это племяш. – Представил меня дядя.

— Ну раз ппле – мяшш – ш, то ла-а-дно…— сказал тот непослушным языком, и, свалившись на старый изодранный диван, тут же уснул.

— Пьёт сильно,— кивнул дядя в сторону старшего мастера-художника.

— От чего? – спросил я.

— От искусства. Работа нервная,— дядя тяжело вздохнул и, по-ленински выкинув руку в сторону оставшегося интерьера, воскликнул:

— Смотри, племяш, на процесс!

Но я уже видел. Процессом занимались две сухонькие пожилые женщины. На лице у них были марлевые повязки, щедро заляпанные разноцветной краской. Они сапожными щётками усердно тёрли по большому картонному трафарету. Краска мелкой пылью носилась над ними. Они таким способом производили ковёр, который уже был почти готов.

— Смотри, смотри, и не говори, что не видел! – возбуждённо кричал дядя под шум вытяжных вентиляторов, щас они ещё один трафарет вотрут, и ковёр готов!

Признаться, я был удивлён, насколько был прост процесс. Когда женщины сняли огромный трафарет, то я увидел уже законченное произведение: на плюшевой оранжевой основе был изображён коричнево-желто-красный пейзаж (видать – осенний), а в центре из тёмно-синего пятна, взлетала таких же печальных оттенков утка.

— Ну как? – забегал дядя вокруг стола,— а вот, смотри – олени, а вот – цветы!

Я с любопытством разглядывал трафареты и готовые ковры в сушильном отделении. Там сильно шумели калориферы и воняло краской ещё пуще.

Я попросился на улицу.

— Да, потрясающе всё это,— сказал я, чихая. – А где же искусство? Ведь и я так могу, как эти бабушки – краску втирать.

Дядя не ожидал таких моих скоропалительных выводов. Он был рассержен.

— Да-а... – тяжело вздохнул он,— ты прав, племяш, тут искусством не пахнет. Трафареты я уже резать научился, втирать тоже – теперь можно заняться настоящим творчеством.

Я не уберёг дядю. Его потаённые силы искали выхода. Им было тесно в широкой дядиной груди…

…Перед очередной годовщиной Великого Октября он зашёл, вбежал, буквально, ко мне. Потирая ладони, он начал заговорщицки подмигивать. Моя челюсть приготовилась к отвисанию. Я чувствовал, что у него опять потрясающие новости, но не торопил его.

Наконец, он торжествующе выдохнул:

— А я заказ взял!.. Вот! – И он вытащил из кармана небольшую картинку.

На картинке была изображены Маркс, Энгельс и Ленин.

— Какой ещё заказ? – не понял я, разглядывая физиономии бородачей.

— Горкомовский. Какой же ещё!.. Сам первый секретарь из рук в руки передал этот эскиз. Увеличьте, грит, пожалуйста, до нужных размеров, а мы гарантируем оплату в срок.

Я опешил, но глядя на дядину прилично отросшую бородку и, казалось, уже навеки приросшую к голове беретку, понял, что он пошёл в художники на полном серьёзе, поэтому спорить не стал. Я только спросил, как бы между прочим,— спокойно спросил, позёвывая, давая понять, что вовсе не удивлён его столь ярким способностям, – после примитивных ковров, да на такие портреты. Спросил, дожевывая кусок хлеба с толстым слоем маргарина «Мечта хозяйки»:

— А до каких размеров, дядя, это нужно увеличить?

— Десять на пятнадцать,— не замедлил он с ответом.

— Да тут и есть десять на пятнадцать,— спокойно сказал я, дожёвывая кусок.

— Метров, племяш, метров! – И дядя отвалился на спинку стула. – Десять на пятнадцать метров для здания горкома. На годовщину Октября.

Кусок у меня застрял на полпути к желудку, перекрыв дыхание. Я медленно начал багроветь лицом, стаскивая со стола дырявую клеёнку. И если бы не дядина крепкая рука, гулко прогулявшаяся промеж моих лопаток, то…

— Поздравляю! – сказал я, отдышавшись с трудом. – Такие заказы не часто перепадают и профессионалам. Небось рублей на двести потянет.

— Круче забирай!.. – Дядя хихикнул, похлопал ладошкой по колену. – На тысчонку договорился!

Если бы я опять ел, то точно была бы крышка.

— Мать моя!.. – воскликнул я, уронив на пол две верхние разболтавшиеся металлические коронки.

— А ты как хотел?! – Дядя выгнул грудь колесом. Приосанился. – Это ж, племяш, таки-и-е люди!.. Ленин, понимаешь, Карл, как его и Энгельс! Это задёшево не делается.

Хотел я возразить, что он не справится с изображением, тем более в таких масштабах, но знал по опыту, что бесполезно. Дядя, конечно же, приложит максимум усилий…

— Тыща – это серьёзно, – только и выдавил я.

— Вот потому-то, племянничек, я и хочу поделиться с тобой этими денежками,— полушёпотом заговорил престарелый родственник,— одному мне, понимаешь, чисто физически не осилить такой труд. Ты только представь, какой это плакатище!.. – он заводил глазами в стороны, давая этим понять, что размеры его далеко выходят за пределы моего скромного жилища. – Плакатище этот ого-го!..

— Нет, нет. – замотал я головой. – Я-то и красить не умею как следует, тем более рисовать этих…

— Ты, племяш, не беспокойся. Будь спок. Нарисовать, я нарисую, а красить ты по ходу научишься. Я тебе «пиджачный» цвет наведу, и малюй на здоровье.

Я был, как всегда, сломлен. Убеждён. Мне страх как не хотелось ввязываться в это дело, но деньги… такие деньги за полгода не заработаешь, а дядя прикинул, что за неделю управимся.

Всё началось с того, что нам выдали огромный рулон серого холста, сшитый потом в быткомбинате по нужному размеру. Мы скатали опять его в рулон и отнесли в огромный и пустой бокс местного автопредприятия. Там расстелили. Я очень волновался. Очень – мягко сказано – страшно волновался. Таким грандиозным делом я занимался впервые. А дядя, на удивление, был совершенно спокоен, словно он уже целый десяток подобных произведений искусства выпустил в свет. Он делал всё даже как-то небрежно, нехотя, как бы подустав от творческих потуг. Он знал, что в начале холст нужно грунтовать. Он всё знал.

Мы грунтовали его казеином весь день и вечер. Размазывали клей огромными кистями, даже веником, по огромной площади будущего плаката. Потом дядя наносил рисунок вождей. Он к этому процессу под-

ключил и меня, хотя мы так не договаривались. Эскиз предварительно мы разбили на множество мелких клеточек и пронумеровали их. Мы желали славы и заработка. Я даже стал с любовью и благодарностью посматривать на своего дядю. Но когда он стал делить на клетки холст, то у меня закралось сомнение, что из этого выйдет что-либо путное.

— Дядя,— сказал я,— что-то вы шибко огромные клетки делаете для лица, почти метровые, да ещё и кривой рейкой. Это же какие физиономии получатся?..

— Ничего, ничего, племяш, мы так быстрее управимся.

— Но ведь они похожие должны быть! – в отчаянье воскликнул я.

— Будут, будут, похожими. Не дрейфь. – огрызнулся дядя. – Главное, что они все лобастые и волосатые, вот на этом и сыграем.

— А нас не посодют.

— За это щас не содют,— дядя кряхтя разогнулся в пояснице и строго глянул на меня. – С чего ты взял, что они у нас не получатся? Ещё как получатся!..

Он умел убеждать. Действительно, что с того, если у Маркса нос станет короче, а у Фридриха – длиннее. А Ленина можно по небольшой бородке отличить.

Мы всю неделю с дядей красили носы, уши, лбы, волосы вождей. Мы, в прямом смысле, сидели на их лицах и елозили кистями вокруг себя, под собой… Красили не понимая – губы это, глаза…— конечно же по предварительному рисунку дяди. Поднять такую махину мы не могли, чтобы по ходу работы убедиться в безгрешности изображения, но дядя успокаивал, убеждая, о своей неплохой школе от старшего мастера-художника коврового цеха.

В канун праздника к нам зачастил сам первый секретарь горкома партии. Он обходил холст вокруг множество раз, нервничая и выкуривая одну сигарету за другой, даже вставал на табуретку, пытаясь разглядеть всё в целом, но это ему не удавалось. Когда он заходил к произведению со стороны голов, то они ему казались чрезмерно крупными по отношению к туловищу, а со стороны пиджаков – наоборот. Секретарь пугался, но дядя успокаивал:

— Это, уважаемый, того… проспектива, – важно заявлял дядя.

Секретарь, конечно же, имел кое-какое представление о линейной перспективе, но всё равно морщился и курил, курил. И всегда нас поторапливал – поджимали сроки. Мы работали, как одержимые. Ели тут же. Спали тут же. И чем ближе к концу шла работа, тем сильнее переживали.

По крайней мере, я. Дядя, казалось, был спокоен, но шутить стал меньше – тоже волновался, только вида не подавал. А волноваться было из-за чего.

Настал день, когда нужно было сворачивать холст, и загружать его в кузов грузовика и тут же вывешивать на здание. Про деньги я в это время не думал – ведь главное работа, её качество. Сердце трепыхалось, как птица в силках. Ещё на стадии сворачивания плаката у меня появилось нехорошее предчувствие, чего-то ужасного, непредсказуемого, потому как холст оказался местами намертво приклеенным к полу. Пришлось отмачивать и отдирать. У Энгельса после этой процедуры на щеке образовалась дырка в хороший кулак, но дядя сказал, что это мелочи по отношению к масштабам – не заметят. И действительно дырка на лице Фридриха была мелочью по сравнению с остальным…

Мы с дядей стояли на приличном рабочем расстоянии от здания, дабы узреть свою работу в полной её красе. Несколько человек привязывали верхнюю часть холста, и вскоре рулон отпустили и он стремглав побежав вниз, обнажил содержание…

Секретарь, стоявший рядом с дядей, долго изумлёнными глазами смотрел на наше произведение. Глаза его округлялись и округлялись, в них стоял полный ужас, да такой, что его на некоторое время буквально парализовало. Потом секретарь кое-как повернул голову в сторону дяди, но того уже давно, словно ветром, сдуло. Тогда он повернулся в мою сторону…

Я думал, что у меня горлом выскочит сердце – так оно трепетало и было от чего: вожди мирового пролетариата, все три, были совершенно неузнаваемы, хотя если судить по волосяному покрову, то ещё можно было придти к какому-то логическому обоснованию. Но секретарь логически мыслить не собирался и оштрафовал нас на энную сумму, плюс стоимость холста и краски, чтоб неповадно было…

Мы полгода не разговаривали друг с другом. Дядя вновь стал шоферить, но я чувствовал, что он вот-вот завалит ко мне, осенённый какой-нибудь идеей или уже готовым проектом чего-нибудь необыкновенного, сногсшибательного.

КОГДА ДЯДЯ БЫЛ ЗАВКЛУБОМ

Когда дядя был завклубом… Впрочем, всё по порядку.

Колхоз назывался « 40 лет Октября», но колхозники смеясь, шутили, что их родное хозяйство звучит не иначе, как «40 лет без урожая». По поводу урожая или полного его отсутствия я ничего сказать не могу – маленький был, но от голода в моём селе никто не умирал – это точно.

Дядя тогда возил на новой «Победе» председателя колхоза товарища Кукина. Председатель был весьма солидных размеров и подавлял моего тощего дядю своим мощным экстерьером с круглым, как футбольный мяч, лицом. « Морда – как не треснет»,— говорили сельчане, или « Эту морду за три дня не оббежишь». Хуже того «… за три дня не обгадишь». И всякое другое.

Почему они так о Кукине – просто возмутительно. Может, он подворовывал?.. – скорее просто брал, подворовывали колхозники. Наверно они так свою любовь выражали к руководящим органам. Но со временем я стал подозрительно относиться к большим физиономиям: когда, вижу, например, что у начальника какого или депутата щёки лежат на плечах, значит, думаю, он тоже очень обеспокоен нуждами такими, как я и дядя. И я решил – мой дядя с остальными колхозниками был обделён пищей, потому как Кукин поедал общественные продукты сам, а дяде и другим – дулю. Но мои наблюдения за дядей убедили меня в обратном: мой дядя, во-первых, не страдал отсутствием аппетита, во-вторых, он ел много, на мой взгляд, за троих. Вначале он мог съесть две большие миски борща, потом целую гору какой-либо каши с салом, а на десерт пару кружек компота. Потом он, громко отрыгнув, вставал из-за стола и наглаживая живот говорил: « Ну вот и перекусили», а тётка Дарья, такая же худая и нескладная, как дядя, ехидно поправляла: « Не перекусили, а нажрались». Она его, как я позже узнал, недолюбливала, а за что, я расскажу как-нибудь в другой раз.

В общем, дядя, по всей видимости, ел не меньше самого Кукина, а может и больше, но всё дело было в том, что у дяди кишка прямая (так говорили), хотя он постоянно после плотного обеда любил, не снимая сапог, упасть на кровать, чтобы соснуть « секунд шестьсот», для завязки сала на животе. И пока он спал, я осторожно засматривался на его живот, дабы не проглядеть процесс завязывания этого самого сала. Мне тогда было всё удивительным и значительным, так же как и моим сверстникам.

Однажды дядя с Кукиным, на моё удивление, ужинали у нас. Мать всячески пыталась ублажить высокого гостя, подсовывая ему всё, чем в то время была богата крестьянская семья, но дядя с председателем больше налегали на спиртное, громко крякая, закусывая свежими огурцами и уже пожелтевшим салом зимней засолки. Я чувствовал – за нашим столом должно произойти что- то значительное, не зря ведь Кукин за пустой болтовнёй очень внимательно всматривался в уже осоловевшие глаза дяди.

И вдруг Кукин ударил кулаком по столу. Мать моя вздрогнула и выронила полбуханки хлеба, а я испуганно прижался к её юбке.

— Правильно ты сказал, дорогой, нет у нас на селе этой самой культуры! – почти простонал Кукин.

Дядя приосанился и с удовлетворением потрогал свои усы, словно те были приклеенные и от грохота всё же не отвалились. Убедившись, что с усами всё в порядке, дядя сказал:

— Да, да, Матвей Алексеевич, культуры у нас просто никакой… А куль-тура – это такой инструмент (в слове инструмент дядя делал ударение на букве «у»), такой инструмент,— дядя посмотрел по сторонам, словно ища то, о чём говорит,— в обчем надо товарищ председатель, нам этот самый инструмент привести в порядок.

Кукин обнял дядю.

— Точно, порядок должен быть, хотя бы для начала в этом самом очаге культуры… А очаг культуры это что?

— А это что, Матвей Алексеевич?

— А это, дорогой мой, наш колхозный клуб. Вот этот инструмент я и доверяю тебе. А то просто свинство – никаких мероприятий, только кино. Да и туалет рядом поставить надо, а то зимой весь снег желтый – срам один.

Дядя не ожидал такого предложения и тут же поперхнулся недоженным огурцом. Он, изогнувшись коромыслом, долго кашлял. Я подбежал и застучал маленькими кулачками по широкой дядиной спине.

— Спасибо, племяш,— засмеялся дядя,— я уже ничего, иди гуляй. Кукин серьёзно глянул на меня и, взъерошив своей тяжёлой рукой мою причёску, рассмеялся.

— Ну вот и племянничек твой хоть фильмы будет бесплатно смотреть.

— Ура-а! – заорал от счастья я.

— И не будет больше яйца воровать, – зареготал опять Кукин.

Я был в растерянности. Я покраснел. Откуда же он знал, что я иногда подворовываю куриные яйца.

— А они все так делают,— продолжал смеяться председатель, подливая себе и дяде водочки,— одного яйца как раз хватает на сеанс.

Все смеялись и я тоже. Да, действительно, почти все деревенские детишки жульничали: билет в кино стоил пять копеек, а сданное яйцо – шесть, главное, чтобы оно «болтуном» не было.

Потом меня послали за очередной бутылкой водки, и дядя с Кукиным продолжили обсуждать привередливую культуру. Дядя прилично захмелевши, стоял оперевшись руками о стол и произносил речь.

— Культуру надо подымать, Матвей Алексеевич, а то она совсем падает. Человек на селе должен быть культурным. Колхозник не должен пугать своим неприличным видом и недостойным поведением советского гражданина! Иик-к…

— Пправиль-но! – рычал Кукин,— культура у нас не только падает – она просто валяется, как пьяная баба!

Глава колхоза ударил кулаком по столу, да так, что вся закуска вместе с бутылкой подскочила; правда, дядя успел ловко подхватить водку и поставить на место, мать – кастрюлю борща, а сало запрыгнуло прямо в рот собаке – Шарику.

Вскоре их потянуло на песню. Дядя подмигнул мне, и я воробьём слетал в свою комнату за старенькой потрёпанной гармонью.

Я заиграл, и они дико и неслаженно заорали.

Име-ел бы я-а златы-ые горы
И ре-ки по-олныя-а вина…

Им в такт завыли все собаки на нашей Заречной улице. Они много ещё пили и пели и говорили о непонятной мне культуре. Ближе к ночи Кукина кое-как затолкали в «Победу», и дядя осторожно повёз его домой. Как потом говорили, они въехали в чей-то ветхий курятник, где и заночевали.

Я засыпал в тот вечер счастливым. Я уже представлял, как гордо, бесплатно, на виду у всех сельчан, вхожу в зал и усаживаюсь, где мне заблагорассудится. А ночью снилась Культура – она падала и валялась в грязи. Она была страшная – с огромными руками и ногами, и на лицо почему-то похожая на нашу соседку тётю Валю – пьяную. Я понимал, что Культура в лице соседки не очень-то нужна нашему селу, но другую

я пока и не представлял, которая почему-то срочно понадобилась дяде и Кукину, прямо как воздух в шинах кукинской «Победе».

Председатель слов на ветер не бросал. Через неделю дядя был уже завклубом. Он купил синий галстук на резиночке и белую нейлоновую рубашку. Теперь он был видным человеком – культурным, и мои надежды оправдались – все пацаны завидовали мне, я мог посещать любые фильмы, даже где было написано «кроме детей до шестнадцати лет . Я торжествовал. Сам Кукин здоровался со мной за руку и заговорщески подмигивал.

Дядя был добр со всеми. Его вся шпана любила. Он запускал их с чёрного входа, и те гурьбой садились с задней стороны экрана, и, пачкая соплями рукава, смотрели сеансы на халяву.

Ещё бесплатно посещал фильмы дядя Вася Чуднов. Он был дурак и работал на свиноферме, которую впоследствии спалил нечаянно. Когда он входил в зал, то заносил с собой такие ароматы… но никто не ругался, а немного поморщившись, привыкали.

Завклубом дядя проработал недолго – с осени до весны. Дело в том, что он стал часто выпивать и это Кукину не понравилось. Он даже оправдывался:

— Ну, нельзя в культуре без этого,— и дядя давал щелчка по горлу.

Зимой, когда в клубе проходило партийное собрание, прорвало трубы парового отопления. Все ошпаренные кинулись к выходу, а парторг, забившись в деревянную трибуну, ругался матерно и звал дядю. А дядя в это время в красном уголке пил водку с художником Пустобреховым.

Парторг орал:

— Это провокация! Я это так не оставлю!..

Дядя был строго предупреждён Кукиным по поводу пьянства на рабочем месте. Но завклубом не изменил свой репертуар. Он, как назло, стал пить ещё пуще. Дядя уже и домой не ходил: жил в клубе, напивался и спал на бильярдном столе. Мне было страшно.

В начале марта его сняли с этой культурной должности. Всё было кончено – я плакал. Я больше не был привилегированной персоной. Я вновь подворовывал яйца, чтобы не пропускать фильмы. Но время, когда дядя был завклубом, неизгладимо из моей памяти. Дядя, конечно же, бросил пить, так… по чуть-чуть… иногда. Он вновь сел за баранку, но уже грузовика. Я часто напоминал ему:

— А помнишь, дядя, когда ты был завклубом, то?

— Ах, племяш, не надо об этой культуре!..

— А всё-таки что такое культура? – уже в который раз я задавал ему этот вопрос.

Он же хитро прищурясь отмалчивался.

— А это,— усмехался я, щелкая пальцем по горлу,— это когда сюда частенько пропускают.

Дядя взрывался безудержным смехом, а я валился наземь, визжа и подхрюкивая до коликов в животе.

КРАСНАЯ МАШИНА

Говорил мне дядя, а я не послушал его. Он мне и так и эдак, даже по-хохлацки: « Нэ торопысь купуваты машину.» И по-казахски говорил, и, конечно же, по-русски.

Не послушал.

Ду-рак.

А всё началось прозаически. Отпускные я получил. А кто их не получает. При советской власти их получали, и при несоветской тоже.

В общем получил. Начал прикидывать. Оказалось, чтобы не сдохнуть за время отпуска, этих денег хватит, но если питаться чем-нибудь с огорода своего и чужого, то можно и сэкономить. По каким-то там Европам мы не привыкли шибко ездить – нам бы Россию исколесить… А может, и нет никаких Европ –не был, не знаю… А вот свет за моим свежевымытым окном – реальность. Наша российская бурная жизнь там протекает, и я в ней барахтаюсь: нырну, вынырну, на дне полежу, закрыв глаза и заткнув уши… А тут эти отпускные, за что не знаю – за страдания.

Похлопал я по карману, прикинув ещё раз, да на авторынок.

— Нэ торопысь! Кайда барасын? Подожди меня! – ворчал дядя по мобильнику.

Не подождал и влип, как муха…

Рынок — большой. Очень. В основном иномарки – задастые и мордастые, раздутые в боках и с сияющими, как у младенца, глазами-фарами. А ездят…— шепчут протектором только, да иногда попыхивают выхлопной.

Наши машины совсем другие. Наши не шепчут. Наши громко разговаривают – это в лучшем случае. В основном кричат, кашляют, стреляют, подвывают и дребезжат – жалуются.

Я был сильно удивлён и потрясён контрастом техсостояния и цен этих автомобилей. Прохожу по рядам и волнуюсь страшно. На иномарку уже и не поглядываю – не наши они, не родные – тьфу!.. Мне вон наш «Москвич», как брат, «Жигули» как сестра. Дядя мне звонит опять: «Ну, какое впечатление?» « Потрясающее!»— кричу я ему. « Через недельку я управлюсь с делами и тогда вместе выберем»,— слышу я.

Надо было подождать недельку. Но каждый автолюбитель знает, что такое страсть к технике, когда ты её, к тому же, долго не имел, а тут вдруг появилась возможность… пусть хоть дряхленькое авто. И я взял.

Я уже заканчивал оформление в госавтоинспекции, как вновь позвонил дядя: « Как дела?» Я ему: «Взял, взял уже!» «Какую?»— почти зарычал он. « Красную!»— от волнения задыхался я. Родственник обозвал меня идиотом и выключил телефон.

По поводу моего идиотизма он был прав.

Продавец красного отечественного авто был родом из глухой деревушки Пещёрки. Он не был красноречив, как другие продавцы подержанного ширпотреба, а больше отмалчивался, даже тогда, когда я настырно расспрашивал о достоинствах и недостатках его железного коня. «Просто – та, деревенщина»,— думалось. Он даже показался мне не только честным, но и очень милым. Он был грузноват, с маленькими серыми глазками, которые он постоянно отводил от меня, вздыхая и вытягивая шею – что-то ища, или ожидая кого-то. «Чуд-ной.»

В общем, меня устраивал этот автомобиль, особенно его цвет и цена. Я не сказать что спец по железкам, но заметил – машина слегка подгнивает, особенно задние крылья. «Ну и что ж,— размышлял,— машине-то двадцать лет, целых двадцать, но заводится и… едет. Ну ещё, правда, резина лысая, ну стекло лобовое всё в трещинах – заменим, ну аккумулятор слабый совсем – купим, сиденья не передвигаются, люфт у руля, передние колёса скособочены вовнутрь, фары не все горят, зато тормоза есть – визжат, как в кино, и цена приемлемая… хватило…»

Вообще-то я ездить не умел тогда. Но всё по порядку.

Мой продавец довёл машину до своей деревни (попутно было) и, выскочив из-за руля, молча рванул по тропинке домой. « Чуд – ной.» Я сел за руль и включил зажигание. Машина у меня не заводилась. Она словно почувствовала предательство своего хозяина и с ослиным упорством никак не реагировала на мои потуги. Я снова и снова нажимал на стартер…

Меня прошиб холодный пот – до моего дома было ещё далеко. Поворачивая без конца ключ зажигания, краем глаза наблюдаю, как быстро

удаляется коренастая фигура уже бывшего хозяина красной машины. Дело было дрянь. Мне ничего не оставалось, как выскочить из машины и сдиким воплем «Стой!» бежать за этим жуликоватым продавцом. Тот, завидя погоню, припустил ещё пуще. Через полкилометра я догнал мерзавца и сделал ему подножку. Мы кубарем скатились в канаву, я оказавшись наверху, схватил его за горло.

— Ах ты, сука! Убегаешь, да?

— Сам ты три дня не умывался!

— Чё с машиной сделал? Иди и ремонтируй,— пыхтел я зло, заламывая ему руки,— ишь, как мы умеем продавать!.. Отдавай деньги!

— Это теперь твоя машина, и проблемы твои! – орал он вывёртываясь.

Вскоре мы устали барахтаться, и, злые, тяжело дыша, сели напротив поедая глазами друг друга. Потом я его отконвоировал к машине. Копался он долго, что-то продувая и подкручивая, наконец автомобиль выстрелил и зарычал. На душе у меня потеплело, и я готов был обнять своего спасителя, но тот, сделав своё дело, вновь рванул по тропинке к розовому вечернему горизонту. « Мистика…»— прошептал я, включая первую передачу.

Я ехал медленно, виляя, как собачий хвост, из стороны в сторону. Траекторию моего движения никто из встречного транспорта не мог предугадать – они терпеливо пережидали процесс моего непредсказуемого движения далеко от обочины. Те же, которые нагоняли меня сзади, выстраивались в длинную вереницу и словно на похоронах двигались за мной, не решаясь обогнать. А мне казалось, что я лечу на сверхзвуковом самолете, потому как от всяческого грохота и дребезжания деталей, плюс дырявый глушитель (бур-бур-бур…) плотно заложило уши, и лишь белые прерывистые линии по центру дороги не давали мне окончательно сбиться с курса. Мало-помалу я добрался к месту назначения. У ворот меня встречал дядя. Он резко махнул рукой, и я нажал на тормоза, остановясь буквально в пяти сантиметрах от дядиных коленок.

— Всё же купил? Ну-ну. – Он пнул сапогом в переднее колесо. Машина мелко затряслась, как легкоподмороженный студень. – И сколько ты отдал за этот драндулет?

— Всё отдал. Все отпускные. – улыбаясь доложил я.

— Дурак! Она и гроша ломанного не стоит, – закричал дядя. – Тьфу!.. красный цвет к тому же. Цвет как раз для дураков. – продолжал он выступать обходя мою железную покупку. – А ну-ка открой капот.

Я вылез из машины, предварительно дёрнув под панелью маленькую ручку.

— У-у-у…— только и сказал дядя.

— Что, у-у? – с тревогой в голосе спросил я.

— А где же вентилятор?

— Это какой?

— Да который обдувает мотор.

Я был растерян. В самом деле, как же я не заметил такой мелочи.

— А может он здесь и не предназначен? – тихо спросил я глядя снизу в нахмуренную дядину физиономию. Его усы зло торчали.

— Ну что, поедем морду бить?

— Кому? – удивился я.

— Продавцу! Да и покупателю тоже не помешало бы, чтобы впредь повнимательнее был.

Я обиделся и долго доказывал, что за такую цену лучше не возьмёшь.

— А ты хоть торговался? – наседал на меня родственник.

— Нет, но…

— Вот теперь и мотай сопли на кулак.

Дядя плевался и кричал о лысых, как его голова, колёсах, которыми хоть сейчас можно истопить баню.

На следующий день мы были на смотровой яме. Дядя смеялся, обзывая мою машину «трахомой» и тыкал снизу в днище длинной отвёрткой. Я с ужасом наблюдал как та легко, как сквозь масло, проскакивала в салон.

Я был в шоке, а дядя всё тыкал и тыкал, смеясь от души.

— Дак ты говоришь, что машина неплохая? Не унимался докучливый механик, раскачивая моё авто, надавливая на багажник. – Сейчас, племяш, у тебя зад отвалится!.. то есть у твоей машины, ха-ха!

— Не надо давить! – закричал я.

— Лонжерон вон с трещиной, язви тя…— гудел он опять снизу,— варить надо пока…

Я не знал, что такое лонжерон, но схватился за голову.

— А ещё, племяш, надо перетряхнуть двигатель и посмотреть в его нутрях.

Мне немного стало легче – перетряхнуть – звучало, как вроде вытряхнуть одежду – пустяк.

— А зачем его перетряхивать, если машина на ходу?

— А двигатель по всей видимости дрянь. Ты разве не слышишь, как он работает?

Вскоре мы сняли головку двигателя, и дядя выкинул один прогоревший клапан и два других с микротрещиной.

— А если мы вскроем всё остальное и доберёмся до поршней и вала то, дорогой мой мальчик…— он не договорил а начал насвистывать «Мурку». – И сиденья продавленные до основания, и дворники не работают,— продолжал деловито, с издевкой дядя,— о-о-о, и радиатор по-моему дырявый – писает, мать его… В общем надо бить морду.

Чтобы ехать бить морду, надо было сначала завести двигатель, прежде заменив клапана, да купить аккумулятор, поскольку тот окончательно стал покойником.

На запчасти пришлось брать кредит – под большие проценты. Когда же мы завели мою красную машину, то решили пока не делать разборок с нечестным продавцом, а для начала убрать урожай с наших огородов. Потом покатавшись до зимы, скрываясь от автоинспекции и окончательно стерев резину, я загнал её в арендованный гараж до весны, поскольку своего ещё не было. К весне предстояло рассчитаться с кредитом и купить новую резину, чтобы потом ехать и чистить мордуленцию в его Пещёрке.

Весной дядя сказал, что прежде чем ставить новую резину, нужно переварить пороги и треклятый лонжерон, пока машина не переломилась на двое. С тех пор и пошло: то одно, то другое заменить надо. Я уже и не помнил морды продавца, больше всё-таки на себя злился – смотреть надо было… Но ведь доверчивость проклятая, порядочность… И совести место должно найтись в человеке, иначе все будем с битыми харями ходить.

Как там в Европах – не знаю, не бывал там, а у нас… вот так…

ВСЁ ДЕЛО В ТОРМОЗАХ

Зима в Сибири долгая, нудная. Иной раз просто противно от этого: апрель месяц, а сверху сыпет и сыпет огромными хлопьями, а то как дунет ветром северным с крупой мелкой— сечёт, скукоживает физиономию.

Больно сечёт, а может не так больно, как обидно. Ведь где-то уже урюк цветёт, и сидят под ним казах с казашкой и вдыхают полной гру-

дью аромат цветения. И, наверно, говорит тот джигит своей зазнобе: « Кель мунда…» — это – иди, мол, сюда… и всё ясно – любовь.

А тут не совсем по-человечески выходит – погода распоясалась в общем. А сибиряк тоже по теплу скучает. Он тоже человек. У сибиряка всего три месяца относительно тёплых дней. Вот он и нервничает: « Почему же весна запаздывает? Не отменило ли её правительство?» В общем – тягомотина. Но это было бы не так страшно – вот только добраться бы до гаража да выехать на уже сухую автотрассу.

Мы не раз с дядей долгими зимними вечерами вздыхали.

— Купил, говоришь, машину? – начинал дядя.

— Купил,— тяжело вздыхал я.

— А на хрена? Чтобы девять месяцев стоять и гнить?

— А резина-то лысая! – срывался я на крик.

— Купи.

От слова «купи» я впадал в страшную депрессию. Дядя дружелюбно хлопал меня по плечу:

— Ничего, ничего, племяш, всё образуется. Давай завтра сходим в гараж, поглядим, что с ней делается.

Дело в том, что мы уже несколько раз за зиму посещали мою машину, что давалось с большим трудом, потому как арендованный гараж (гаражишко) находился на окраине посёлка и в труднодоступном месте. Был он к тому же ещё и дырявым, как и сама машина, и потому с наледью по стенам и полу – просто жуть.

Мы с дядей, как фигуристы, выписывая пируэты, скользили вокруг железного друга в надежде поскорее попасть внутрь. Когда нам это удавалось, то мы облегченно вздыхали и с волнением поворачивали ключ зажигания. Вот и на этот раз мы заставили стартер запеть свою песню.

— Настыла, сука,— резюмировал дядя, когда машина долго не заводилась. – Во-во, щас схватывает… ну надо же, заве-лась!

Я цвёл и пахнул – моя покупка казалась мне удачной в этот момент.

Мы ждали, чтобы поскорее сошёл снег и можно было бы как-нибудь вырваться из топкого переулка.

Кроме запоздалой весны меня смущало ещё одно немаловажное обстоятельство: сосед напротив развёл на своей даче крупный рогатый скот. Навозная куча за его воротами росла всю зиму, а к весне подобралась к моему гаражу. Я нервничал, но тешил себя мыслью, что навоз – вещь нужная в сельском хозяйстве и что эта злополучная куча вот-вот исчезнет с глаз и уляжется у кого-то на шести сотках в качестве удобре-

ния. Но она всё росла и в тёплые дни образовала огромную рыжую лужу при подходе к месту швартовки моей красной посудины.

И вот в середине апреля дядя и я недоумённо скребли затылки и смотрели на огромный навозный террикон подобравшийся почти вплотную к гаражу.

— Однако, племяш, мы не выедем, пока не перекидаем эту египетскую пирамиду обратно во двор этому фараону.

— А пусть этот фараон и кидает её,— возмутился я.

— Эй там, на барже! – затарабанил дядя кулаком в высокие деревянные ворота.

— Ну чего ещё? – недовольно пробурчали с той стороны.

— Там лом не проплывал? – веселился дядя.

Высокий и тощий мужик, как и дядя, моргая маленькими глубокосидящими глазками, удивлённо уставился на нас, словно мы были марсиане.

— Извините, как вас по имени, отчеству? – продолжал дядя.

— Степан Ильич. А что?

— Вы, Степан Ильич, того… как вам мягко сказать, попонятней,— расшаркивался дядя,— уберите, пожалуйста, своё г…о, а то мы не можем выбраться на своём лимузине.

Долговязый мужик налив кровью свои глазки, зло отпарировал.

— Во-первых, это не моё г…о, во-вторых, господа хорошие, с вашей стороны просто хамство разговаривать так с незнакомым человеком. В третьих – вы всю зиму никуда не выезжали, а тут вдруг приспичило.

Я начал потихоньку выходить из себя и потому нервно заявил, что территория до середины проулка, без сомнений, принадлежит мне в виду въезда и выезда моего автомобиля, что я не собираюсь терпеть это навозное безобразие и что готов даже подать в суд. Потом я обозвал его самоходной стропилой, после чего мужик скрылся за воротами и вдруг там, надсадно крякнув, выпустил в нас навильник, потом второй, горячего навоза.

— Нате вам ещё! – радостно визжал он за забором,— а вот ещё!

— Он что, псих?! – увёртываясь от дерьма, возмутился я.

— А не надо оскорблять,— шумел мужик и продолжал швыряться остропахнущим навозом. – А может, вы из налоговой полиции – так у меня нет никакой живности, и навоз не мой.

— Скотина,— отряхивался дядя, прячась за гараж. – Это ужасная нервная личность.

— Да, я нервный,— не унимался тот.

— Ну-ну, угомонись. Мы же по-хорошему,— успокаивал его дядя. – Навоз не твой, мы теперь точно знаем. Он коровьего происхождения.

— Ну вы, дядя, философ прямо,— начал давиться я смехом. – Эй, Степан Ильич, ты не боись за свой бизнес. Мы тебя не выдадим. Ты лучше пореши, чтобы этой кучи здесь не было.

— А ты купи её и нет проблем,— крикнул Степан Ильич.

— Интересно, сколько сейчас машина навоза стоит? – спросил я у дяди.

— Тыщ …адцать,— подмигнул дядя.

— Ого-о! – отвисла у меня челюсть. – Да это почти стоимость моего автомобиля.

— Вот-вот, племянничек, нужно сначала было узнать, почём стоит дерьмо, а потом уже…

— Вы, дядя, хотите сказать, что нет принципиальной разницы между этой кучей и моим авто? – выкрикнул я оскорблённый до глубины души.

— Почему же, есть разница.

— Какая? – зло выдавил я.

— А разница в том, что твоё г…о, которое ты изволил купить без спроса, в отличие от этого может иногда передвигаться.

— Эй, эй. Хватит ругаться,— Степан Ильич вышел из-за укрытия. – Мне очень жаль, что вышла такая накладка, но обещаю: через неделю товар заберут.

Целую неделю я дулся на дядю и избегал встречи с ним, но когда он сообщил, что навоз с переулка уже вывезен, то растаял мгновенно, как жир на горячей сковородке.

— Ну что, дядя, поедем в город? – выпалил я.

— Конечно же! – расцвёл в улыбке он.

Проклятущей кучи, действительно уже не было, но бурая вонючая жижа морем разлилась у ворот, что и не подступить.

— Высохнет. – сказал дядя, и мы мужественно прохлюпали к гаражу.

Внутри было сыро и холодно, а у заднего спущенного колеса валялась дохлая крыса.

— Прокусила резину,— присвистнул дядя, – жрать видать сильно хотела.

— Да ну на фиг! – не поверил я. – Крысы резину не едят. Давайте накачаем шину.

Накачали. Всё было в порядке – воздух держался, и мы волнуясь начали запускать двигатель. Заводили стартером и вручную. Наконец машину залихорадило, и она, затрещав дырявым глушителем, наполнила гараж густым белым дымом. Потом дядя даванул на газ, и мы выскочили из гаража, как пробка из бутылки шампанского.

Мы были счастливы. Нас звала дорога.

— Вперёд заре навстречу! – заорал я, предвкушая массу неизгладимых впечатлений.

Заря и вправду занималась, и мы, широко улыбаясь, вырулили на широкую трассу, чтобы влиться в поток счастливых автолюбителей.

Но улыбаться нам пришлось недолго. Едва старенькая колымага набрала относительно приличную для неё скорость, как справа, за поворотом, мелькнула полосатая палка автоинспектора.

— Твою ма-ть!.. – простонал дядя, включая правый поворот. – Ты глянь, с самого с ранья уже пасётся.

Я весь похолодел и сжался пружиной, ведь у моей машины столько неполадок, что при желании… А желание у этого владельца полосатого жезла видать было огромное. Дядя подрулил к его ногам и, предчувствуя долгий разговор со стражем порядка, заглушил двигатель.

— Младший лейтенант Пустопорожний,— громко рявкнул тот и козырнул дяде.

— Мы вышли из машины и подобострастно уставились на лейтенанта. Он был рослый, с брюхом, и с большим, как тазик, лицом.

— Ваши документы, господа хорошие.

— Племяш, покажь,— приказал мне дядя.

— Я долго шарился, засовывая руку по самый локоть во внутренний карман.

— А не оставила ли, ваша светлость, права свои дома? – подколол меня дядя.

— Не – не,— мямлил я,— ща... я…

— Господин майор, вы только гляньте какая потрясающая заря! – взял дядя под локоток толстого гаишника, уводя его от машины, – Понимаете э-э… у нас… с племянником сегодня необыкновенный день э-э…

Гаишник туповато уставился на моего родственника, потом перевёл взгляд на оранжевый восход и окончательно, вылупив глаза, зациклился на дядиной физии.

— Вы чё тут мине арапа заправляете? – наконец разлепил он толстые губы-вареники.

— Я грю, господин будущий генерал, машина старенькая, и мы как раз на техосмотр— в город едем, да и за правами. Правда, племяш? – повернулся ко мне дядя.

— Да-да, права сегодня должны выдать,— лепетал я, показывая своё фото, три на четыре, где я был с бородой. – Это, господин капитан, изображение моей личности, я везу как раз это на документы.

— А почему вы на фото с бородой, а сейчас без?

— Я её обязательно отращу, чтоб соответствовать.

— Так, так. Лад-ненько. Теперь давайте проведём техосмотр прямо здесь, а то мине кажется, ха-ха, – он зашевелил огромными ягодицами-булками, неторопливо обходя машину,— мине кажется… Кстати, а почему вы ехали без света? Сейчас положено даже днём со светом ездить. А ну-ка включите фары.

— Племяш, включай,— тяжело вздохнул дядя.

— Я включил и закрыл глаза. Я знал, что горит лишь одна из четырёх.

— Ни хрена себе! – воскликнул Пустопорожний. – И вы едете на техосмотр?..

— Племяш, посигналь! – скомандовал дядя.

Я посигналил и загорелась ещё одна фара.

— Э-э, так не пойдёт,— засуетился Пустопорожний. – А ну-ка стоп-сигнал!?

Я нажал на тормоза. Фонари зарделись тускло, нехотя.

— В общем, господа, ваше корыто я забираю на штрафстоянку. – И лейтенант обвёл нас торжествующим взглядом.

На меня, после такого заявления, словно вылили помои. Я совершенно упал духом – будущее стало непривлекательным, черно-белым. А дядя разбушевался. Он вынул из кармана какую-то жёлтую бумажку, весьма потрёпанную, и начал трясти её у носа нашего мучителя.

— Да я, господин Порожнецкий, самого Сталина возил, Брежнева, Горбачёва возил, да я!.. – дядя вошёл в раж,— да стоит мне только набрать номер!..

Я испугался. Гаишник видать тоже. Я спрятался за капот невысоких «Жигулей», и осторожно подглядывал за необыкновенным процессом.

— Да я!.. – хрипел худой и мосластый дядя. – Я Берлин брал! У меня тридцать три ранения!..

Гаишник пятился от дяди. По всему было видно, что он не рад был связавшись с нами. Потом дядя перешёл на спокойный тон и что-то сунул ему в руку.

Мы поехали дальше.

— А что ты сунул ему в руку? – полюбопытствовал я у дяди.

— Пятьсот бабок.

— Да ты что! У нас резина лысая, а он деньгами такими швыряется. Вон как он раздобрел – вымогатель.

— Я же говорю – бабок, а не рублей. На купюре так и написано «Пятьсот бабок». Ха-ха! Я её за рубль в киоске купил.

Мы съехали в кювет и долго хватались за животы.

Потом за руль сел я.

— Вообще-то без прав, друг мой,— сказал дядя,— ездить по федеральной дороге – плохая примета. А ты их точно дома забыл?

— Нет их у меня – только вот эти…

Я протянул ему книжечку, где было золотисто пропечатано «Машинист-тракторист». В углу была фотография юного человека с комсомольским значком на лацкане пиджака.

— Потря-са-юще,— процедил дядя. – Жаль, что я свои не прихватил. Ну ладно, племяш, возвращаться – тоже плохая примета, так что – вперёд! Жми на газ, комса, да растряси мою старую задницу.

Мы обгоняли ветер. Дядя пел: «Широка, страна моя родная», а я слушал работу двигателя, который выл и рычал высоко подбрасывая крышку капота.

— Скаженная тачка,— бурчал дядя и продолжал петь дальше.

В придорожном кафе «Обжорка» мы съели по два пирожка с капустой. Поворчали о ценах и поехали дальше. Проехали огромный плакат с изображением вождя мирового пролетариата, который пальцем указывал в сторону города – «Вегной догогой едете, товагищи!»

— Издевательство,— плюнул дядя прямо в лобовое стекло, потом вытерев его рукавом, добавил. – История, племяш, имеет свойство возвращаться на «круги своя», не забывай об этом. И её нужно уважать, какой бы она не была. – Дядя замолчал надолго, думая о чём-то сугубо личном.

На очередном посту ГАИ нас остановили. Мы всячески выкручивались и в конце убедили, что едем в город снимать машину с учета, хотя для этой процедуры нужны были только госномера. Потом через километр лопнуло заднее колесо, и мы поставили «запаску», ещё более потёртую – практически без протектора. Заменив колесо, мы вырулили на трассу и хотели было уже разогнаться, как сзади, в спину, оглушительно рявкнули:

— Принять вправо и остановиться!

Я в страхе запищал тормозами и принял резко вправо.

— Что мне нравится в этой машине, так это тормоза,— съехидничал дядя.

— Помолчите лучше, дядя. – прошипел я.

Сзади повторили приказ. И он, видать, касался не только нас, поскольку идущий впереди транспорт тоже съезжал на обочину и останавливался.

— Губернатора везут,— обернувшись сказал дядя.

По трассе впереди мчались две милицейские машины и громко кричали в мегафон. Ощущение было не из приятных – мы ощущали себя насекомыми – не более. Но таков порядок. Сам же губернатор проехал в огромной, как однокомнатная квартира, чёрной машине с затемнёнными стёклами.

— Ты не заметил, племяш, как милиция подозрительно на нас глянула?

— Ещё бы!.. Такую тачку, как наша, не каждый день увидишь— вся ржавая и с дырками.

— Зато номера новые, они так освежают её…

Вскоре мы въезжали в город. Въезжали с волнением и с чувством собственного достоинства. Уже начиная с окраины, нам стали попадаться трамваи. Я слегка нервничал, поскольку навыков езды в городской среде не имел ещё, а тут эти трамваи… Хотел я передать руль дяде, но моя задница так хорошо обустроилась в единственном не дырявом сиденье, что я воздержался.

Первый трамвай я увидел за несколько сот метров: он бежал навстречу мне, далеко справа громыхая и искрясь бенгальскими огнями. Моя же сторона была свободная, и я летел уверенно. В общем я никому не мешал. И вдруг…

Вдруг этот трамвай с тёткой за штурвалом начал перебегать мне дорогу буквально перед носом.

Первым бурно отреагировал дядя.

— Пропусти его, он имеет преимущество!

Я ударил по тормозам, и наша колымага, развернувшись поперёк дороги, посунулась юзом прямо на эту электрическую кибитку… Я видел искажённые страхом лица пассажиров, а их было там битком, как огурцов в стеклянной банке. Мы сближались так быстро, словно два разнополюсных магнита. Тётка, видя, что ей уже не проскочить, тоже нажала

на тормоза. Огурцы, которые ехали стоймя, полетели, визжа, в унисон с тормозами в переднюю часть вагона.

Дядя что-то орал, обзывая меня самыми скверными словами. Я же крепко держался за баранку – мне больше ничего не оставалось и всё теперь зависело от Его Величества случая.

Беды не случилось. Нас отделяло от трамвая всего десять, пятнадцать сантиметров. Тётка почему-то не выскочила, чтобы полаяться с нами. Она лишь покрутила пальцем у виска и резко дёрнула с места. Огурцы счастливые покатили дальше.

— Фу-у…— вытер я мокрый лоб.

— Козёл,— почему-то уже спокойно сказал дядя.

Мы стали на обочину и долго отдыхали, словно после тяжелой, изнурительной работы. У меня мелко дрожали руки, а у дяди ноги. Я спокойно выслушивал упрёки в свой адрес.

— Теперь машину поведу я,— деловито сказал он.

За час езды по городу дядя два раза чуть не поцеловался с иномарками. Тормоза нас спасали – они были единственной достопримечательностью моего автомобиля. Потом мы съели опять по два пирожка с капустой – поворчали о ценах и пустились в обратный путь. Город видел нас, а мы видели город.

На обратном пути мы попали в густой снегопад. Это было в середине мая, но для сибиряков такое не в диковинку. Снег шёл густой, крупными хлопьями, словно природа эти напоминала аборигену, что она, зима, – здесь полновластная хозяйка: захочу, мол, и в июне запорошу всех. Щётки на лобовом стекле едва успевали сметать белую пелену.

— Валит как, а?!.. – возмущался я.

— Да, валит от души,— вздыхал дядя.

— Габариты надо бы включить.

— Давно включены. Хоть это ещё, слава богу, в порядке.

— Да тормоза,— напомнил я.

— Да и тормоза ещё,— поддакнул дядя.

— А это немаловажно.

— Ещё бы.

Домой мы доехали благополучно.

ЧТО РАССКАЗАЛ ДЯДЯ

Дядя закинул нога на ногу, капустно похрустел длинными пальцами. Глаза его озорно блестели, словно мытые стёкла на солнце, а на губах затаилась лёгкая усмешка.

— Ну что, племянничек, раскрыть тебе одну великую военную тайну? – при этом он наклонился ко мне и вытянул шею, как гусь, готовый больно ущипнуть. Взгляд его был прищуренный, плутоватый.

Ещё бы, он редко рассказывал о своих военных историях, а если и случалось, то в конце повествования трудно было увязать концы. Мне всегда казалось, что он привирает, хотя… это было всегда впечатляюще…

— Да, да, непременно, дядя, я весь внимание! – горячо воскликнул я, усаживаясь на скрипучую табуретку.

Дядя сразу понял, что я сгораю от нетерпения, коль так заёрзал задницей. Он резко встал и сбросил со своих широких плеч старую солдатскую плащ-палатку, в которой пришёл ко мне, укрываясь от осеннего моросящего дождя. Я замер: на его груди болталась огромная, величиной с ладонь, серебристая медаль. Я раньше таких не видел и потому долго ничего не мог сказать, а, широко открыв рот, сидел, не двигаясь, целую минуту, пристально вглядываясь в неё. Что-либо прочесть на медали я не мог, тем более разобраться с изображением, когда же я решил приблизиться к дяде, то он тут же отступил назад и выставил руку.

— Э-э, нет, нет, потом!.. – он строго посмотрел на меня,— садись. – И вновь глаза его озорно заблестели. – Эту медаль я получил за взятие города Ровно!

Он стоял навытяжку, высоко подняв грудь и запрокинув назад голову. Он словно весь ушёл туда, в военное лихолетье, когда на своей полуторке совершал мужественные рейсы на передовых рубежах схватки. Он стоял не шевелясь, как памятник, а я , вытянув шею, пытался вновь разглядеть, что это за медаль.

— Ну, ну! – Дядя отступив на шаг назад замаршировал напевая.

Ма-ру-ся от счастья слё-зы льёт,
Ма-ру-ся душа её по-ёт!..

Кончики его усов, желтые от никотина, ритмично подрагивали.

— Дядя! – воскликнул я,— но ведь медаль чистая, в смысле ровная – без рельефа!

Дядя присел на скамейку.

— Вот потому и за Ровно,— спокойно ответил он, потом добавил,— за город, есть такой…

— Я что-то не припомню таких наград, да и города.

— Ну, племяш, ты совсем истории не знаешь. – Дядя вытащил из кармана кисет с самосадом и, шумно засопев, начал сворачивать козью ножку. – А ты сиди, сиди.

Я терпеть не мог вонючего табака, но добрые взаимоотношения были всего дороже.

— Город этот находится на Украине, вот. – Он зализал самокрутку. – А вообще ты слыхал что-нибудь о знаменитом разведчике Кузнецове?

— Конечно, слыхал! Кто ж его не знает. Он, он... – я осёкся и замолчал, вспоминая поточнее. – Да, Ровно…

— Плохо слыхал,— дядя выпустил в мою сторону облако едкого дыма. Я стал энергично отмахиваться и кашлять. – Так вот,— дядя приосанился,— я был его напарником во всех секретных и очень ответственных операциях.

— Да ну на фиг! – затрещал я стулом.

— Гну!.. – И именно в Ровно, где наш знаменитый разведчик проводил основные задания от нашего военного командования. – Он выпустил второе едкое облако дыма и добавил: И естественно со мной.

Я закашлялся и убежал от него к двери, там сел у бака с водой и таращился на рассказчика.

Дядя продолжал, хитро щурясь:

— Однажды мы с ним получили задание…

— Тут я спохватился:

— Ну вы, дядя, даёте! Ведь вы же, судя по вашим фотографиям, только шоферили!

— Это правда,— дядя глубоко затянулся и замер. Дым он долго не выпускал, и, казалось не собирался, но потом улыбаясь задымил ноздрями,— да, шоферил я,— продолжил он,— но было такое, когда я на ремонте стоял, – запчастей не было, вот тогда и…

— Что тогда? – стараясь уличить его во лжи, выпалил я.

— Тогда э-э... и вызывает меня к себе верховный главнокомандующий.

— Сталин что ли?

— А кто же ещё. Ты слушай лучше, как дело было: в общем иду я по коридору, по коврам прямо иду… красным…

— Да ну!

— Ну а как же… иду, а охрана честь мне отдаёт, а тут и сам Иосиф Виссарионович навстречу – не вытерпел – улы-ба-ется… Знаю, знаю, говорит, наслышан… В общем то да сё, про здоровье пораспросил, да в каком состоянии покрышки у моей полуторки. А потом за рюмкой вина и сказал мне главное…

— Ну, дальше что? – меня захватывало.

— Вот он говорит мне, по имени отчеству так это обращается: «А не поможете ли вы нашему Отечеству фашиста победить?» А я ему:

— Рад стараться! Служу, говорю, Советскому союзу! Давайте мне скорее задание.

А он:

— Помочь надо товарищу Кузнецову в этом самом Ровно. По слухам, там собираются очень важные птицы, и даже, может сам Адольф появиться.

— Это который Гитлер? – спросил я давясь смехом.

— Он самый,— на полном серьёзе отвечает дядя.

— А я товарищу Сталину:

— Беру Адольфа на себя!

А Иосиф:

— Молодец! Пущай знают наших!

Тут я не выдержал:

— Дядя, ведь нигде ещё не публиковалось о вас, кроме Кузнецова.

— Дядя зашлевал цигарку. Растёр её ногой. Вздохнул и развёл широко руками.

— Засекречено это всё, племяш, и надолго. История, понимаешь, такая штука – не сразу должна карты раскрывать. Кузнецова -то, царство ему небесное, давно уже нет, а я ешо тут… Ежели взять и рассекретить меня, то тут же найдутся вражьи недобитки, чтобы меня того… кокнуть. А так... так я эту тайну только тебе поведал, и тс-с... – он воровато оглянулся по сторонам, — слушай дальше. Получил я, значится, это важное задание – во всём помогать нашему славному разведчику, а ежели чего, то и на себя брать нагрузку – типа с этим Адольфом. Сталин ещё говорил тогда, что мочите его, где придётся, будет Адольф в сортире – мочите и в сортире! А как замочите, то сразу же к Герою представлю. Ну а вышла только вот эта медаль. – Дядя вздохнул тяжко. – А медаль-то за взятие города Ровно. Но медаль-то редкая! – Он пошевелил её пальцем – она

ослепительно блеснула под неярким светом загаженной мухами лампочки-сотки.

— Дядя, а можно мне её потрогать?

— Пока нельзя,— строго ответил он,— лучше слушай, что было дальше. В общем получил я задание, и это как его… — в Ровно, а там, понимаешь, не только надо немецкий знать, но и…

— А откуда вы знаете немецкий язык? Что-то не припомню чтобы вы по-немецки калякали,— присёк я дядю.

— А по-немецки, племяш, мне много учить и не пришлось: главное – хенде хох! Ну – шнель ещё. А вообще, как немец, я должен больше быть глухонемым, а вот украинский пришлось основательно учить, чтобы владеть информацией – много хохлов было на службе у немца. Надо же понимать, як воны балакають про Адольфа, хай ему грэць,— колы вин там в Ровно приидэ, або у Харькив, чи у Киив, главно шоб вин нэ знав, шо я тут, а то злякаеця да и повэрнэ оглобли назад.

— А по-моему он из Берлина не вылазил.

— Вылазил,— поправил дядя. – И в Ровно был.

— Не припомню что-то.

— История об этом умалчивает пока.

— Ну ладно, а что же дальше? – Я сделал умную и внимательную физиономию, но дядя замолчал, вновь закручивая козью ножку и поглядывая в вечернее окно. По стеклу били крупные и редкие капли дождя. Я затаил дыхание. Тишина, и только эти редкие капли… Стало тоскливо почему-то.

Дядя прикурил, дымя по-страшному, и, как бы нехотя – то ли врать надоело, то ли… потом сказал вдруг о другом:

— Эх-х, зима скоро, а я угольком ещё не запасся, пенсия-то тьфу… одно название.

— Я завтра должен получить зарплату. – спокойно, как бы между прочим, вымолвилось у меня,— займу тебе на уголёк, как уж…

— Спасибо, племяш.

Дядя вдруг засуетился, срывая свой плащ с вешалки.

— Дядя, а Гитлер?

— Что, Гитлер? Ах, да!.. – Он присел вновь на скамейку, попыхтел самокруткой. – Гитлера я чуть не замочил, точно! А было это так: Кузнецов, значится, охотится на этого, как его…

— Коха?

— Вот именно. О, да ты маленько знаешь!.. Так вот, э-э… Он на Коха охотится, наш товарищ Кузнецов, а я на Гитлера. Но у Кузнецова

неудачно как-то вышло, да и у меня тоже. Сижу я, значится, в канцелярии, в туалете. При форме я немецкой – мне везде теперь можно… И тут чувствую, слышу, что через перегородку тоже кто-то того… по нужде… Ну и ладно, думаю, а потом – дай-ка гляну, не Адольф ли там случаем!? Глянул в щелку, точно – Адольф. Я так и обмер… от счастья. Сидит он, понимаешь, красный – дуется, и чубчик такой же и усики… Я дверь резко открываю и спрашиваю:

— Адольф?

А он:

— Я,я.

— А я ему:

— Ты, ты?!

А он:

— Вас, вас? Я,я. – Адольф.

Тут я совсем немецкий подзабыл – ну начисто!.. да и русский тоже, и как крикну по-украински:

— Ох, якый гарненький хлопчику! А ну, як его… рукы доверху! – А сам пистолет нащупываю, да вспомнил, что сдал его на входе в сортир. А Гитлер, смотрю, уже портки натягивает, и уже не красный – побелел мерзавец, трясётся, да как заорёт:

— Нэ замай мэнэ, нэ замай!

— Да он же не хохол! – Схватился я за живот.

Дядя тоже стал громко смеяться, вскочив со скамейки, потом, приседая, свалил с печки полкастрюли борща и выбил одну ножку моего стула, после чего тот рухнул, едва не зашибив толстого и ленивого кота Долбоноса. Мы долго смеялись.

— В общем,— дядя вытер слезящиеся от смеха глаза,— в общем выпорол я его по заднице ремнём, а потом выпрыгнул в окно, пока охрана не подоспела. Вот так я чуть не получил звезду Героя Советского Союза.

Когда дядя ушёл, я обнаружил под столом его медаль за взятие Ровно. Она была деревянной а сверху облеплена блестящей чайной фольгой, а я и раньше об этом догадывался. Но у дяди есть и настоящие медали.

Мне было весело, а на душе легко-легко. Я прильнул к окну и вгляделся в серое осеннее небо. Там ничего особенного не было, если не брать во внимание огромную чёрную тучу, напоминающую по форме человека с бровями. На Брежнева похожа – подумалось.

КУДА СОЛНЦЕ ПОДЕВАЛОСЬ

Он был расстроен до крайности. Сидел минут пять молча, потом тихим голосом сказал:

— Живёшь вот в этой дыре и божьего света не видишь.

Я хотел возразить, но он отчасти был прав. Да не отчасти, а пожалуй…

Он говорил и говорил:

— Хоть я и родился здесь, вырос, а вот на душе покоя нет. Да пошла такая жизнь к чёртовой матери! Оно б ещё терпимо было, когда б не погода… а то ведь совсем испоганилась.

Я здесь хотел возразить опять, потому что вспомнил одного поэта, который сказал как-то: «У природы нет плохой погоды…»— дальше все знают. С поэтом можно и нужно поспорить об этом предмете, но не с моим дядей. Тем более тут мы с ним единодушно признаём, что у природы бывает настоящее безобразие, в смысле этой самой погоды.

Дядя продолжал:

— Ведь лета практически нет: июнь холодный был, да июль тоже, август не лучше, дожди вечные – всё хлюп и хлюп… И живёшь, как в погребе, хоть днём с фонариком ходи. Думаешь к обеду прояснится немного, а оно, что утро, что полдень, вечер – всё едино – мрак и сырость. Три месяца практически солнца не видим. А может оно закончилось?

Тут я не выдержал:

— Что закончилось?

— Солнце закончилось!.. – Он до упора выкатил свои ясные глаза, глядя на меня в упор.

Здесь, конечно, нужно было его осадить, поскольку на наш век с дядей, по моему глубокому убеждению, его должно хватить. Но с дядей я не пререкаюсь: раз он засомневался, то это уже надолго. Впрочем, он же знал, что с небесным светилом всё в порядке (он любил иронизировать и фантазировать), но ему нужно во чтобы-то ни стало убедить меня в обратном.

Он пыхтел самокруткой и упражнялся в вольномыслии.

— А может,— говорит,— мы начинаем переживать очередной ледниковый период. Я лет двадцать не припомню такого лета. Ну ни одного солнечного дня!.. Похолодало шибко. – Он передёрнул плечами, якобы от озноба. – Помидоры не собираются краснеть, огурцы зеленеть. Да ещё,— он прищурил один глаз,— правительство бабье лето отменило в этом году…— по радио передавали.

Ври, думаю.

Дядя, громыхая кирзовыми сапогами, расхаживал от стола к окну, натягивая струною свои нервы – он это умел.

— Ну надо же,— сипел он затёртой грампластинкой,— ходишь, ходишь, назьмом грядки для сугрева обкладываешь, с плёнкой носишься – утепляешь. А урожай где? Где урожай? А?

Он опять уставился на меня не моргая, как будто я нёс за это ответственность не только по всей Сибири, но и по земному шару. Я пожал плечами. Мне нужно было успокоить дядю. И я придумал.

Мы срубили молодую сосёнку, привязали на конце простынь и залезли на крышу дядиного дома. Я сказал ему, что эта затея в общем-то не приведёт к желаемому результату, но попробовать можно, поскольку тучи нависают достаточно низко.

И мы начали пробовать. Первым начал махать я, но дядя тут же выхватил из моих рук этот незатейливый инструмент и стал показывать, как это нужно делать. Он безбоязненно носился по скользкой крыше, размахивая этим опахалом. Но, сказать по правде, он не успел пробежать даже полкрыши, а только до трубы, за которую я держался, как тут же поскользнулся на своих кирзачах и, грохнувшись спиной, поехал вниз с высокой и мокрой крыши, как смазанный вазелином, на свой приусадебный участок.

О, мне пришлось побывать свидетелем этой неприятной, ужасной сцены! Дядя соскользнул вниз мгновенно. На лету он даже заматериться не успел, зато внизу… Внизу он размочалил огуречную и морковную грядки, но сам отделался, как говорится, лёгким испугом, благодаря высокому плёночному парнику, который и смягчил удар, но дядя всё равно был страшно недоволен. Он ругался долго и нецензурно. Потом махнул мне рукой, дескать, спускайся. Мы поняли, что таким образом тучи невозможно разогнать – в них пушкой стрелять надо. Он тогда ещё сказал, что доживёт до хороших времён.

Я тогда не понял, что он имел в виду под лучшими временами. Но однажды он попросил у меня скотч. Небо было тогда таким же серым, плотно затянутым, как толстым ватным одеялом, и настроение у дяди было совсем отвратительным. Он сел напротив меня и заговорил хрипло, зло:

— Я родился и вырос в Калошино, да и прожил большую часть жизни здесь же. И каждую зиму я с нетерпением дожидался весны и лета, чтобы, пережив лютые морозы, понежиться хоть маленько под солныш-

ком, а тут кроме туманов и дождей… Я старею – костям тепло требуется. Неужели по всей России такая погода?!.. Тошно мне уже от такой жизни.

Я уже не знал, чем ему помочь, что подсказать, либо сделать.

Он взял скотч. Но моё любопытство так взыграло, что я потихоньку поплёлся за ним. В тумане дядю легко можно было потерять из вида, но этого не случилось, поскольку я шёл за ним буквально вплотную. Жидкое месиво громко чавкало под дядиными сапогами. Я старался так же, в унисон, чавкать, а когда он несколько раз обернулся, то я умудрялся принимать вид какой-нибудь коряги или камня. В тумане нетрудно изображать любые формы, и когда я нечаянно кашлянул, то дядя удачно мимикрировал под собаку став на четвереньки и приподняв одну ногу – даже гавкнул два раза. И я понял, что он готовит что-то тайное.

Дядя направлялся домой. А куда ж ему ещё. Шёл, не разбирая дороги – видно, волновался. Признаться, таким манером нам не стоило так себя вести. Всё равно мы опознали друг друга. Он первым окликнул меня, и мы подошли к его огороду. Туман слегка рассеялся, и на дядином участке можно было увидеть множество больших и маленьких лоскутов полиэтиленовой плёнки. Дядя тут же, ничего мне ни говоря, начал склеивать скотчем эти куски плёнки между собой. По краям он выкроил нечто закруглённое, потом увязал это в подобие горловины воздушного шара. Да, это был воздушный шар. Я обомлел…

Я бы хотел в этом месте уточнить, почему дядя пошёл на такое рискованное мероприятие: дороги отвратительные у нас, считай только тропы, да водный путь ещё. Наше Калошино ведь у чёрта на куличках находится, потому и трудно общаться с внешним миром.

И вот дядя решил по воздуху, чтобы круто изменить ситуацию в личном плане. Он решил, видать, убраться отсюда подальше, если выбрал такой способ передвижения. Я был тогда потрясён увиденным и не сразу бросился ему помогать. Он, конечно же, приглашал меня в полёт, но я отказался – привык здесь болтаться.

С воздухоплавательным аппаратом мы провозились несколько часов. Я сомневался, что этот шар, поплывёт по небу, но дядя убедил меня, и если бы я не поверил, то возможно он бы и не поднялся. Вера – большая сила.

Дядя вытащил из дома всю мебель, потому что она представляла в его понимании только дрова, да к тому же ещё и сухие.

Долго мы загоняли горячий воздух в середину огромной плёнки-мешка. Сельчане тоже стали помогать: кто граблями, кто лопатой размахивали от жаркого костра в сторону горловины шара.

Я тогда сказал дяде:

— Дядя, а ведь воздух вскорости остынет, и что же потом?..

На что он ответил:

— Главное – взлететь, а там видно будет. Хоть проверю, куда солнце подевалось.

И поднял в небо он не только себя, но и свой почерневший от времени рубленый дом. Тот долго сопротивлялся, скрипел на все лады, охал, вздрагивал и кряхтел надсадно, как мужик, взваливший на себя мешок комбикорма, но всё же оторвался…

Мы все видели, как дядя сидел у окна и в одной руке держал кружку горячего чая, а другой махал нам на прощание. Я смахнул слезу.

Вот такая история вышла с моим дядей. Дай бог ему удачной посадки где-нибудь в тёплых краях, где можно всегда видеть солнце и наконец-то отогреться как следует.

А главное что? Главное, захотеть, очень захотеть, и всё получится!

СОКОЛУХА

В начале августа я получил от дяди телеграмму: « Приезжай тчк Новокузнецк тчк гора Соколуха». И на сердце стало легко. Я даже прослезился от счастья: «Жив, значит, дядя. Приземлился, значит, благополучно».

Потом я раскрыл Атлас Мира и стал искать город Новокузнецк. Поначалу меня занесло аж в Бразилию: наткнулся на Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, потом осенило: «Да это ж где-то рядом, в Сибири!..» И точно: «Ке-ме-ров-ская область,— читаю,— город Новокузнецк». А где же я? А я нахожусь на востоке Н-ского края в деревне Калошино. В принципе, недалеко дядя улетел на своём воздушном шаре вместе с домом. Но как же он умудрился пролететь столько без подачи горячего воздуха в шар? И почему он приземлился именно на какой-то горе Соколухе, а не в благодатной долине? И видел ли он солнце? Это и многое другое меня так взволновало, что я тут же стал собираться в дорогу.

Местные жители, узнав о моём спешном отъезде, заволновались, казалось, больше, чем я. Каждый передавал гостинец для дяди и непременно с горячим приветом, и сказали, что если дядя обнаружил солнце (дожди так и лили) и проживает в тёплом месте, то они готовы тут же перебраться туда.

Я откланялся всем и пустился в дорогу.

Признаться, мне было достаточно рискованно пробираться по нехоженым тропам до райцентра, чтобы оттуда уже уехать транспортом к месту назначения. Я шёл дебрями с большим кухонным ножом за голенищем и термосом горячего супа. Всё обошлось благополучно: зверь дикий обошёл меня стороной да и компас не соврал.

В райцентре я успел ещё попасть на приём к главе администрации и передал послание от калошинцев, в котором они настоятельно требовали проложить к ним хоть плохонькую, но дорогу. Иначе они все переберутся из этой деревни хоть куда, хоть на неведомую им Соколуху. Глава долго морщился, но так и не вспомнил деревни Калошино, поскольку такое село даже на карте не значится, а про Соколуху тоже он не ведал. Я взял тогда красный карандаш и провёл жирную линию от райцентра Заколдобино до примерного местонахождения моего Калошино и поставил в том месте большую точку. Глава сказал, что когда у него будет на балансе вертолёт, то он непременно посетит мою несчастную Родину.

После посещения районного чиновника у меня совсем испортилось настроение, но будущая встреча с моим дядей вновь окрылила меня. Я уже ехал на автобусе по относительно приличной трассе и ловил себя на мысли, что погода в этом году действительно никудышная – сырая, холодная, и в конце –концов куда же подевалось солнце, хотя я был уверен – оно там – за тяжелыми и мрачными облаками.

И вот я подъезжаю к Новокузнецку. У меня захватывает дух, и я начинаю кашлять. Долго кашляю. На глазах слёзы. Все пассажиры оборачиваются в мою сторону – сразу видно, что не местный,— не привык к дыму. А город, как заядлый курильщик, пыхтит, задравши кверху косой десяток труб-сигар. Дым от них разный – голубовато-сиреневый, жёлтый, розовый, чисто белый – красиво! И этот разноцветный смог зависает плотно, поглощая дома и людей, и в нём… Владимир Маяковский на пьедестале. Он сказал как-то: «Я знаю город будет, я знаю саду цвесть!..» Хорошо сказал, и главное – правду. И сад я видел, и дядю, но это потом. Я прослезился, но уже больше от чувств, чем от дыма.

Дядю я искал долго. Гора там была не одна, и все они были высоки и округлы, как женские груди, к тому же плотно заселены до самого верха, так что диву даешься, как туда можно завозить стройматериалы – разве что на танке. В справочном бюро мне ответили – Соколухи у них не значится и посоветовали обратиться в милицию. Там тоже пожали плечами

и сказали, что преступный элемент они берут в основном по названиям улиц и номерам домов.

Я расстроился. Видно, это была очередная дядина шутка. Ведь, действительно, почему же он не указал улицу и номер дома? Но, внимательно рассмотрев каждую гору, я заметил: на одной из них, почти на самой вершине стоит небольшой бревенчатый дом ярко освещённый солнцем. Я не ошибся – это была Соколуха. И называли её так между собой обитатели этой горы. То ли там гнездились соколы, либо пролетали когда-то по своим соколиным делам, то ли жил человек по фамилии Соколов и чем-то прославился именно на этой горе, а чем – никто уже не помнит. И прежде, чем взобраться на самую вершину Соколухи, мне пришлось прошагать по улице Крутой, которая и выводила на самый верх горы. И эта улица, действительно, отвечала своему названию…

Она была очень крутая, к тому же изрыта глубокими канавами вследствие весенних таяний снега и летних обильных дождей. Да, подъем был не из лёгких, но я напрягся и двинулся наверх к солнцу, к дяде. По мере восхождения по Крутой первым, конечно же, явилось солнце. Оно щедро обогревало всё живущее, да так, что я тут же пролился обильным потом. Соколуха тоже пребывала в тепле и благодати – вокруг наливались соком яблоки и вишни, что для Сибири в целом – явление крайне редкое.

Я вскоре запыхался и свалился у обочины в тени невысокого забора. Впереди шедшая старуха с сигаретой во рту и большим рюкзаком на спине, глянув на меня, процедила сквозь остатние зубы:

— Ишь, какой шлабенький…— и, цвиркнув длинно слюной, добавила,— видать не здешний.

— Не местный я, бабушка, не местный. – залепетал я шершавым языком. Потом попросил с мольбой в голосе. – Пи-и-ть.

Старуха остановилась и, сбросив рюкзак, пошарилась в нём. Не успел я опомниться, как в рот мне было засунуто тёплое горлышко бутылки, из которой, забивая дых, полилась обжигающая внутренности жидкость.

Старуха вновь продолжила восхождение, а я всё махал руками и отплёвывался от выпитого. Это было какое-то спиртное доморощенного пошиба. Я хотел обругать старую каргу и слова негодования уже готовы были сорваться с моих пересохших губ, как вдруг я почувствовал прилив свежих сил, и, вскочив на ноги, я бросился к своей спасительнице,

чтобы уже рассыпаться в любезностях, но старуха успела юркнуть в ближайшую калитку старого перекошенного дома.

А строения на этой улице, да и по всей горе, казались все перекошенными, даже новые, поскольку нижняя часть дома была высокой в фундаменте – почти в человеческий рост, а другая часть вверху горы, буквально врастала окнами в землю, что и давало ложное представление о горизонте.

Теперь я шёл бодрее и всё чаще запрокидывал голову, чтобы наконец-то узреть дядин дом, но до него было ещё далеко. Я остановился, переводя дыхание, и посмотрел на город. Он был внизу – у ног. Сердце моё страшно забилось – я ощущал себя альпинистом, но тут же устыдился, видя вокруг себя многих покорителей Соколухи, которые, вероятно, не раз на день спускались в город и вновь поднимались к себе наверх, домой.

Я был уже близок к цели. И тут я увидел его. Дядя сидел на крылечке своего дома и, подёргивая кончики усов, хитро улыбался. Я не сомневался, что он знал о моём приезде, а когда я увидел лежащий рядом с ним бинокль, то не на шутку рассердился.

— Дядя, вы, вы… видели меня в бинокль?

— Да, племяш, ха-ха, ещё у автовокзала! – Он залился задорным смехом,— потом ты ещё того… ха-ха, у Маяковского мой адрес спрашивал.

— Ах, вы видели меня в бинокль?! – продолжал я в запале,— и не встретили?!.. Да я, я не прощу вам этого! – И я демонстративно повернулся к нему спиной, давая понять, что в любую минуту готов покинуть Соколуху. Дядя же похлопал меня по плечу и, обняв, выдавил скупую слезу.

Да, врать не буду, видел я тебя, племяш, следил за тобою, чтоб ты не потерялся, а в остальном надеялся на твою смекалку. Ведь ты же сообразил, что я проживаю именно на этой горе.

Я расчувствовался и, прижавшись к дядиной небритой щеке, выдавил:

— Сообразил. Ещё как сообразил. Ведь эта гора самая высокая, и вы, наверно, просто зацепились за неё, пролетая на своём шаре.

Дядя стал серьёзным. Он подвигал своими кустистыми бровями, потом желваками.

— Да, племяш, ты прав: зацепился я. Я в общем-то готов был лететь дальше, насколько бы хватило моих сил.

— О чём вы говорите, дядя! – Вскричал я,— каких ещё сил, когда ваш шар нуждался постоянно в горячем воздухе! Как вы ещё могли преодолеть такое расстояние?!

— Элементарно, племянничек! А попробуй сначала догадаться.

— …

— Элементарно,— вновь повторил он. – Я топил печку.

— Как? Зачем?

— А чтобы наполнять шар тёплым дымом из печной трубы, а труба, если помнишь, как раз выходила к горловине шара.

— Вот это да!.. У меня чуть не отпала нижняя челюсть.

— Вот именно! – Дядя подбоченился и повлёк меня за собой в дом, на ходу продолжая. – Да, да, я топил печь, чтобы поддерживать нужную высоту.

— А дрова? – Спросил я. Но это был глупый вопрос, ведь в доме ещё оставалась кое-какая мебель. Но дядя продолжал серьёзно.

— С дровами проблем не было. Я даже полы разобрал ради этого полёта. И представь, племяш, что я сидел буквально на дверном косяке, а печка держалась не знаю как – на честном слове, но зато я видел всё, что было снизу – пейзажи наши Российские, когда не было туч. О, это было великолепное зрелище!.. – Он засверкал глазами и подергал кончик уса.

— А солнце? Как быстро вы увидели солнце?

— А солнце, дорогой племяш, я увидел не сразу, не буду врать. Ведь тучи над нашим Калошиным были настолько плотные, что я буквально застрял в них. Представляешь – ни туда, ни сюда.

— Да ну!..

— Гну. Слушай дальше. Я даже дом обошел со всех сторон в поисках причины.

— По тучам? – округлил я глаза.

— Да, прямо по тучам. И представляешь,— дядя высоко поднял рыжие брови, потом опустил их,— нашёл всё же причину… Язви его… с домом-то. А оказывается, дом поднялся вместе с забором и лестницей чердачной, понимаешь, вот как раз этими причандалами он и зацепился за тучу. А когда я всё это убрал, то опять, как смазанный, пошёл дальше. А потом уже было солнце. Много солнца.

— А как же Соколуха? – Не выдержал я, перебивая дядю.

— А на Соколухе я потерпел аварайю. – Он насупился и закрутил козью ножку. – Я, представляешь, готов был, как я уже говорил, к дальнейшему воздухоплаванию, если б не Соколуха. Да вот ещё с едой было туговато. Видишь ли, я так жарко натопил печь, что шар поднялся на такую высоту, где уже, считай, не было никакой живности.

— Какая, дядя, там ещё живность?! Вы же не на земле находились, а в…

— Какая, говоришь, живность… А пернатая!.. Вот попались как-то мне гуси дикие – высоко они летели, как и я,— дядя похрустел длинными пальцами, нервно заходил по горнице. – Ты веришь, я его уже кочергой почти достал!..

— Кого?

— Гуся, кого! За шею кочергой!.. Сам понимаешь, кое-как держусь на дверях, вот-вот сорвусь, а в правой руке кочерга, вот я и гну гусю шею, притормаживаю его, подтягиваю к себе. А он, гад, меня крылами по морде хлещет – отхлестал на нет, а тут ещё вся стая накинулась на меня… И решил я тогда пониже опуститься в надежде хоть воробья сачком поймать. Опускаюсь, а оно, сам знаешь,— туман – Сибирь ведь, и тут хрясь!.. Соколуха… еле живой остался. Дом весь рассыпался, но собрал, как видишь, и не жалею, если б не Соколуха, то куда б меня ещё занесло – неизвестно… Ты только поглянь, племяш, какая красота вокруг!.. И солнце тут почти всегда.

Мы вышли из дома и посмотрели на лежащий у ног город: Соколуха была в выигрыше и её жители, а город… Город весь обволакивался дымом и тучами, из которых проливался обильный кислотный дождь. Там было мрачно и сыро, а на самой вершине Соколухи ясно и тепло.

— А знаешь, племяш, что я придумал. – неожиданно выпалил дядя.

— Может, дядя, хватит! – почти простонал я.

— Да ты не бойся! Ха-ха-ха! Мы никакие пространства с тобой больше покорять не будем. Я просто получил один очень важный социальный заказ.

— Ну-ну!..

— Именно заказ. Сам мэр города упросил меня. Вы, говорит, человек бывалый, мастеровой, вон, мол, как вы на воздушном шаре… Помогите, говорит, нам избавиться от этой дымовухи. А мы, говорит, за это вам памятник поставим рядом с Маяковским.

— Ну может, по поводу памятника вы, дядя, и врёте, а вот по поводу дымовухи согласен – проблема есть, и очень даже актуальная. И что же вы придумали, дядя?

Дядя подвигал бровями и, ухмыльнувшись в усы, повел меня к самой верхней точке горы.

— Вот здесь я поставлю огромный и мощный вентилятор, который и будет разгонять смог над городом. – Дядя озорно сверкнул глазами и

энергично стал жестикулировать, показывая, что из себя может представлять его будущее детище.

«Да, всё гениальное просто»— отметил я про себя, заворожено глядя на неугомонного родственника и верил, что если дядя за что-нибудь возьмётся, то непременно добьётся результата – конкретного. В этом я уже не раз убеждался.

КАК МЫ С ДЯДЕЙ РЕЧКУ ПОКОРЯЛИ

До того, как мой дядя улетел в неизведанное на воздушном шаре, мы с ним пытались покорить нашу местную речку Каначку на двухместной байдарке. Как всегда, застрельщиком во всех делах выступал мой неугомонный дядя.

Был он человеком выше среднего роста, поджарый, морщинистый и крепок, как саксаул. На голове у него почти ничего не было – считай лысый, только за ушами немного кустилось. Глаза серые, правда, левый глаз был слегка зеленоватым, а если считать, что глаза всё-таки зеленоватые, то правый тогда был серым. Губы тонкие, нос прямой, лицо небольшое – птичье, брови рыжие кустистые. Он был уже в летах, ещё бы: воевал в гражданской – был у белых и у красных, потом отечественная. Это было так давно, что он и не вспомнит когда и где получил ранение в ягодицу – то ли в той войне, то ли в этой – то ли при наступлении, то ли при отступлении. Мы с ним неоднократно логически рассуждали на эту тему и пришли к выводу, что ранение всё-таки произошло при отступлении, поскольку рана по характеру как бы колотая, как бы от штыка и как бы вдогонку.

Он, правда, не отказывался от этой версии, говорил, что времечко было лихое, и ничего в этом позорного нет. И вот эта рана уже много лет ему не давала покоя: нерв седалищный повредился и нет-нет да и даст о себе знать – то ногу потянет, то как кольнёт… аж прогибался дядя. Но в общем он молодцом выглядит и, что самое интересное – ужасный непоседа: то ему смастерить надо что-нибудь необычное, то вот речку нашу Каначку покорить собрался.

А зачем её покорять? Течёт она спокойно через наше село Ново-Андреевку, мелкой рыбёшкой изобилует – марлей только поймаешь (через тюль проскочит). И вот дядя как раз, после праздника Победы, сбросив свой френч с наградами, а были там и георгиевские кресты, и орден

Красного знамени, и медаль «За отвагу», и завалил ко мне, как всегда, неожиданно. Он весь сиял, как начищенная солдатская бляха, потому что на митинге пропустил «фронтовые сто грамм» да дома, видать, еще двести добавил.

Он прошёл на кухню, скрипя хромовыми сапогами. Уселся на табуретку, подёргал кончики прокуренных усов и, подмигнув, заговорщицки сказал:

— Ты, племяш, давно бывал в моём гараже?

Я почесал затылок левой рукой, потому как правой держал ложку, запуская её в прокисший борщ.

— Не помню, честно сказать,— пробормотал я. – А что, какой-нибудь аппарат опять смастерил? Летательный поди?

— Ха-ха-ха! – Громко рассмеялся дядя. – Не угадал, не угадал! – Он похлопал ладошкой по коленке,— байдарочку, мил человек, я сделал. Двухместную.

— Я поперхнулся.

— Зачем же двухместную?

— А для тебя одно! – весело гоготнул он.

— А где ж мы будем плавать? – с тревогой в голосе спросил я.

— Где, где. Да по нашей речке, где ж ещё?! И не просто будем плавать – плавает только дерьмо в проруби, а покорять её буквально.

Я очень удивился.

— Да там же воды по пояс только, да и спокойная она. Как же её покорять-то, коли её любой малец вброд перейдёт.

— Да, ты прав,— сказал дядя,— мелкая она и не широкая. Как говорил Николай Васильевич Гоголь: «Не каждая струя долетит до середины нашей речки».

— Вы, дядя,— говорю,— не хамите по поводу великого классика! А то, что наша речка, действительно непригодна для такого предприятия, то это факт. Зря вы,— говорю,— дядя затеяли эту затею.

— Ну нет, нет! – Дядя опять похлопал себя по коленке, и придвинувшись ко мне, задышал в лицо. – А наша речка-то где начинается?.. А она начинается в горах! А там она совсем другая… бурная. Вот оттуда мы и начнём её покорять.

— Да,— сказал я,— но до гор ведь далековато. Это что ж, мы на себе будем тащить твою байдарку?

— Ну, где-то по воде верёвкой протащим, а где-то и на горбу придётся.

Мне, признаться, это не очень понравилось, но дядя наседал, убеждая, что это великолепный вид спорта, во-первых, да и отдых, а если я не соглашусь, то он порвёт со мной всяческие отношения. Вот так!

В тот же день мы осмотрели байдарку. Проверили её на прочность, на надёжность крепления её составных частей и на отсутствие дырок, чтобы не пойти ко дну. Но всё было добросовестно заштаклевано и аккуратно покрашено. Была она метров шесть длиной и в общем-то не тяжёлая, чего я боялся. Дядя выполнил своё изделие, как настоящий мастер, только неизвестно из чего, но я думаю, что из дерева, а может и... а в общем это неважно – дядя всё может сделать буквально из ничего.

И вот в один июльский день мы отправились за неизгладимыми впечатлениями и острыми ощущениями вверх по нашей реке Каначке. Назвали её так очень давно, и что это обозначает, никто вам не скажет. Была она кроткого нрава – это в низовье, а чем выше мы поднимались, тем Каначка становилась беспокойнее: пороги и небольшие водопады с бурунами. Но это потом, а в начале…

В начале нас вышла провожать почти вся сельская ребятня. Им было очень удивительно, что я с дядей вместо того, чтобы просто валяться где-нибудь в тени дерева в такую жару, решились на необычное мероприятие. Дядя к тому же пообещал всем, что обязательно узнает, откуда берёт начало наша речка, и все дружно зааплодировали, и мы с дядей тронулись в путь.

Рюкзаки мы положили в байдарку и взялись за верёвку, как бурлаки. Особенного напряжения мы не испытывали: берег был пологий песчаный, вода тихая, и байдарка легко скользила по зеркальной глади. Дядя был по пояс голый и в солдатской панаме. На ногах всё те же хромовые сапоги. Я его личному гардеробу в принципе ничего не имею, но мне было жаль, что он в такую жару не снимал сапог. Я же передвигался в стареньких кедах, в которых ноги буквально варились, но идти босиком по раскалённому песку было невозможно.

Первый километр вёл байдарку дядя, потом я. А по мере усложнения ландшафта местности стали меняться почаще. Но когда на реке стали появляться пороги, то мы вытащили байдарку на берег и понесли её на плечах.

Вскоре мы устали, и я предложил сделать привал. Мы уселись в тени большого камня. Я вытащил из рюкзака хлеб, огурцы, но дядя сказал, что этим сыт не будешь – нужно ещё что-то мясное.

Я спросил:

— А вы же, дядя, обещали колбасы прихватить и сала. Интересно, что же находится у вас в рюкзаке?

— А в моём рюкзаке находится двухместная палатка и, к сожалению, там не нашлось места для продуктов. – Дядя хитро прищурил свой левый зеленоватый глаз. – Но уверяю тебя, племянничек, без мяса мы не останемся – И он направил свой прокуренный указательный палец поверх моей головы.

Я обернулся. На камне сидела небольшая коричневая ящерица, широко расставив лапки, и настороженно следила за нами. Мне стало не по себе, но дядя сказал, что мы находимся практически в экстремальной ситуации и что жареная ящерица очень даже сытная и вкусная. И вскоре попрыгав козлом, дядя наловил полпанамы ящериц, потом вытащил нож и приступил к экзекуции… Он их разделывал, как заправский мясник, и меня чуть не стошнило. Он с такой тщательностью и любовью это проделывал, что мне показалось – родственник начнёт их есть сырыми. Но он посолил их, поперчил и, продев на проволоку, начал поджаривать.

Я обошёлся тогда огурцами и хлебом, а дядя с превеликим удовольствием облизывал пальцы, доедая несчастных ящериц, потом, громко икнув, сказал, что ему теперь необходим сон-тренаж, и надвинув панаму на глаза, задал храповицкого.

Вечером, когда мы вновь сделали привал, я попытался поймать на удочку хоть какую рыбёшку, но клёва не было, хотя кузнечик на крючке, на мой взгляд, выглядел очень аппетитно. Дядя посмеялся и сказал, что легче наловить этих самых кузнечиков и сделать из них жаркое. Я уже испугался, что он начнёт скоро есть всё подряд, но дядя вновь сделал выбор на ящерицах.

На ночь мы поставили палатку и уснули богатырским сном. По правде сказать, по-богатырски спал только дядя. Он храпел настолько громко, что я боялся, как бы на шум не пришёл какой-нибудь крупный зверь и не задрал нас. Кроме того я несколько раз выбегал по нужде – огурцы давали о себе знать. Ночь была лунная, и всё казалось призрачным: палатка, тень от неё, шелест узких листьев тальника и тоскливый крик какой-то ночной птицы. Было жутковато, даже более, но в эти минуты меня бодрил дядин храп, который в тоже время и не давал спать.

Утром дядя проснулся до восхода солнца и растолкал меня. Я был страшно недоволен его поведением, поскольку рассвет только брезжил, а у меня в это время как раз бывает крепкий сон. Но дядя выволок меня за ноги из палатки и окропил холодной речной водой. Выпив крепкого

чая, мы стали собираться в дальнейший путь. Я начал было предлагать дяде, что не пора ли нам сесть в байдарку и спуститься в село. Он же смотрел на меня возмущённо, но сказал спокойно.

— Ещё, племяш, вон до тех скал доберёмся, и тогда можно будет и назад. Кстати, где твой рюкзак?

Я растерянно стал озираться, но нигде его не было. Несколько раз обойдя место ночлега, рюкзака я так и не обнаружил. Узнав, что он на ночь оставался за пределами палатки, дядя не удивился его исчезновению.

— В твоём рюкзаке находился хлеб, значит кто-то из четвероногих упёр его. – рассудил дядя.

И точно, недалеко, в тальнике, обнаружилась пропажа, но уже без хлеба. В рюкзаке оставалось лишь несколько мятых огурцов. Мне взгрустнулось.

— А какой зверь это мог сделать?

— Судя по следу, это был не волк, а что-то поменьше. Может быть, лисица. – ответил дядя.

— Кто бы это ни был, а поступил он подло! – в сердцах воскликнул я.

Дядя успокоил:

— Предчувствие мне подсказывает, что сегодня должна идти на удочку форель, но нам нужно ещё немного пройти.

Я поверил дядиному предчувствию и двинулся в гору, тяжело передвигаясь слабыми ногами от недоедания. Байдарка уже казалась страшно тяжелой, и я часто просил передышки. К обеду мы забрались достаточно высоко и с трудом могли определить местонахождение нашего села.

На обед я действительно наловил много форели. Она была крупной и жирной. Дядя на этот раз отказался от ящериц и, нахваливая царскую рыбу, с причмокиванием обсасывал её косточки. Потом был снова сонтренаж, а к вечеру мы забрались так высоко, что у меня началось лёгкое головокружение от недостатка кислорода. Дядя тоже чувствовал себя разбитым, он сказал, что выше мы уже не сможем забраться в виду физической неподготовленности и что ему очень жаль, что так мы не увидели начало нашей реки Каначки. А наша речка бурлила у наших ног, пенилась и перекатывала огромные валуны, страшно грохоча ими, и хлёстко била каскадами брызг в прибрежные скалы.

В ту ночь спалось хорошо. В желудке было приятно от сытного ужина, и хоть воздух был разрежен, но всё равно он целительным бальзамом воздействовал на уставший организм.

Утром мы сделали зарядку и, выпив бодрящего индийского чая, начали приготавливаться к самому главному. Всё вроде было предусмотрено, единственное, что нас не устраивало, так это дядин пузатый рюкзак с палаткой. Он решительно не вписывался в спортивный ансамбль и имел вид только балласта, который в случае намокания может сильно нам навредить. Но дядя сказал, что палатка – вещь дорогая ему: он в ней спал ещё со времён одного крупного наступления, которым руководил Василий Иванович Чапаев (так он врал), но я, конечно, не верил в эту байку. Скорее всего он прихватил палатку, когда побывал во второй экспедиции на месте падения Тунгусского метеорита. Я помню газетную вырезку с фотоснимком, где на фоне обезображенного леса стоит такая же палатка с чёрным пятном, а из неё выглядывает серьёзная дядина физиономия.

Дядя косо посмотрел на меня и решительно надел рюкзак на плечи. Кое-как мы забрались в байдарку: мешали бурные водовороты. Даже у самого края берега это проделать было чрезвычайно трудно. Но нам это всё же удалось, и дядя, махнув мне рукой, радостно прокричал: «Пое-ехали!»

Мы дружно оттолкнулись вёслами от огромного камня, и речка подхватила нас, словно мы для неё ничего не значили – два таракана на палочке. О, это было так ужасно!.. Мы с дядей и не предполагали, что это будет совсем непросто. Ведь навыки по управлению этим судном мы приобретали тут же… Едва оттолкнувшись от берега, наша посудина развернулась поперёк реки, и если бы не дядина смекалка, то мы могли бы потерпеть аварию не отходя, как говорится, от кассы…

Дядя начал быстро, резкими движениями загребать своим веслом, чтобы выправить байдарку, при этом он что-то выкрикивал мне ругательное. Я же не знал какие действия нужно предпринимать в этой ситуации, я лишь кивал дяде головой, мол, всё понимаю, но полагаюсь только на вашу сообразительность.

Дядя, конечно, сидел впереди. Во-первых, он был бесстрашным человеком, а во-вторых, я бы и сам уступил ему место кормчего в знак признательности к его выдающимся деловым качествам, к тому же он сам не позволил бы сидеть сзади, созерцая чужую спину. Дяде бы ещё шашку в руки вместо весла и вперёд, аллюром…

Несколько минут мы летели с весёлым гиканьем, лавируя кое-как меж скользких валунов, торчащих над водной стремниной. Дядя кричал: «Гей –й! Го-оп!» И широко улыбался, оборачиваясь на меня. И хоть брызги захлёстывали нас в своём неистовстве – мы держались бодро,

ведь дядина байдарка была сработана на совесть: брезент с плотной резиной на поясе не позволял воде проникать вовнутрь, тем самым не делая нас потопляемыми. Единственное, что меня постоянно смущало – это дядин рюкзак, который уже чрезмерно размок и кренил дядю в разные стороны, а он в свою очередь заваливал байдарку.

Попав в огромный бурун, я почувствовал, что нам грозит явная опасность. Первым углубился дядя. Над бурлящей поверхностью виднелась только его лысина (панаму смыло). Я же оказался словно сидящим на дереве: задняя часть байдарки задралась вместе со мной. Потом углубился я, а когда вынырнул, то почувствовал, как мы начали катастрофически заваливаться набок и наконец оказались плывущими вниз головой вместе с дядиной посудиной.

Ощущение, прямо сказать, было необычным и удивительным. Мне никогда не приходилось плыть вниз головой по бурлящей реке и любоваться подводным миром. Но поскольку мы с дядей не рыбы – нам нужен воздух, то естественно, с первых же секунд мы начали предпринимать отчаянные попытки помочь перевёртыванию нашей лодчонки в нормальное положение. Кроме неслаженных загребаний вёслами, нам ещё приходилось убирать свои физиономии от налетающих на нас подводных камней.

Мало того, на одном участке передвижения мы попали в разыгравшийся косяк крупной форели. Я видел, что дяде, как первопроходцу, было от этого несладко. Он бросил загребать веслом и все усилия направил на защиту от обнаглевшей рыбы. Правой рукой он держал весло, а левой загораживал лицо от нечаянных выходок форели. Но всё-таки несколько крупных рыбин мощно отхлестали хвостом дядину фотокарточку. Досталось и мне. Одна форелина больно саданула под дых, а другая мощно съелозила по шее.

Но мы мужественно переносили эксцессы водных обитателей и продолжали стремительно лететь вниз по реке. Я ждал от дяди решительных действий, но их почему-то не поступало, и мне стало страшно – ведь до самого села я буду теперь плыть вниз головой и не полюбуюсь прибрежными красотами. Но тут я понял – вся беда, действительно, была в рюкзаке, который дядя и не пытался сбросить. Он волочился почти по дну реки, свисая с дядиных крепких плеч, и не давал нам никакой возможности вывернуться.

Я начал толкать веслом в спину своего родственника и показывать рукой, чтобы он наконец-то сбросил свою ношу, но дядя в ответ показал

мне кукиш, и мы продолжали лететь дальше. Наконец, когда ему, видать, не стало хватать воздуха, так же как и мне, он сбросил свой рюкзак, и мы дружным взмахом весел вывернулись на поверхность.

Дядя громко ругался, выкашливая целые фонтаны воды, видно он успел изрядно её наглотаться. Я был безмерно рад – я снова увидел божий свет, и старался держаться уже увереннее на водной стихии. Теперь мы работали более слаженно, дядя обернувшись засмеялся в знак благодарности ко мне, а я закивал ему головой.

Вот мы уже проплыли предпоследний наш привал, чему я очень удивился: оказалось, спускаться было гораздо быстрее, чем думалось.

Часа через два река была уже спокойной, а потом и вовсе зеркальной. Мы плыли, уже не опасаясь за свою жизнь, а дядя вытащил свой непромокаемый кисет, закрутил козью ножку и задымил паровозом. Он улыбался и покряхтывал от удовольствия, а я спел песню: «Широка страна моя родная.»

Когда мы проплыли наш первый привал, где дядя начинал питаться ящерицами, то тут же за поворотом, показалось наше село. Нас уже ждали. Дети дружно визжали, размахивая полевыми цветами.

Дядя тогда сказал:

— Жаль, что мы так и не нашли начало нашей речки, но, думаю, эта экспедиция пошла нам на пользу, и мы её обязательно повторим, но уже с научной целью. А для этого нам придётся забраться ещё выше.

Я улыбался и молчал. А почему бы и не повторить наш маршрут! С дядей можно – он надёжный человек!

КРАСИВО ЖИВЁМ

Труп был вздувшийся, белый. Он зацепился за корягу, метрах в десяти от берега, и легко покачивался на небольшой волне. По берегу бегал злой участковый Синьков, он громко ругался в сторону утопленника, а рука его то и дело тянулась к кобуре, словно он хотел ещё и пристрелить того, кто и так уже был на небесах.

— Вот чёрт! Да сколько же вас!.. На той неделе с одним валандался, и опять!.. Эй, Михалыч, кто там с тобой?.. Помогите что ли.

Недалеко, на бревне, сидели двое и казалось равнодушно созерцали эту картину.

— Чем помочь-то? – откликнулись.

Участковый подошёл к ним, весь запыхавшийся, со съехавшей на затылок фуражке. Его небольшое остроносенькое лицо (про такое лицо говорят – птичье) было красным от негодования, а тонкие крылья носа широко раздувались. Двое привстали. Поручкались.

— Мужики, надо того... его на другой берег переправить. – Синьков при этом озирался по сторонам, вытирая носовым платком вспотевшее лицо, шею.- Достали они меня, черти.

— А зачем же его переправлять, коль он к нам приплыл? – спросил удивлённо Михалыч, пятидесятилетний, кряжистый, терзаемый вечной геморроидальной болью мужик. Рядом с ним сидел его давний друг, приехавший из Казахстана и подыскивающий себе место жительства в России. Он был помоложе Михалыча – суховатый и чёрный от южного солнца, и по всему видать, нервный – левую бровь его постоянно бил тик.

— А ему там лучше будет. – Участковый заговорщицки подмигнул обоим и, вытянув по-гусиному шею, вновь осмотрелся. – Вы, понимаете, как бы того... не видели и всё. А на том берегу им будет другой райотдел заниматься. Помните, в прошлом году они нам труп отбуксировали рано поутру. Втихаря сделали… Я тогда ещё с обеда в бинокль видел, что он к ним прибился, а к утру, собака, он был уже здесь!.. Вот и я им подарок сделаю. А с ним знаете хлопот сколько… Кто? Откуда? Сам в реку или…

Друг Михалыча, округлив от ужаса глаза, не мигая, смотрел на миллионера.

— Не понял? А мы-то причём? – задёргался он.

— Да, действительно, причём здесь мы? – подхватил Михалыч и со смешанным чувством страха и брезгливости посмотрел на реку в сторону покойника. – Они тут до самых заморозков плавают… так что же теперь…

— Да мне лодку хотя бы. – Синьков нервно прикурил. Сплюнул.

— Ну это другое дело. Сходи, возьми сам, а нас не впутывай.

Сарай Михалыча был рядом – в конце огорода, выходящего к реке. Через пару минут оттуда вышел Синьков, неся на голове резиновую одноместную лодку.

— А вы идите, идите подальше к такой матери! Глаза не мозольте! – крикнул он мужикам. – Мне свидетели не нужны!

— Точно, Борис,— засуетился Михалыч,— сматываемся вон за те кусты. – И друзья скрылись в густом тальнике. Оттуда они осторожно

подсматривали за действиями участкового. Метрах в двухстах ниже по реке, настраивал снасти какой-то рыболов.

— Вон свидетель,— прошептал гость из Казахстана.

— Далеко, не увидит, а увидит – не поймёт. Да нам-то, собственно, какое дело до этого.

— А лодка, Михалыч, твоя ведь.

— Если чего, про лодку я тоже ничего не знаю. Мент у меня её выкрал, ге-ге.

Синьков подплыв к трупу, привязал верёвкой его за ногу и взялся за вёсла. Коряга глухо хрустнула и груз, натягивая верёвку, медленно, но верно, рассекая спокойную вечернюю гладь реки, поплыл за лодкой. Было хорошо слышно, как Синьков несколько раз ругнулся в мать.

— Дурак,— процедил сквозь зубы Михалыч,— река хорошо звук носит, и про это знать надо. Ты, Боря, фильм видел « А зори здесь тихие»?

— А как же.

— То-то. Там на этом природном явлении и фильм построен. Вот и знахари тоже над банкой с водой молитвы нашёптывают – вода хорошо информацию принимает. Ну хватит нам с тобой тут торчать, далеко он уже. Пойдём на старое место – обсудим твои дела горемычные... ишь ты... вынужденный переселенец…

Они вновь сидели на бревне и курили. Река густо окрашивалась багрянцем заката. Где-то плескалась мелкая рыбёшка, звонко, как пощёчина, ударяясь о водную поверхность. У пологого берега усыпанного мелкой галькой, бегали юркие трясогузки.

— Хорошо-то как, господи. – вздохнул блаженно Михалыч. – Живу и не нарадуюсь: река, закат, воздух хвоёй настоянный. Так бы тыщу лет ещё…

— Чего хорошего... – насупился гость Борис. – Пойдёшь рыбалить а там утопленник.

— Да, Боря, бывает и так, времечко-то лихое – в городе тюкнут кого, и в реку, а он к нам по течению… А кто и по пьянке тонет. Нажрутся и в воду, и судорога там и прочее… Каждое лето бывает. Как купальный сезон так и... пожалуйста.

— Да-а, жутко-вато. – передёрнул плечами Борис. Нервный тик также активно дергался на левой брови. – Чёрт его знает, где лучше жить. Может я зря сюда намыливаюсь. Росиия большая – надо взвесить. Да и работа нужна.

— Работа всем нужна. При желании её найти можно.

— Что? Трупы вылавливать в речке?

— Да ты что с этими трупами привязался! У вас их нет разве? – занервничал Михалыч, отмахиваясь от комаров веткой боярышника. – Зато природа вон какая!.. А у вас что? Степи у вас.

— Не скажи, Михалыч, в степи тоже красиво. Поехали мы как-то к казахам на отгон... водочку там…

— Ну, Боря, с водочкой и на северном полюсе жить можно, ха-ха! – Михалыч больно шлёпнул его ладошкой по колену. – Переезжай, будем рыбачить с тобой, по весне здесь язь хорошо берёт. Ещё карп бывает, щука.

— А у нас на Или сазан во-о-т та-кой!.. – Борис широко развёл в стороны руки.

— Слушай, Боря, ох-х ты... падла!.. – Михалыч привалился на одну ягодицу. – Что ж ты мне коры с карагача не привёз-то, говорят, помогает. Здесь он не растёт.

— Да от геморроя, Михалыч, рецептов много. Ты помнишь Николая Квасюка, соседа моего. Ну когда ты ещё приезжал ко мне, мы у него сидели… Ну лет пять назад... он вешался ещё по пьянке, мы потом скорую ему вызывали.

— Да помню. А причём здесь он?

— Вот у него тоже геморрой был. Страдал бедняга.

— А щас? Вылечился?

— Нет, повесился. Говорят, кто хоть раз в петлю слазит, то обязательно своего добьётся.

— Вот рецепт так рецепт, ха-ха-ха! Верёвка!.. Это он видать от геморроя и повесился.

— Да нет, Михалыч, тут в другом дело: Квасюк-то лечился особым рецептом и, говорил, помогало. А удавился, видать, от такой жизни – безработным был, да и запил основательно, а потом уже и не искал. А у него семья…

— Так, так... Безработица она и у нас наблюдается. Наши вон в город ездят – кто пожарником, кто в охране... а ты вот и не сказал, чем это Квасюк геморрой лечил?

— А, сейчас я... Значит рецепт такой: одну часть... то ли две… фу, чёрт, подзабыл. Ну, в общем, нужно сметану смешать с порохом…

— Ну, ни хрена себе!.. Вот это смесь, х-хух ты!.. Взры-во-опасная ха-ха-ха! А в общем-то попробовать можно... Только где ж я порох возьму?

— Вон у участкового, за аренду лодки.

— Точно! Язви тебя. Конечно же у него.

Они сидели ещё минут пятнадцать, разговаривая о трудностях жизни. Борис жаловался на частые кишечные колики, на что Михалыч советовал обязательно показаться врачу. Уже темнело, как вблизи послышались всплески воды, потом зашуршали галькой – возвращался с лодкой Синьков.

— Управился? – Спросил у него Михалыч.

— Да,— ответил хрипловато участковый, присаживаясь рядом и прикуривая,— там ему лучше будет. А наш район уже свой план по преступности выполнил – даже с гаком. – Потом помолчал, зло затягиваясь дымом. – Лодку, Михалыч, на место что ль?

— Да ладно, сам отволоку. Слушай, лейтенант, у меня к тебе одна просьба имеется.

— Валяй. Ты мне, я тебе.

— Мне порох нужен для лечения,— и Михалыч заёрзал задницей. – Тут дружок мне необыкновенный рецепт подсказал для лечения— мне нужен для этого порох.

— И много?

— Да хотя б с пол-ладошки.

— Хм-м... надо подумать. – Участковый поднялся, отряхивая форму. – Я обязательно что-нибудь придумаю, завтра... – он пожал друзьям крепко руки. – Ладно, пока.- Потом сделав несколько шагов, вернулся,— Михалыч, пару патронов хватит?

— Да пожалуй, для начала хватит. – обрадовался больной.

Синьков клацнул обоймой пистолета.

— Лечись. Будь здоров!

Старые друзья ещё немного посидели. Помолчали. С реки тянуло приятной прохладой, а со стороны села слышался лай собак и одинокий звонкий стук топора.

— Как всё-таки жизнь хороша! Правда, Боря?! – патетически воскликнул Михалыч.- Ах –х, дышится как!.. Река, лес… а что ещё нужно для счастья? Я каждый вечер прихожу на реку, когда с удочкой, а другой раз — просто полюбоваться… Красота-а!.. Красиво живём!

— А ты вон туда глянь! – испуганно схватил его за рукав товарищ. – Там что-то опять плывёт! А ты — «Красиво живём.»

— Где? Тебе мерещится уже наверно.

— Да вон посередине реки тёмное что-то. Поди опять утопленник?!

— А может, и нет. Ну, а если всё-таки утопленник – то это не наш. Этот дальше пойдёт. Где-нибудь у Глиновки прибьётся, там излучина.. Эх-х, пойдём, пойдём, Боря. Моя обещала на ужин манты сготовить, по-азиатски прям. Ты же любишь манты?! Посидим, выпьем самогоночки, переселенец ты мой вынужденный. Пробьёмся! – И Михалыч опять больно хлопнул дружка по коленке. – Вставай, берём лодку.

ОСКОРБЛЕНИЕ
(рассказал Ефим С.)

Я, понимаешь, человек в возрасте и как-никак учителем по труду работаю, потому мне и не солидно с фингалом на люди показываться. Это что, скажут, с вами приключилось, Ефим Иванович? Куда, мол, это вы мордой залезли? Не буду же я каждому объясняться, что вовсе и не выпимши был, просто один негодяй вот… мерзавец, одним словом.

А дело было так. Иду я, значится, с работы. Поздновато иду. Точнее сказать и не поздновато вовсе – просто зимой темнеет рано. Ну часов около семи было. Иду спокойно, неторопко. А куда собственно гнать-то?.. Живу я от работы недалеко, да и в деревне тебя каждая собака знает, это не город – беги и озирайся, кабы чего… А в деревне спокойнее, хотя и бывает… тут уж…

Ну иду, значится, слегка уставший и думаю, когда же учителю нормальную зарплату выдавать будут… Вот иду и размышляю, а к нам, сам знаешь, через узкий тёмный проулочек надо пройти. Я по этому проулку мильён раз ходил и всегда благополучно. Признаться, не люблю тёмных мест, хоть и в деревне живу, но всё ж ощущение от них не из приятных.

И вот вхожу я в этот проулочек и вижу: какая-то фигура там колбасится. И вот смотрю я на эту фигуру, и какое-то нехорошее предчувствие у меня появилось, потому что она не идёт как полагается, а болтается между заборами. Ну я давай логически мыслить: раз болтается – значит выпимшая фигура, а кто— в потьмах не разберёшь. Подумаешь, мужик пьяный, они у нас завсегда пьяные, особенно к ночи. Ну, думаю, бог с тобой, болтайся на здоровье, а мне домой надо.

Подхожу к нему и давай разминаться, а фигура норовит меня за одежду схватить – то ли драться желает, то ли подержаться за меня, чтоб не упасть.

Ну кое-как я с ним разошёлся, в рожу стараюсь не смотреть – на кой она мне кривая – тут свою уже не перевариваешь. А фигура, чувствую, набычилась, шапку ломает и в спину мне:

— Эй, студент, дай закурить!

Вот, думаю, дожился: студентом под старость обзывают. А по голосу чувствую – мужик из нашего дома. Ну, точно, опознал я его по голосу-то: Фёдор это из соседнего подъезда! И, видать, крепко он напился, что как маятник... а сам зануда в пьяном виде…

Ну а я сделал вид, что не слышу, и вообще, мол, это не ко мне относится, хотя кроме нас в проулке никого нет. Вдруг, думаю, откликнусь, а он возрадуется да и болтовнёй достанет до самых печенок, а мне домой надо – подустал я. И начинаю потихоньку удаляться. Шагов пять сделал, а он мне снова:

— Эй, ты чё оглох, что ли? Я у тебя закурить спрашиваю, студент, мать твою за ногу!

А у самого голос недобрый. Злой голос – рычит почти. Он, правда, Фёдор этот, всегда по пьяни такой – рычащий. Ну, думаю, как-то неудобно в молчанку играть, вдруг ещё догонять начнёт. Дай-ка, решаюсь, открою своё инкогнито, чтоб отвязался наконец. Оборачиваюсь и отвечаю ему:

— Ну ты, Фёдор, хе-хе, даёшь, хе-хе!..Какой же я тебе студент?! Это во-первых, а во-вторых, ты же знаешь, что я некурящий, хе-хе.

В общем ласково я ему ответил, с хорошей интонацией в голосе, и понадеялся, что он узнает меня да и расстанемся, посмеявшись над таким казусом. А он, видать, до того отупел от возлияния – четыре дня уже пьёт, мерзавец. И вот он зарычал опять:

— Ну не куришь, так и иди на!..

Я… я просто обомлел от таких слов. Я вообще, понимаешь, забыл даже, когда меня в последний раз посылали так … Я ж всё-таки человек в возрасте, да и учитель к тому же.

Застыл я на месте, как цемент застыл. Думаю, подойти и представиться, кто я, сказать, что нельзя, мол, так по-соседски. Тем более на прошлой неделе он приходил ко мне десятку занимать. Я тогда не дал ему потому, что не было. А так мы с ним не в плохих отношениях: здороваемся всегда. А тут вот посылают тебя!.. Надо же, а?..

Помялся я немного и решил всё же домой топать, а у самого на душе противно страшно, как вроде нагадили туда. Подхожу я к своему подъезду униженный и оскорблённый, а у самого аж в ушах звенит от злости.

Вот, думаю, негодяй какой!.. Взять да и послать уважаемого человека. Это ж никакой совести нет – даже свинячей.

Остановился я у подъезда и так себе тихо сказал: « Иди-ка, Ефим Иванович, и объяснись этому неразумному существу, посовести его, чтоб впредь неповадно было.»

Пошёл я обратно, но своего обидчика уже не обнаружил. Ладно – думаю — чего сыр-бор разводить. А внутри у меня всё клокочет, возмущается. Опять возвращаюсь домой, смотрю, а он уже на своём крыльце маячит, балдой во все стороны покачивает. Я решительно подошёл к нему и поздоровался. Он тоже.

— Вы,— говорю,— Фёдор Николаевич, почему себя так отвратительно ведёте? С пожилым человеком так непозволительно обращаться. Обзываете, понимаешь, студентом, а потом посылаете куда попало!

Федор, видать, так и не узнал меня. Долго он вглядывался в мои черты, потом выдавил зло:

— А тебя первый раз вижу, так что иди, иди ты…

Я ему:

— Куда это иди?

А он:

— Куда, куда... да на!.. Вот куда.

Представляешь, он меня опять в то место послал! Я ему тогда и говорю:

— Если бы вы, Фёдор Николаевич, не были моим соседом, понимаешь, то я точно бы на вас заявление написал за оскорбление личности.

Смотрю я на него и жду реакции. Морды я его не вижу – темно, но чувствую он заволновался, засопел, задёргался, видать, хорошо я его пробрал. Но тут, представляешь!.. он как!.. своим огромным кулачищем в мою физию... я аж в момент дома оказался.

Вот тогда-то я понял, что зря пошёл к нему разбираться. Какой стыд и позор! Теперь у меня не хватает одного зуба и фонарь горит под глазом. Жена бегала, хлопотала, чтобы мне хотя бы три дня бюллетень дали, куда ж я такой... на уроки.

Сидел я эти три дня дома и носа на улицу не показывал – всё примочками занимался. Сидел и думал, что же мне дальше делать? Заявление что ль действительно написать на него. Но ведь свидетелей не было, да и он скорее всего ничего не помнит. Только смеху будет на всю округу.

Вот такая история. А вообще я о Фёдоре неплохого мнения, ну выпил человек, с кем не бывает, только вот перебрал чуток, а так он терпи-

мый, когда к нему не лезешь. А лучше, конечно, с ним в тёмном месте не встречаться, мало ли чего…

ЯЛМЕЗ

(поведал пенсионер Поцелуев)

— О-о-о, тут к мине на днях... я аж чуть того… Я об чём собственно… Ага, да энта тарелка прилетала давеча с энопланетянами. Хучь верь, хучь не верь!..

Вот сижу я у себе дома, борщом питаюсь. Бабка сварила и на пуп смоталась. Пупом – центр села у нас именуется. Там у нас шмотками торгуют и всякой разностью. А бабам чё надо: пошататься, хоть и без денег, сплетни свежие пособрать. А я сижу и наяриваю борщец за две щеки. А борщец-то скусный моя хозяйка готовит: щавелёк, укропчик – духмяный борщец... и мосалыга там сахарная разопрела… В обчем красиво не могу выразиться про такую аппетитность, а не по-писанному – неудобно.

Жру я значит да и поглядываю на своё подворье: а там чевой-то живность всполошилась – поросята, кто куды, куры кричат, собака гавкает. Хотел я выйти поглядеть, да задница будто прикипела до стула. И не от того, что от трапезы нельзя отказаться в сей момент, а от какого-то неведомого мне признака.

И тут, вижу, тень накрывает мою усадьбу. Собака уже не гавкает – воет собака. Мне просто жутко стало: неприятность во всём организме ощущается, и даже, кажется, – дышать перестал. И тут гляжу... ё-моё!.. Тарелка, точь такая, с какой я борщ наяриваю, большая только. И она, гляжу, во двор к мене опущается. Да так плавно, што никакого шума не производит.

Вот опустилась она и сидит себе. Смотрю дальше. Думаю, может посидит да и улетит обратно. Не-е-т, не тут-то было... люди какие-то из неё вылазят и в дом к мене направляются. Я аж чуть того… не помер от страха. А они уже в комнату вваливаются – человек пять – полуголые и прозрачные, как та медуза: кишочки видать наскрозь... в общем вся требуха на виду. Один, передний, с красными глазами, остановился метрах в двух от мене, остальные тоже тормознули. Этот похрустел пальцами. А их у ево на одной руке штук десять, да на другой не меньше. Вот хрустит он пальцами, по одному заламывает и зенками своими мене просверли-

вает, как дрелью – наскрозь – я прямо весь дырявый уже стою – вот-вот упаду, и даже взмокрел… снизу. Похрустел он, значится, и вдруг чисто по-русски мене и спрашивает:

— Дед?

Я сразу и вышел из цепенения. Обрадовался даже— «наши».

— Да, да, дед,— говорю,— не совсем, мобыть, и дед… На пенсии, как месяц.

А он оборачивается к остальным своим и лопочет уже на другом языке, а те кивают головами в знак согласия.

Потом к мене сызнова:

— Ясйарибос, дед.

Я чую недоброе они чевой-то замышляют, и окромя слова «дед» ни хрена не разберу, об чём речь, и на всякий случай отступаю назад, оглядываюсь, штоб в окошко сигануть… А эти энопланетяне, мать их, мелкими шажками мене в угол загоняют да в нос хрень каку-то вонючую суют. Я нюхнул и … стал мягкий – пластилин будто. А эти гады мене под руки и выводют из пенатов родных. А я ишо краем глаза замечаю, как один энопланетянщик фиолетового окрасу, палец сунул в кастрюлю с борщом. Понюхал. Обсосал. Зенки закатил в потолок. Почмокал синими губами, улыбнулся, стерьвец. Понравился борщ-то ему.

Вывели они мене, и к тарелке своей волокут, да и усаживают внутрь. А она и впрямь как моя, из которой я только что ел, только пустая – сверкает чистотой. Ежели б на моей тарелке не было надписи «общепит», то сходство – полнейшее.

Залезли все, значится, в неё – прям на пол сели. Гляжу, они ноги по-турецки складывают и мене велят также. Потом хором как заорут:

— Илахеоп!

Вот, думаю, беда-то – языка ихнего не знаю, потом мене как долбанёт в голову!.. Да это ж они «Поехали!» заорали. Это ежели сзаду наперёд прочитать. Вот дела-то!..

Медленно мы поднимались над моёй усадьбой. Шарик снизу обгавкал нас и помочился на то место, где тарелка стояла. Смахнул я слезу. Про бабку свою подумал: «Всё на пупу торчит, окаянная, а тут…»

Поднялись мы метров на десять, зависли пушинкой на какой-то секунд, потом резко взмыли и понеслись. Я аж чуть опять… А один с них мене и спрашивает:

— Оншартс ен?

Я перевёл про себя и весь дрожа ему:

Тен, тен. – А потом. – Янем ыв адук?

Они ничуть не удивились моему знанию межпланетного языка. Помолчали, потом один сказал:

— Огонмен иджодоп.

Я быстро перевёл «подожди немного» и стал рассматривать маршрут нашего движения. А летели мы, ох, как быстро!.. Из одной солнечной системы мгновенно проникали в другую, да так, што свет от одного солнца едва успевал тухнуть, как вспыхивал свет уже другого… ну прям, как в тоннеле лампочки мигают, язви тебя. Летим мы, а кругом метеориты разного калибра мелькают, просвистывают. А на одном даже человек сидел и возмущался шибко: маму вспоминал громко, а может мене показалось так – я ведь не все языки знаю. У мене в груди заныло, так жалко ево было. Долго в ушах его крик стоял. Не успел, я значится, оклематься, а тут другая каменюка летит, а на ней уже целый десяток сидит людишек-то – кричат тоже. По образу вроде нас землян, даже матерные слова проскакивали, а может, мине показалось.

Старший тут повернулся до меня и пояснил, што это разрушилась очередная солнечная система, всё, мол, погибло и люди летят теперь в тартарары.

Огеч то а? – спросил я.

И старший поведал. Оказывается, существа, подобные нам, очень уж по-скотски со своими планетами обращаются. Сверлят их наскрозь, не хуже нас, медали вешают – кто больше чего из недров вытащит, а в конце вон чево и получается… Погибель всему живому выходит.

Бывает, што планета не только взрывается, а просто от облегчения со своей оси соскакивает и тогда таранится с другим небесным телом. Нука-сь повытащи из неё уголь, золотишко, другие искомаемые... газ повыкачай – вот тебе и кердык!..

И про войны рассказал. Бьют существа друг дружку по-страшному, а ежели оружием не могут изничтожить себе подобных, то слюнями от злости исходят – обезвоживаются и опять того... кердык.

Послушал, послушал я его и совсем нехорошо мене стало. Думаю, была б верёвка под рукой – удавился б. Пошарил глазами по тарелке: чисто будто в больнице – даже руля не видно. Чем они рулят – хрен их знает. Ну не мово ума это дело – чем рулят, главно – летим. Давай я тогда членов экипажа разглядывать. Разглядываю и думаю, а головы-то у них ого-го!.. крупные, с тыкву и прозрачные – видно как мозги шевелются. Вон у старшего полушария – туды-сюды, туды-сюды... весь мозг в ше-

велении. Я то окромя, как в картинке мозгов-то и не видел, правда свинячьи – приходилось – ел даже. Но они у её другие конечно, мозги-то, потому и поступки у свиньи другие, но бывает и человек…

Всё у них, одним словом, как у нас, с этой натомией, только вот тощие они шибко. Чем они там питаются, думаю… и жрут ли вообще. И только подумал я по поводу жратвы, тот, который палец в борщ макал, вытаскивает откуда-то мою кастрюльку и давай лакать оттуда. Тут, гляжу, и остальные присусенились. Вылизали даже. Потом за борт посуду выкинули.

Один сказал, облизываясь:

— Онсукв!

Я зло подумал: «Олаврозар сав ботч.» А они чевой-то недобро на мене покосились, как вроде ишо обиделись. А у старшего зенки аж бордовые стали, и он погрозился – чуть ли не под самый нюх мене кулак с двенадцатью пальцами сунул. Я испужался. Дело ведь даже и не в борще, а в том, как бы до хаты ешо возвернуться.

Мы продолжали передвигаться в мрачном пространстве среди других галактик, объезжая всяческие планеты, большие и маленькие, зеленые, красноватые, наконец-то стали к одной приближаться – на глазах прям она растёт, растёт, то одним боком повертается, то другим, растительность жиденька кое-где мелькает. Вот опущаемся мы на гладкую площадку, а мене ши-и-бко не по нутру стало… Ага! Чувствую, што на почву садимся, но не земля ить это, но почва... твёрдость – одним словом. А можеть даже и чернозём был – не агроном – не знаю. Опосля я узнал, што никакого чернозёма не было – повывелся – песок да суглинок один.

А раньше-то, сказали, тут рай был, пока не испаскудили всё. Вот они и наведываются на нашу Землю, присматриваются к нашему существованию. Боюсь, как бы они не отвоевали нашу планету. Но, ладно – наперёд шибко забежал, а пока мы опущаемся плавненько так. Сели. Слез я с тарелки и давай прохаживаться, ноги разминать. Конвойных, гляжу, не наблюдается. А чего за мной следить? Куды я сбегу? Жду, када они опять к мене интерес проявят. Проявили через какой-то секунд. Приглашают за ними следовать.

Пошёл. Оглядываю всё кругом и ничего путнего не вижу: почва вся в трещинах – такыр просто, и кругом взгорье, как вроде мы окольцованы. Потом я видел много таких мест – тарелкодромы это. И вот поднялись мы на эти взгорья, и тут моими глазам открылась вся ихня жисть… Вот

это да!.. Вот дожились, думаю. Руины кругом, как опосля Мамая, и нары кругом сколько глаз видит, а на них люди копошатся. Кто спит, кто сидит, а кто слоняется промеж узких рядов.

Старший тяжко так вздохнул:

— Еинабязорп.

Я тут же переел для себя и тоже грустно произнёс:

— Ад.

Старший, видать, понял это слово в прямом смысле – по-русски, и утвердительно закивал головой.

Я спросил у него про холода. Если бывают, то как они? Он сказал, што зима бывает, и тут же разгрёб под собою слой пыли и топнул ногой. Под ногой загудело пустота. Потом он открыл люк, и я заглянул внутрь. Вниз вела узкая стеклянная лестница – далеко вниз… Вот там и коротают они зиму. Недра-то пустые теперь – всё повыбрали.

У мене аж волосья на голове встали. Я представил, што и на нашей земле-матушке такое может случиться.

Я запросился обратно, домой. Я кричал. Умолял.

У мене взяли анализы для изучения нашего брата. Могли б, думаю, для этой научной цели какого-нибудь прохвессора прихватить заместо мене. У мене ж только восьмилетка и та неполная. Я даже им про это заикнулся, а они сказали, што им разницы нету: все мы одного поля ягода.

В общем возвернули они мене назад. Прям на то место – на усадьбу мою. Шарик облизал меня от счастья, я его тоже. Напоследок я энопланетянам помахал рукой и крикнул уже по-нашему:

— А как ваша планета называется?

— Ялмез. – ответили.

Када я прочитал это сзаду наперёд, то мене опять стало страшно.

Захожу в избу. Бабка, гляжу, хлопочет у плиты – пирожки стряпает. Увидала мене да и всплеснула руками:

— Тебя цельных три дня не было! Уже и милиция вся на ногах – ищут придурка! Ты где был, бродяга?

Я опустился на табуретку и давай ей брехать… А как же ешо?.. Расскажи бабе правду, всё равно не поверит.

А борщец она и вправду вкусный варит: щавелёк, укропчик, да ежели и мосалыга сахарная, то... у-у-у!.. не буду дальше…

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА

У Цветковых на Заречной улице произошла незапланированная пьянка. Если же быть откровенным – хозяева её никогда и не планировали – напивались тогда, когда душа требовала, а зачастую в пятницу. Начиналось с Михаила. К концу рабочей недели, по дороге домой, он был, как говорится, уже поддатый. Дома к нему подсаживалась супруга Светлана, и что-то совместно отмечалось, вспоминалась в мелочах прошлая жизнь, перспектива, в силу возраста, рисовалась мрачновато, иногда происходили шумные семейные разборки. Их дети выросли, разбежались, и чувство одиночества всё чаще стало заглядывать в душу, наводя тоску, и это нередкое состояние стало подталкивать супругов Цветковых чаще браться за рюмку.

Михаилу было пятьдесят шесть. Он был худощав, высок, заикающийся (с детства), с голубыми глазами и красивым длинным чубом, который он то и дело закидывал назад взмахом головы, либо корявой натруженной пятернёй. Работал он в сельской автоколонне водителем грузовика, а Светлана уже лет пятнадцать – домохозяйка. Была она женщиной дородной, мощной комплекции, килограмм эдак под сто тридцать, с прямыми приятными чертами лица, только взгляд из-под тяжёлых верхних век – суровый, – но до первой рюмки, плюс властный характер – муж юлой крутился по хозяйству, выполняя её указания.

Напиться они могли и среди недели, тогда Михаил с утра слегка опохмелялся и зажевав лавровый лист, садился за руль. Так и жили.

А на этот раз устроить крупное возлияние было просто необходимо – брат младший приехал в гости. Он зашёл со стороны огорода и стал тихонько, словно вор, осторожно выглядывать из-за кирпичной баньки. Во дворе топилась небрежно сложенная летняя печурка, на плите которой из-под крышки огромного закопчённого чугуна вырывался пар. Сам хозяин загоревший до черноты летним солнцем, сидел возле печки и обдирал молодые листья табака, складывая их в корыто. «Свиньям варит»,— угадал гость. Это был Иван. Он приехал на свою малую родину и часа два погостив у матери, даже не забежав к сестре, побежал к старшему брату Михаилу – любил он его, да и выпить захотелось.

— Не пей, Ванюша, много. – попросила его мать.

— Да с чего вы, мамо, взяли, что я напьюсь, – соврал Иван. – Посидим, поболтаем, как же... три года не виделись. А Васька появится, пусть ищет меня если надо.

— Найдёт!.. Как же не найдёт— алкашина. Он к Мишке и припрётся. Как он мене надоел, кровопивец, – старушка всплакнула. – Сало под шкуру заливает…

— Я ему морду набью! – ощетинился Иван. – Чтоб не изгалялся над матерью!

Старуха начала перечислять, что Васька упёр из дома на пропой: комбикорма два мешка, табуретку, краску для пола, пальто… Она долго называла то, что ушло за бутылку. «Вот, сука, пьёт, так пьёт!..— бурчал зло Иван, хлопая калиткой. – Что же такое происходит? Нас три брата: Мишка и я – не ангелы, да. А вот Васька!.. ну точно в морду дам!»

Средний брат Василий, действительно, спивался. Лет десять всей родне нервы мотает, а матери в первую очередь. Где-то подработает – пропьёт. Трудовая распухла от записей. Семьи нет. Сорок семь дураку. А руки – золотые: столяр высшего разряда. «Руки золотые – рот говняный.»— говорила мать.

Иван же был единственный из братьев с высшим образованием, чем, собственно, и гордился, когда подопьёт. По профессии – архитектор. И вот, будучи в отпуске, наконец-то вырвался на Родину.

Он стоял минут пять за банькой и наблюдал, как старший брат управлялся с табаком, как потом взялся за сухие ветки клёна и начал ломать через колено, заталкивая их в прожорливую печь. Рядом пробегал журчащий арык, та же кухонька во дворе, стол под раскидистой яблоней-анисовкой, тот же «москвич», вросший колёсами глубоко в землю. «В какой благодати живут!..»— теплело на сердце Ивана, и тоска неожиданно вдруг опять, как перед поездкой сюда, мягкими лапками сжала его душу.

— Мишаня! – крикнул он, выходя из-за угла.

— Т-т-твою!.. Иван!.. – распрямился резко истопник и закинул назад чуб. – П-приехал всё же!

Они обнялись, похлопывая друг друга по спине. Оба высокие, худющие, голубоглазые, слегка носатенькие (гончая порода у нас – говорили они часто).

— Так, так, б-брательник, сколь же ты не был у меня?

— Три, три года всего, – прогнул в улыбке губы Иван.

— Ага, всего... а седина вон п-пробивается уже, хоть ты и младший. А у м-м-матери был-то?

— А как же, сначала к ней.

— А Ваську видел?

— Нет. Болтается где-то.

— П-п-придёт. Как узнает, что ты приехал – сразу найдёт.

— Да, найдёт, а как же, – цвёл в улыбке младший брат, оглядывая двор. – А Светлана дома?

Жена Михаила уже стояла мощным монументом на крыльце веранды и сурово смотрела, как лобызались братья. Иван слегка побаивался её – погода в доме старшего брата полностью зависела от его супруги, тем более эта матрона обладала приличной физической силой, мало ли чего…

Иван подошёл к ней улыбаясь, поздоровался. Света прочно стояла на крыльце, как изваянная на толстых и крепких ногах, не шелохнулась даже, но лёгкая улыбка всё же отобразилась на лице. Взгляд у неё, сколько помнил Иван, всегда был тяжелый. Голову и спину она держала прямо, а двойной подбородок придавал всей фигуре внутреннюю самодостаточность, импозантность и недоступность. Но деверь её и такую уважал: « Баба она всё же добрая,— отмечал он про себя. – Сейчас помнётся, походит по двору и…»

Она сошла с крыльца, спросила Ивана— надолго ли он приехал, потом дойдя до печи, крикнула зычно:

— Миша, быстро заруби курицу – я ужин сготовлю. Да убирай чугун с печки, кинь туда комбикорма – запарится. И в магазин – брат ведь приехал!

— Я сам! Я сам в магазин! – обрадовался Иван такому обороту. – Я мигом! И деньги у меня есть!

Когда он вернулся, позвякивая бутылками, у плиты бойко, несмотря на свой вес, колдовала Светлана. Она умела вкусно готовить – пальчики, как говорится в таких случаях, оближешь. Иван всегда удивлялся её умению, тем более всё делалось в короткие сроки – фокусница просто.

— Да-да-давай по соточке что ли? – заволновался Михаил, принимая бутылки.

У Ивана тоже подступила слюна в предвкушении.

— Успеете! – прикрикнула на мужа Светлана.

— А-айда тогда п-покажу свиней, – предложил он Ивану.

— Да ну их. Видел, когда через огород шёл.

— Ну тогда п-покажу, где теперь капусту сажаю. – настаивал старший брат, – пусть Света доваривает.

Михаил повлёк брата в огород.

— А почему ты капустой занимаешься? – спросил удивлённо Иван.

— О-о-огород полностью на мне. Ты разве не видишь, какая у-у неё туша, уже и на-на-наклониться она не может. Всё сам теперь.

— Жалко мне тебя, братец. Неужели нельзя вес сбросить? Бескультурье же это.

— Жа-жалко у пчёлки. Ты вон глянь, сколько подсолнуха у меня – масло своё бу-будет.

— Да тут у вас соток пятнадцать, двадцать!.. а с дровами сейчас как?

— Х-х-хреново с дровами. На-на речке рубить теперь запрещено, только покупать где-то на-надо.

— Фу, ты чёрт. – Иван вытер пот на лице, шее. Спрятал платочек. – Жарко как... Слушай, Миша, да можно ведь ночью вон прямо за огородом два, три тополя завалить, и дрова тебе. Никто не увидит.

— Бо-боюсь. Пойдём, брат, вон там малины много – поешь. Маматери потом нарвём.

— Спасибо, от малинки не откажусь.

Огород был длинный и узкий, выходящим к реке. Братья стояли в его конце и о чём-то ещё долго беседовали. Вдруг со стороны реки донеслось дикое пение. Скорее рычание а не пение.

Че-е-рвону ру-ту нэ шука-а-й вэ-чорамы –
Ты у мэ-э-нэ едина, тильки ты-ы повирь…

— Ну вот мы и в сборе! Хех-х ты!.. братец средний к нам с визитом. Слушай, Миш, как там в сказке: у отца было три сына… Какой там был дурак?

— Ка-какой?.. младший.

— А у нас средний… и уже поддатый. Хотя и не сказать, что он дурак…

— А к-кто ж он, если тверёзым, считай, не бывает. Я вы-выпиваю, но у меня семья, хозяйство… а он гол, как сокол.

— Да, Миш, и я, признаться, любитель выкушать, но так, чтоб из дома тащить!.. Вот злюсь на него, а всё равно скучаю.

— Не-не-не- не говори,— Михаил явно нервничал, и в таких случаях заикание было особенно нудным. – А ку-ку-куда деваться – брат ведь.

— Братаны! – орал пьяный Василий, завидя их в огороде. – Я иду! Ванька, ты чё меня не дождался?

Иван обнял брата. От того страшно пёрло перегаром. Одет он был неряшливо, не брит, не причёсан, с закисшими глазами, на босых ногах старые стоптанные сандалии.

— Ну вот, загодя нажрался. – упрекнул он Василия. – Могли б как люди сесть за стол, а ты уже…

— Миша, Ваня! – донёсся голос Светланы. – Ужин готов, давайте к столу!

— А меня как-будто и не видит, – обиделся Василий. Он тоже был высоким и худым, но лицом более в мать – с мелкими чертами, скуластый.

— Да на-надоедаешь, вот и не видит, – пробубнил под нос Михаил. – Ладно, ладно пошли.

Они продвигались гуськом по узкой тропинке между неухоженными зарослями малины и высоким цветущим картофелем, вовсю усеянным колорадским жуком. Василий без конца молотил пьяным языком. Он был счастлив, да, пожалуй, и Михаилу с Иваном не менее было приятным оказаться вновь вместе. Жизнь-то вон какая... короткая штука – жизнь, это острее ощущается, когда тебе за сорок, пятьдесят. Седеют братья. Дети большие у них. Сколько им ещё раз придётся вот так вместе… пусть хоть и за бутылкой… Да кто ж не пьёт? Вот только бы меру знать – не освинячиться.

— Ка-а-к вкусно пахнет! – потянул ноздрями Иван. – Ай да Света!.. Ай да повариха первоклассная!

— А ты разве, Ваня, не знаешь, что я в столовой когда-то работала,— удивилась та, хлопоча у стола. – Я на конкурсах всегда первые места получала! – Её лицо засияло, взгляд подобрел.

Все волновались усаживаясь в густой тени старой яблони. Её ветки нагруженные краснобокими плодами висели буквально над головой, протяни руку и…

— Ну, за встречу, братовья! – объявила Светлана начало торжества.

Все подняли бокалы.

— За-за встречу! – приподнялся хозяин и с любовью оглядел сидящих. – За нас!

Выпили. Иван сорвал яблоко, сочно хрустнул кожурой.

— У-у… вкус детства! Это был мой самый любимый сорт, помню, когда пацаном был…

— А теперь за наше з-здоровье! – не дал договорить Ивану старший брат, набулькивая по новой. Светлана глянула на него с укоризной за

такую спешку, но промолчала. – А будем здоровы, значит бу-будем видеться!

— Чтоб не последняя! – крякнул Василий, запрокидывая голову.

— И за своеобразие текущего момента! – постарался умно выразиться Иван.

Потом выпивали, чтоб было всё хорошо у каждого. А когда все уже повеселели, давая простор своим мыслям и чувствам, Иван потребовал вдруг общего внимания, переключившись на свою профессию. Он боялся, что Михаил первый начнёт о трамблёрах, карбюраторах, что и наблюдалось всегда. Он хотел, чтобы братья в конце-концов поняли настоящую суть его жизненного выбора.

— Архитектура, это что? – обратился он ко всем. – Только ответ лежит не на пове-рхности. – поднял он кверху указательный палец. – С ответом не спеши-и-ть! – Иван отвалился на спинку шаткого стула, наблюдая с ухмылкой, как отреагируют братья, Светлана на его хитромудрую загадку, те, лишь удивлённо моргая, уставились на него: «Чего, мол, мозги пудришь.»

— Строительство это, да и всё, – покосился на него Василий.

— Да чё п-про это говорить. – обсасывая куриную косточку, резюмировал Михаил. – К-кстати, мне надо стропилину за-заменить на крыше – от снега, видать, лопнула. По-поможешь, Ваня?

— Конечно, брат. Ну и всё же: ответ?!

— Да не мучай ты нас, Ванюша, – мелко и звонко засмеялась Светлана. – Кроме тебя на это никто не ответит правильно.

Ивану это польстило. (Ему нравилось, что он среди всех – особенный.)

— Архитектура – это застывшая музыка! – многозначительно воскликнул он.

— Во, давай тогда музыку! Мишка, где твоя гармошка? Что-то я давно её не видела. – Светлана строго глянула на мужа. – Я люблю, как Ваня играет.

— Да х-хрен её знает, где она. – напрягся Михаил. – Сто лет её в-в руки не брал.

— Васька, быстро в дом, ищи гармонь! – Лицо Светланы засияло, как у мадонны. Глаза искрились. – Эх, я бы плясать пошла. Тач!.. Тач!.. – она привлекла к себе Ивана своею мощной рукой. Тот засмущался. – Сыграешь мою любимую, ты знаешь. Тач!.. Тач! – притопнула она ногой. – Наливай!

Выпили без Василия – тот шарился в доме, отыскивая трёхрядку.

— А что, «москвич» шурина так и стоит? – спросил Иван, кивнув в сторону автомобиля. – Сколько уже лет он вот так… смотрю, вы уже на нём яблоки сушите… крыша-то прогнулась уже, а когда-то ведь был новый.

— Ку-купил и поставил мне , штоб сестрица не галдела, а сам заалкашил. П-просил – продай мне, всё равно ведь не е-ездишь, не-е – ни в какую… и так уже лет десять… стоит…

— Да, пьянка до чего доводит…— вздохнул Иван. – А что, может мы к шурину сходим. В смысле, сестру навестим.

— Ещё чего! Е-е-единственной сестрице настроение испортить… За-завтра сам сходишь. То-только не пей при сестре. Не любит. Ей с-свой надоел.

— Да, вот наш Василий, и шурин не умеют пить… А помнишь, Миша, наш батя тоже выпивал... и крепко… однажды пацаном я его тащил по улице… а сил маловато, грязь… после дождя…

— Но-но ведь работал, нас вырастил, хоть и вы-выпивал.

— Мать у нас, Мишаня,— Иван смахнул слезу (он был уже пьяный),— работящая, рук не покладала… и до сих пор носки вяжет, хоть и почти слепая. Она нас всех подняла. Вот только Васька, подлец, ей старость весёлую устроил, кишки ей мотает… точно морду набью!

— Чтоб без драк мне тут! – пресекла его Светлана. – Мы все хороши. Наливайте лучше. Гулять, так гулять! Да ты поглянь, он ещё гармошку не нашёл! Мишка, а не сжег ли ты её? Грозился ведь по пьянке, слуха нет а гармошка виновата.

— Ну к-конечно Иван лучше играет.

— Эх, Ваня, как тошно мне здесь!— печально-пьяно посмотрела она в глаза деверю. – Я ведь по молодости мечтала о путешествиях, а всю жизнь свинство, огород, дети. Теперь и детей уже нет – разлетелись, а душа никак не успокоится. Глаза вот так закрою,— она прикрыла тяжелые веки, приобняв Ивана,— и вижу море, парусник… чайки кричат… и я куда-то лечу… Эх, И-и-и ух! Тач! Тач! – затопала она ногами-тумбами. На мясистой щеке застыла прозрачная слезинка.

Муж глядел растерянно на свою супругу, с которой прожил около тридцати лет и не понимал её: что бабе не хватает – живём вроде неплохо… И вдруг, к своему удивлению, вспомнил, что сам уже лет двадцать не выезжал за пределы области, в райцентр и то по нужде — справку

там, или еще чего… Но ведь оказывается и так можно жить. Живём – не умерли раньше срока. Придурь пьяная – постонет, поплачет…

— Несёт. Ну наконец-то, – вздохнула Светлана, завидя Василия с гармошкой. – Ваня, Ванечка, давай – «С чего начинается Родина». – Глаза её просияли, словно омытые внезапной благодатью. Она, казалось, стала даже меньше размером. Упала на стол, подперев щёки руками и жадно стала следить, как её деверёчек нежно берёт гармонь и накидывает ремни на плечи. – Ваня, давай! Я люблю, как ты играешь и поёшь.

Василий схватил стопку.

— За музыку! – рявкнул он.

— Слушай, дурак, лучше. Давай, Ваня.

Иван ловко перебирая кнопки, запел:

С чего-о начинается Ро-о-дина,
С карти-и-нки в твоём букваре.
С хо-роших и верных това-а-рищей
Живущих в соседнем дворе…

Гармонист пел с душой, подтрясывая коленкой инструмент, чтобы жалостнее лилась музыка. Светлана тоненько подпевала и размазывала по щекам слёзы. А Михаил с Василием, упёршись лбами, что-то бурно начали выяснять.

— Мужики, эй! – выкрикнула Светлана, заметив их невнимание к песне. – Ну-ка, слушать музыку! Мишка, ты чё оглох! Васька?!

Иван открыл глаза (он всегда пел с закрытыми глазами) и увидел, как обиженная Светлана, тут же возле себя, зачерпывает из бадьи ковш холодной воды и выплёскивает его содержимое им в лица.

— Да ты чё!.. Т-т-твою-то мать!.. – обозлился Михаил и полез к ней растопыренной заскорузлой пятернёй. – Взбесилась, что ли?..

Жена резко отшатнулась, и муж загрёб, как граблями, глубокий вырез её платья. Он, конечно, не хотел плохого… Тоненький ситец легко разошёлся на груди Светланы и на стол, совсем неожиданно, к великому удивлению остальных, вывалились две большие, словно тыквы, груди, с розовыми приплюснутыми сосками.

За столом воцарилась гробовая тишина. Никто этого, действительно, не ожидал – сие действо ну никак не вязалось с празднеством Цветковых. У всех мужчин округлились глаза, в том числе и у мужа несчастной. И пока все соображали, к чему бы это, Светлана загребла правой рукой

длинный чуб Михаила и свалила его наземь, сначала протащив обидчика лицом по земле. Василию и Ивану стало ещё страшнее, когда они увидели, как их старший брат поднялся и с окровавленным лицом, покорно, не суетясь, как ни в чём не бывало, уселся на своё место и налил стопку. Лоб, нос, подбородок были в крови и грязи – смотреть жутко.

— Н-н-ну эт-т-то, за м-мир во всём мире! – выпалил раненый Михаил и опрокинул стопку.

— Сскотина…— тихо процедила Светлана и тяжело поднявшись, пошла в дом.

— Ну ни хрена себе! – наконец-то разлепил губы Иван. – Да я бы свою!.. за такие вещи!..

— Да ладно, бы-бывает… чего там…— старался улыбнуться Михаил.

— Да в морду её бить надо! – сжал кулаки Василий.

Иван сидел сам не свой. Он ничего не понимал. Не понимал, как можно так жить… Вот и приедь в гости… Там не лады – Васька всё из дома прёт, мать оскорбляет. У сестры – шурин… тут тоже не лучше…— Он покосился зло на Василия. Тот сидел набычившись, разглядывая окровавленную физиономию старшего брата. Михаил подвигал желваками.

— Васьк, ты когда мать перестанешь мучать? – сурово процедил Иван, не поворачивая к тому головы.

— Не понял.

— Сейчас поймёшь! Н-на тебе, сука!

Клацнули зубы. Василий мотнул головой, и схватившись руками за стол, удержался. Сплюнув кровавый сгусток под стол, он пошарился во рту. Вытащил ряд спаянных железных зубов.

— Вот, пожалуйста, выбил мост.

Все трое молчали. Злость постепенно отпускала Ивана. Ему стало жаль Василия. Снова душу обволокло, как тогда у баньки, сосущим и нежно-печальным.

— Прости, братик, прости!.. Мне мать жалко. Зря я…

— Жалко, так забери её к себе. А я не могу по-другому! Я сам не понимаю, почему я такой!.. – Василий скрипел зубами от злости, ударял себя в грудь. – Не могу я, понимаешь. Урод я!..

— Да, я заберу мать. – тихо вымолвил Иван. – Сколько же так можно жить…

Битые братья умывались из ковша и тихо матерились. На крыльце появилась Светлана уже в другом платье, и, подперев руками крутые

бока, спокойно глядела на трёх братьев. На её лице уже не читалось негодование, скорее – растерянность и неловкость.

— Ваня, вы уже собираетесь?

— Да, Света.

— Возьмите для матери трёхлитровую банку тушёного мяса. Мишка, быстро в погреб! Да банку варенья ещё прихвати.

Прощались со старшим братом в конце огорода.

— Слушай, Мишаня, неси пилу, мы с Васькой тебе пару тополей срежем и в огород перебросим. Давай. Темно – никто не увидит.

Сказано – сделано. Через минут сорок две тополины глухо шмякнулись в огороде Михаила.

— Пошли, Вася. Всё. Ну дела… Как зубы?

— Да ладно…

— Я дам денег, на цемент посадишь.

Через реку был переброшен ветхий висячий мост. Братья дошли до его середины. Постояли. Закурили. Потом свесившись через перила, долго молчали. Внизу тихо всплёскивала ночная черная вода.

— Я не больно тебя ударил?

— Нет, не больно.

— Эх-х, что-то на душе нехорошо… — обхватил Иван руками голову и тихо запел:

С чего-о начина-ется Ро-о-дина…

Василий шепеляво подхватил песню.

УЧИТЕЛЬ

— И так, сегодняшний урок литературы мы начнём с творчества Ивана Алексеевича Бунина, и я надеюсь,— учитель сухо покашлял в кулак,— что все с удовольствием прочли его повесть «Деревня», в которой автор стремился изобразить э-э… а что он стремился изобразить расскажет…— он опять покашлял, — расскажет нам,... нам расскажет…— глаза пожилого педагогического работника пробежали по длинному списку учащихся,— а это нам расскажет Шишаков Максим.

Шишаков, тучный и взъерошенный, с бельмом в глазу, нехотя, гремя стулом, поднялся и удивлённо уставился на Михаила Евтропьевича.

— Как это? – пробасил Шишаков.

— В смысле?.. – тоже не понял учитель.

— В смысле я не готов.

— Почему?

— …

Михаил Евтропьевич не стал выпытывать у Шишакова причину неподготовленности к уроку, а поставив жирную двойку, вновь склонился над школьным журналом. Ему почему-то показалось, что все двадцать шесть человек в классе болваны и тупицы, включая и его самого. «А что собственно хотел отобразить Бунин? – вдруг спросил он у самого себя. – Ужасный крестьянский быт и… что же и?.. И какой же вывод делает писатель? А никакой! Писатель просто смакует описывая все «прелести» деревенской жизни. Да-да!» Очки учителя сползли на самый кончик носа: «А так ли это? Ведь получается я и сам не готов. Столько лет и…»

Михаил Евтропьевич оторвался от журнала и взволнованно оглядел класс. Он внутренне злился на себя за несобранность мыслей, хотя этот материал бунинского произведения он «обкатывал» уже лет пятнадцать. Потом вспомнил, что его буквально с полчаса назад оскорбили. Или сам оскорбился, хотя как понимать… и оттого он такой несобранный.

До этого урока к нему в класс заглянула директор школы Раиса Ивановна Трещалова и объявила, что завтра с утра отменяются уроки в связи с приездом в село депутата и чтобы Михаил Евтропьевич непременно был в Доме культуры в назначенное время.

Михаил Евтропьевич, в силу своей пылкой натуры, возмутился доказывая, что политика к школе никакого отношения не имеет и что он Михаил Евтропьевич, не является избирателем того депутата, к тому же завтра у него выходной день – «окно». Трещалова не стала до конца выслушивать его возмущения по этому поводу, а резко оборвав, выпалила:

— Если вы таким образом выражаете своё отношение ко мне, то я тоже буду вынуждена изменить своё отношение к вам.

Михаил Евтропьевич буквально остолбенел от таких намёков, вспомнив, что директриса обещала принять самое активное участие в его шестидесятилетнем юбилее, а это и торжественный вечер, возможная премия за долголетний добросовестный труд и так ожидаемое звание «Отличник образования».

Горячая волна ударила ему в голову, да так и жжет его.

Учитель долго разглядывал лица учащихся, и почему-то остановился на щупленьком Веселухине Кости. Он заглянул вновь в журнал, отыскал нужную фамилию, провёл пальцем по клеточкам и, обнаружив в конце точку, поднял того.

— Ты читал повесть? – сухо спросил он.

— Читал. – спокойно ответил Веселухин.

— Мм-м,.. так что,.. то есть я хотел спросить о чём мы вели речь?

— О том, что хотел изобразить писатель в своей повести «Деревня».

Михаил Евтропьевич пришедши в себя, внимательно посмотрел на него поверх очков.

— Так, так. И что же он там изображает?

— Русский народ. Деревенский. Такой, какой он есть.

— Вот именно. – учитель оживился и бойко зашагав от двери к столу и обратно, вскидывал к потолку руку. – Совершенно верно! Русский деревенский быт без идеализации он изображал. Нищета, разорение, убожество и невежество! Безотрадность существования Дурновки. Просто идиотизм!— дал волю эмоциям учитель.

Испугавшись последней фразы, Михаил Евтропьевич опять закашлялся в кулак, но решив, что он высказался хоть и резко, но по правде, тихо заключил:— Иван Алексеевич Бунин всё-таки приходит к выводу: загадка народного характера кроется в глубинных пластах национальной идеологии и представляется писателю трагически неразрешимой.

Михаил Евтропьевия сурово оглядел учащихся:

— А кто скажет, чем отличается бунинская Дурновка от нашей Проваловки? – И сам тут же ответил. – А ничем. Там безысходность и тут тоже. Там воровство, пьянство, дикость нравов и тут также. Для чего только в стране перестройку затеяли? Для чего мучаемся? И что же изменилось с тех пор? Кто мне сможет ответить?

Класс молчал удивлённо.

После урока он постучался к Раисе Ивановне. Та приняла его, нервно сцепив перед собою пальцы рук. Лицо её было бледным и встревоженным.

— Я извиняюсь, Раиса Ивановна,— мягко начал он,— знаете, не хочу ссоры, но ведь вы должны были понять меня, поскольку я человек эмоциональный, да и в возрасте, и мне очень не нравится, когда на меня давят.

— Вы опять начинаете! – вспылила директриса. – Пора бы вам, в силу вашего возраста, тоже понять: ведь и на меня давят.

— Из администрации?

— Да, оттуда.

— Извините. Эх-х, времена.

— Да что уж там... Так вы придёте, Михаил Евтропьевич? Явка должна быть стопроцентной.

— Приду. – тяжело вздохнул учитель литературы. – Куда ж мне… надо с коллективом вместе.

— Правильно, любезный.

— Я что ещё хотел спросить, Раиса Ивановна, вы Бунина давно читали?

— Честно признаться, давненько, но припоминаю – крестьянский быт, знаете, и прочее.

— Да-да, всё верно. А я вот провожу параллели тогдашней деревни и сегодняшней. Есть ли разница? Как вы думаете?

— А как же. – оживилась директриса. Вот допустим, взять нашу школу, компьютерный класс, к примеру.

— Ах да, как же я забыл! – стукнул себя по лбу Михаил Евтропьевич, но тут же непоколебимо:— А мораль, нравы? Дети пьют пиво на перемене! Курят. Девочки курят! А зарплата учителя?

— Ах, да кому вы это говорите, Михаил Евтропьевич, давайте лучше прощаться и не забудьте про наш уговор.

Дома он не хотел разговаривать с женой . Не хотел ужинать. Им овладела ужасная тоска о чём-то несбыточном, светлом. Жизнь, казалось, была повернута к нему одним боком, как луна. Другим всё… а тут только концы с концами…

Михаил Евтропьевич не спал всю ночь. Он пытался понять эту нелёгкую и короткую жизнь, понять политику, её отношение к простому человеку, месту интеллигенции в новом Российском обустройстве.

Ин-тел-ли-гент... лич-ность!.. Какой же он интеллигент, когда он завтра, как бычок на веревочке, пойдёт в сельский Дом культуры, чтобы заполнить собой пустоту зала, развесить уши и слушать то, что ему уже опротивело. Противно его естеству, поскольку это не тот депутат— не его вкусов. Хорошо, что есть пока альтернатива по кандидатам. Вот когда не будет…

Страшно демократу Михаилу Евтропьевичу. Он хочет под старость пожить в свободной стране, доработать спокойно до пенсии, не боясь, что его могут уволить с работы за собственное мировоззрение.

В Доме культуры было полно народа. Были сняты с уроков учащиеся, которые составляли добрую половину помещения, также присутствовали представители различных сельских профессий.

Выступал депутат. У него было большое лицо и маленькие пухлые руки. Он говорил и почему-то часто подносил к своему щекастому лицу свои ухоженные верхние конечности, как бы для сравнения: «Вот видите, как я такими маленькими руками вскормил свою физиономию до весьма приличных размеров».

Михаил Евтропьевич ощущал себя как в немом кино, поскольку уши его были плотно заткнуты ватой, но он догадывался о чём говорил депутат. Говорят они все одинаково: как тяжело создавать законы, и что они, депутаты, делают всё во имя людей. Потом в конце будут, как всегда, вопросы из зала по поводу сельского хозяйства, о гибели Проваловки, о деградации труженика, ныне безработного и спивающегося. Депутат же будет отвечать, что пока государство, вот уже много лет, не может отказаться от зарубежных поставок сельхозпродукции, хотя оно в принципе и не против поддержать собственного производителя.

Будет снова с места кричать Бражкина Нина, что её двух коров так и не нашла милиция, а может, и сама милиция способствует расхищению живности, и что при советской власти ей лучше жилось.

Депутат говорил и говорил. Часа полтора. Многих клонило ко сну. А Михаил Евтропьевич всё сравнивал бунинскую Дурновку с его родной Проваловкой и находил, что разницы между ними практически никакой нет. Вот разве что компьютеры…

СХОДИТЬ К БОБЫЛЁВЫМ

У неё с утра было плохое настроение. Приготовив на скорую руку обед, взялась за вязание. Но через минуту отложила в сторону.

— Так на душе нехорошо чего-то. Тошно просто. – в сердцах пробурчала она. – Ты где там, дорогой, иди посиди со мной. Да выключи ты этот телевизор. Сил просто нет моих – все выходные просиживаешь у него. Могут же люди по-другому жить, как-то с пользой…

— Ты чего там?

— Я, говорю, скучно живём.

— Ну и что?!

— Как это что. Ты разве не замечаешь, как время летит? Недавно ведь молодыми были, планы строили… теперь скука… однообразие.

— Увы, увы, дорогая, время и нас не обошло стороной. Подумать только, пятый десяток добиваю… Это ж сколько я следов оставил на планете… Затоптал прямо-таки её.

Ты затоптал только нашу деревню. Где мы с тобой ещё бывали?

— Как?! А на курорт по путёвке мы разве не ездили, в этот как его? Туапсе!

— Ну разве только в Туапсе. А мир во-о-он какой большой!.. При старой власти-то ещё б что-нибудь увидела.

— Да, дорогая, было бы лучше, если б мы при той власти доживали свой век. Всё-таки спокойнее было. Очереди, правда, проклятые, но мы уже закалённые были, привычные… а тут рыночные отношения, понимаешь. Вот ты, дорогая, совсем к бизнесу не приспособлена, вот оттого и безденежье, скука.

— Ну, ты, бизнесмен хренов, помолчал бы! Сам, как говорится, двум свиньям щей не разольёшь, а ещё других судишь. Ты-то на что способен?

— Извини, извини, дорогая, я не хотел тебя обидеть.

— И-и,.. и… и…

— Ты плачешь, дорогая. Ну не надо, не надо. Мне самому тошно. Ну давай сходим куда-нибудь, развеемся... к Бобылёвым, например, посидим… того…

— Знаю, как посидим. Ты как увидишься с Борисом, так сразу же сопли в носу петь начинают – собутыльники несчастные.

— Не надо так. Он мне друг.

— Бутылка ваш друг.

— Ты, дорогая, совсем мне настроение испортила. Разве плохо, что я дома сижу у телевизора. Ну хочешь я приготовлю твою любимое блю… Ах, извини, я забыл, что у нас мяса нет. А давай-ка я лучше тебе на баяне сыграю нашу: «По-о-лчаса до рейса, по-о-лчаса…»

Она отвернувшись к окну, хлюпала носом, и вдруг:

— Дорогой, посмотри, посмотри! Да скорее же иди сюда! Я глазам своим не верю!

— Ух ты! Пресвятая богородица! Дом горит! Это дом,.. как его?..

— Да бизнесмена это дом, который в городе два магазина держит. Дачу он здесь себе заделал прямо в центре деревни. А горит-то как!..

— Действительно пластает по-дикому. Средь бела дня пластает. Это он так полыхает от того, что пластиком обделан, вон дым какой чёрный. А народ, глянь-ка, стоит, глазеет, и тушить никто не собирается.

— А и правда, дорогой, ха-ха, народ действительно безразличный… любуются.

— А чего ж не любоваться, не они чай горят. А у него, у этого бизнесмена, денег, как у дурака махорки. Ну сгорит этот, он ещё построит. Места здесь хорошие, красивые, что ж не строиться. Отдыхай себе тут. Это нам с тобой, не дай бог, лишиться своего угла, так и по миру пойдёшь.

— Глянь-ка, глянь, дорогой, крыша уже обвалилась, а труба не падает.

— Железная потому что. Эх, нехорошо получается – глядеть на чужую беду. Тут бы выйти для приличия с ведром воды… да отойди ты, пожалуйста, подальше от окна, подумают – любуются…

— И не подумаю даже. А со стороны этого бизнесмена разве хорошо получается землю-кормилицу изничтожить? Весь огород асфальтом закатал под теннис, а мы ведь здесь только от огородов и живём. По-хорошему, он мог хотя бы цветами участок засадить, если ему картошка не нужна.

— Что верно, то верно, дорогая, обнаглели эти богатеи. Хорошо, что сегодня ещё день безветренный, а то… а так пусть горит на здоровье. Ух, как бушует! Уже и стены полностью прихватило, а треска особого нет – лес сухой, выдержанный. У него, говорят, в доме всякие прелести имеются: сауна, кинотеатр, бильярд и прочее… Слушай, дорогая, а что это хозяев не видно?

— Да они редко бывают здесь, прислуга только. А вон кто-то подъехал на джипе, не иначе хозяин.

— Слушай, дорогая, отойди от окна.

— Я так и послушалась. Такое не каждый день увидишь. Принесика лучше фотоаппарат, я снимок на память сделаю. Ну вот и хорошо. Сейчас я пару снимков сделаю, а ты мне, пожалуйста, штору оттяни в сторону, да подальше, а то мешает. Ну вот и хор – рошо,.. минут через пять можно ещё снимочек сделать, так сказать, постадийно, пока от него одна зола останется. Фу-у, ну хоть какое-то разнообразие, а то живёшь непонятно как.

— А как он быстро исчезает, подумать только… просто жалко.

— Что жалко?

— Дом жалко. Но зато какой простор появляется: вон Береговая улица теперь вся видна.

— Не говори, дорогой, даже воздуха по-моему больше стало, понастроили тут… А не сходить ли нам действительно к Бобылёвым, а бутылочку я уж сама вам возьму, так и быть, а то сидим тут, черствеем, выходной всё-таки…

УШАТИКИ

Настроение с утра было отвратительным. Депрессия – понял я. И вот она жмёт, терзает меня эта тётка-депрессия своими гадкими ручищами. В общем нехорошо мне.

Выпил кружку чая – не помогает.

Раскрыл окно и смотрю на людей. Думаю, как это другие справляются со всякими вредными для здоровья проявлениями. А другие – ничего... ходят туда-сюда, кто на работу, кто за пивом в лавку. Ругань слышу: «Это твои проблемы!.. Отстань, я сказала!»

В общем живут люди полноценно, я вот только… Ну, думаю, если чай не помогает, то возьму бутылку пива. Большую возьму, чтобы сразу с этой депрессией покончить. Может оттого, думаю, и депрессия, что редко пивом балуюсь. А почему бы сейчас и не выпить – отпуск ведь. Сорок восемь дней отпуска – это ж настоящая награда за долготерпение с этими ушатиками.

Соседка Люба учеников моих так окрестила. Она на днях как-то завалила ко мне и прямо с порога:

— Слушай, Толик, я просто поражаюсь, как ты можешь столько лет с этими ушатиками возиться? Все ж нервенные заболевания от них. Вот я, например, своих внуков ну прям поубивала бы, они мине весь хребет прогрызли! – и она похлопала ладошкой по этому самому хребту. – А я б на твоём месте давно уже школу бросила.

«Боже мой! – обдало мне жаром голову, неужели же школа? А ведь я уже двадцать лет (?) мучаюсь с этими… ушатиками.»

Пиво я взял. Начал расслабляться, релаксацию то бишь производить. И сразу же почувствовал преогромнейшую разницу между чаем и тем, что пенилось в кружке.

Вскоре, чувствую, камень постепенно с груди отвалился, плечи расправились, глаза заблестели молодым задором. И чего это, думаю, я за-

стрял в этой школе? Чего это, думаю, я заработал в ней кроме гипертонии и геморроя? А ведь права моя соседка Люба по поводу этих ха-ха, ушатиков.

Двад-цать лет!..

Двадцать.

Подошёл к зеркалу. Вгляделся. Мужчина вроде ещё ничего – не дурак вроде. Вот только почему рискую здоровьем за гроши в этой школе?..

И такая, знаете, лёгкость в теле появилась, хоть козлом прыгай, а в мозгу такое просветление, словно лампочка в двести ватт там зажглась. «Двадцать лет!»— стучало в мозгу. И получается, что всему виной действительно является школа, откуда же этой проклятой депрессии взяться. Живут же люди по другому, профессии меняют,.. Брандахлыстин вон из электриков в охранники пошёл, Кандейкин Андрюша пить бросил и тоже того,.. в охрану.

Пошёл к Кандейкину расспрашивать, что и как в этой охране.

Да, нормально, говорит, спи себе потихоньку да деньги получай. Но правда, говорит, бывает ночью, что где-то что-то грюкнет – так пойдёшь, поглядишь,.. а так ничего, работать можно.

Сжал я тогда крепко кулаки. Назло начальству, думаю, уйду в охрану. Наплевать мне на вашу очередную аттестацию и лицензирование, на ваши планы календарно-тематические, на всё, на всё… Тьфу!

В общем расхрабрился я и подал заявление об уходе.

Директриса Людмила Васильевна очень, очень удивилась:

— А-а-а, э-э…

— Бэ-э,— сказал я . – Подпишите.

— Я, я вас разве обделяла вниманием, Анатолий Иванович, премии вам,.. как только могла. В чём причина вашего увольнения? Ведь столько лет…

— А я разлюбил вас, Людмила Васильевна. Вы подурнели. Вам уже шестьдесят лет – на пенсию пора, ту-ту!

— Я не узнаю вас, Анатолий Иванович, оказывается, вы просто хам, вот что я вам скажу. Ишь ты,.. а ведь какой был тихоня.

— Двадцать лет был тихоня. – сверкнул я глазами. – Всё надоело. Надоело видеть ваше воровство.

— Как, я?!..

— Да, именно вы. Надоело видеть ваши махинации по поводу списания школьных денег на бензин для вашего автомобиля. А кто, как не вы,

увели две машины досок для пола спортзала. Да я сейчас же позвоню в Департамент образования!

— Успокойтесь, успокойтесь, Анатолий Иванович, не горячитесь. Дело в том, что спонсор…

— Хорошо, что спонсор ещё не суётся в эти дела.

Тут она, директриса эта, хватается за сердце и ах-ах!..

Подбегает завуч по кличке «Шапокляк» (это из-за остренького носа) и на меня:

— Да как вы смеете! Вы ж довели её до инфаркта! – орёт она.

А я этому Шапокляку:

— А вы тоже, Вера Михайловна, не святая, в долю, понимаешь, вошли. Я всё знаю... и программа, говорю, вашего предмета в чистом виде министерского происхождения, и нисколечко не адаптирована к нашей школе. – И я погрозил ей пальцем.

Шапокляк упала на стул рядом с директрисой и тоже – ах, ах!..

В тот же день меня рассчитали.

Двад-цать лет! Подумать только!.. И эти ушатики ещё... вечно к урокам не готовы. Хулиганьё просто. «Я свобо – де-е-н!»— как в той песне.

Вечером пришла соседка.

Ну вот и молодец. – сказала она. – А то возишься, возишься с этими ушатиками… Неблагодарная это работа, да и зарплата маленькая, и никакого уважения.

— Что правда, то правда. – вздохнул я.

В общем работаю теперь охранником. Деньги те же самые. И каждый раз будучи на дежурстве, ловлю себя на мысли, что нет теперь никаких педсоветов, родительских собраний и тому подобное.

Охраняю один важный объект. Всё пока хорошо, спокойно. Разве иногда что-то где-то грюкнет… ну сходишь, посмотришь, если не спишь.

Депрессия пока не водится. Отдыхаю я. Вот только по ушатикам скучаю. Привык к ним. Ведь как-никак двадцать лет им отдал.

Двад-цать лет…

ПОЧЕМУ БАБА ВЕРА НЕ ПОЛУЧИЛА ПЕНСИЮ

В отделении связи выдавали пенсию. Раньше пенсию разносили по домам. Сейчас нет. Опасно для почтальона. Нет, не собак страшно. В деревне все собаки знают работника почты, а работник почты каждую собаку.

Собаки, они собаками и остались. Им, собакам, глубоко… нагавкать на смену общественного строя, поскольку кость во все времена представляла из себя только кость, и будка, цепь, луна – неизменны. А опасаться почтальоны стали… людей. Ну и что, что вы живете, к примеру, в селе, мол, все знают друг дружку, но всё равно вероятность, что тюкнут почтальона по темечку, достаточно высока.

Люди изменились. Люди повернулись к свету зажженному перестройкой и увидели, что лучший друг – деньги, и чем их больше, тем лучше. Не все так думают, но в основном. А условия существования так и подталкивают нас к какой-нибудь пакости.

Собакам, им трудно приобрести какие-нибудь человеческие навыки, а вот человеку собачьи – нет. Человек универсален. Он хоть под кого мимикрирует, лишь бы ему хорошо было. И вот, чтобы сберечь единственное темя почтальона, толпится престарелый люд на почте в день выдачи пенсии.

С шести утра толпится, очередь занимая. Выгонят коров в стадо и в очередь…

А в общем всё не так и страшно: каждый получит свою, якобы, пенсию, если выстоит. Может быть, поэтому баба Вера не пришла получать свою, якобы… отказалась и всё…

Все пришли на почту, а она нет. Обычно она с утра уже в очереди стояла, а к часу дня – в дамках. Полдня уже прошло, и добрая половина получателей рассосалась а бабы Веры всё нет. Все конечно заметили, что её нет. Почтальонка Наташа удивилась.

— А где баба Вера? – спрашивает.

Все опешили. Да, действительно, где же она? Не заболела ли случаем? Всегда день в день, час к часу была, а тут нет. Но не должна она заболеть – крепкая бабка потому что. Другие чахнут: песком, шлаком, холестерином понапичканы в огромных количествах – кряхтят, чихают, кашляют, зрение ни к чёрту. А баба Вера – нет. Она, говорят, ещё с молодыми мужиками погуливает. Нынче квартирант у неё имеется лет под сорок. Откуда он взялся – никто не спрашивал, но по проверенным дан-

ным имеется точно. Спину он ей тёр как-то в баньке, так визгу было как от молодой. А может врут.

Но она действительно не старо выглядит, ну лет под пятьдесят, пятьдесят пять, не больше. А на самом деле ей у-у-у… Но если она так хорошо выглядит, то ей просто позавидовать можно, а люди пусть языком трепят, на то они и языки. Так что вполне возможно баба Вера не отказалась от пенсии, а просто валяется в кровати со своим молодым квартирантом.

Замуж, конечно, ей неудобно— от внуков стыдно будет. Да и возьмёт ли её квартиросъёмщик этот? Зачем ему старуха. Ну и что, что она неплохо выглядит. Помоложе есть. А вот домишко её ох как может пригодиться ему, бомжу этому. Он её, наверно…

Ах- ах, вот поэтому баба Вера и не пришла за пенсией! Потому что он её скорее всего тюкнул по темени, чтобы завладеть жилищем. Поди, прописан он, как же непрописанному бабку по голове молотком. Должен же он хоть чуть- чуть соображать, если не упитый был.

А если и баба Вера напилась в этот день?! Если, конечно, напилась — значит, деньги имеются. Значит, нечего толкаться полдня на почте. Но если человек пьёт, то деньги ох как нужны, и их непременно получить надо, иначе не проживёшь до следующей пенсии.

Баба Вера не пришла на почту по другой простой причине: она решила сберечь господачку в этом месяце, а потом получит вдвое больше. А жить будет за счёт квартиранта. Она ему цену загнёт круче: инфляция, мол, туда-сюда… вот такие пирожки, импотент чёртов! Если только прикинуть, что за прошедшие полгода хлеб подорожал на пятьдесят копеек, а мыло на целый рубль, то вполне вероятно, что баба Вера приняла очень правильное решение по отношению ко всяким квартиросъёмщикам, которые хотят на халяву существовать. Плати хорошо и существуй вволю. Бесплатно, как говорится, бывает сыр в мышеловке, да ещё проповедь от батюшки.

Она, баба Вера, может быть и набожный человек. Может она в церкви чаще бывает, чем на почте, но ей тоже хочется пожить по-человечески. Вот она и решила повысить квартплату, а сэкономив пенсию, примерно, за несколько лет, если не будет крутой инфляции, она приобретёт какой-нибудь бытовой предмет, типа электрохлеборезки. Только зачем ей такая роскошь, когда можно накупить достаточно средство для борьбы с колорадским жуком, который вот уже три года как поселился в этих краях. Вот-вот!.. Теперь уж точно известно, почему баба Вера не пришла за пенсией.

А не пришла баба Вера за пенсией, потому что находится с утра в огороде: увлеклась шибко – жука собирает и перекидывает его через забор соседу Фёдору. А она ему назло это делает: уж очень он Америку нахваливает – то это там лучше, то другое, а баба Вера старый партийный работник, член КПСС с … надцатого года, потому и не терпит всяческих демократий, в смысле якшаний с дядей Сэмом. А жук что? А жук-то из штата Колорадо!.. вот и на тебе, Федя, Американский подарок!

Она тем самым избавит свою картошку от прожорливого паразита, а сосед пусть уж как-нибудь… А она ему уже дважды перекидывала: до цветения картофеля, на цвет, да вот и сейчас, в то время, как ей нужно стоять в очереди за пенсией.

А может, баба Вера вовсе не увлечена сбором этого мерзкого насекомого, потому как в этом году она и не сажала картофель. А много ли надо картофеля одинокому человеку. Купит у кого-нибудь ведёрко раз в месяц и ладно: супец, борщец там… а квартирант пущай на её стол не засматривается, своё пусть имеет. Получается, что её приусадебный участок в четыре сотки отдыхает нынче, зато на следующий год он даст вдвое больше картофеля и колорадского жука.

Скорее всего баба Вера не пришла за пенсией по той причине, что огород её гуляющий уж больно зарос крапивой да лебедой, и она, досадуя на такое безобразие, попросила этого хмыря-квартиранта, взять косу и проложить наконец-то дорогу к туалету, находящемуся где-то в конце огорода, но тот заблудился в сорняковой глухомани. Он несколько раз, вырубая просеку, выходил к чужим соседским заборам, но так и не нашёл бабкин нужник.

А судя по схеме, начерченной твёрдой рукой бабы Веры, это незамысловатое строение должно быть там, где и обозначено, но скорее всегооно было виртуальным, и когда этот еще не старый подселенец, оголил все четыре сотки от растительной скверны под чутким руководством хозяйки, то был уже вечер и потому баба Вера поздно вспомнила о своей пенсии – увлеклась. Она так надеялась увидеть в огороде то, чего не имела, но обманулась.

И всё-таки, неужели баба Вера не получила причитающуюся ей господачку именно из-за этого запущенного донельзя участка? Навряд ли.

Она просто могла дать указание этому с утра уже опохмелённому постояльцу, а сама пойти на почту, тем более кто-то из престарелой братии, проходя мимо её избушки, даже покликал бабу Веру для компании, но, не дождавшись, пошёл сам.

Конечно, этот человек, был её сосед через дорогу, тоже пенсионного возраста, тоже ветеран и участник перестройки, мог бы просто зайти, а не стоять у калитки, высвистывая, как девчонку, бабу Веру. Свистел он, потому что, видать, челюсти новые вставил и решил испробовать их на деле, но свиста не вышло – одно шипение со слюной, вот потому она и не услышала позывных и продолжала дружить с храповицким, потому что коровы нет – нет нужды рано вставать, а про пенсию могла просто забыть.

Во-о-от почему баба Вера не пришла на почту. Склероз у неё развился: перепутала вторник с пятницей и всё тут. Да и если бы пенсия была не то что солидных размеров, а хотя бы нормальной, то о ней помнил бы всегда, а так только концы с концами… И получается, что виной всё-таки не склеротические бляшки в кровеносных сосудах, а размер пенсии.

Она могла бы, да и имеет право думать, что государство вовсе ей ничего и не назначило, поскольку жалованье это так мало, что его и не видно, а старушке-то иногда и сладенького хочется, а сахар лишним не бывает у неё. Не залёживается – весь тут же уходит на брагу для самогона, чтоб зашибить кое-какую копейку, да протянуть до этой самой пенсии.

Вот баба Вера и подумала: продажей от самогонки она делает неплохой бизнес, и пенсии поскольку не видно – мизерная , потому она на неё и плюнула. Натурально – слюной, в сторону где находится отделение связи. И зря тот сосед, проживающий через дорогу, хотел высвистеть её. Баба Вера в это время зорко следила за процессом выгонки зелья, чтоб ни одна драгоценная капля не пролетела мимо посуды. А навыки в этом деле у неё на высоте: вся округа знает, что напиток бабы Веры очень забористый, а что она туда добавляет – секрет фирмы.

Спрос на её продукцию высокий, поскольку никто ещё из местных алкоголиков – постоянных её клиентов, не отравился этим самогоном у её же дома. И никто, никогда не видел процесса выгонки, ну а если кому-то показалось, что самогон отдаёт дихлофосом или старыми портянками, то это ещё доказать надо. А кому нужны эти доказательства? Живи каждый, как можешь. Жить разрешено по-разному, а раз хватает тебе своих честно награбленных средств, то зачем беспокоиться за какую-то жалкую пенсию, до которой ещё дожить надо, а дожил, то можешь плюнуть, как баба Вера, по-мужски, по-пролетарски – смачно, если оно так и было на самом деле.

А если такого не было, тогда почему же баба Вера не приволоклась в нужное время к нужному месту, чтобы почтальонка Наташа позолотила ей ручку. Не померла ли случаем? Да нет же! Ведь крепкая бабка. Вот приболеть могла. А почему бы и нет. Грипп там и прочее… вирусы, бациллы, микробы, палочки и черт знает, что ещё. Грипп всё-таки – маловероятно – июль месяц, а другой какой заразой – запросто. Руки не помыла и пожалуйста… живот скрутило: рези там страшенные, а телефона нет вызвать врача, а квартирант с утра на работе. Как бы не хотелось, чтобы это было именно так, а раз есть вероятность чего-то другого неопределенного, то кто прольёт свет на загадочное обстоятельство с нашей бабой Верой в день выдачи этой самой пенсии.

ОКНА
(аналитико-иронический подход)

Возьмём четыре крайних окна. Почему четыре и почему крайние? Да потому что дом двухэтажный, и мне на данный момент видна только часть строения – угол. Если бы дом был многоэтажный, то я со своей позиции узрел бы не четыре, а, возможно, восемь, двенадцать окон. Но это много. Для дома это не бывает много, много для меня, потому как каждое окно требует пристального, вдумчивого, отношения – анализа.

Без аналитического подхода – это деревянные рамы, а кое-где и пластиковые рамы и стёкла, в которых иногда отражается солнце, и ещё огромная лужа на углу дома. И всё. Больше нет ничего интересного.

Но если всмотреться внимательнее и провести ряд аналогий, то получается – это обстоит вовсе не так, как кажется от беглого и неопытного взгляда.

Каждое окно – это нечто большее. Это глаза дома – во-первых, во-вторых, это лицо хозяина в прямом и переносном смысле. В прямом – в каждом окне нет-нет да и промелькнёт человеческое лицо, иногда и маячит долго, расплющив нос о стекло. В переносном – как это лицо относиться к глазам дома, то бишь к раме и стёклам, в частности к глазам своей квартиры, определяя этим и себя самого.

И вот, присмотревшись, видишь, что глаза эти разные. Вон верхнее левое, серо-бурое: давно не крашено, лет десять, а то и больше, в то время как верхнее правое, свежее-голубое. Значит эти окна принадлежат разным людям, а коли так, то и квартиры разные. Скорее всего ле-

вое окно представляет однокомнатную квартиру, но может и трёх, если предположить, что две комнаты выходят на другую сторону дома. А возможно, эти два верхних окна – глаза одной квартиры. У хозяина просто не хватило краски украденной на производстве, а когда он присмотрел ещё баночку, то его вдруг уволили по собственному желанию- кризис там, ифляция,.. дефолт. И вот таким образом он и не освежил второе окно, а может, хозяин, покрасив первое правое окно, внезапно умер.

Умер прямо с кисточкой в руке – сердце прихватило, и судя по наличии герани на этих окнах, я готов смело придти к заключению: эти два окна точно— лицо одного человека, хотя… геранью увлекаются многие. Возможно, этот хозяин, который умер не докрасивши окно, дал когда-то росточек герани соседу или соседке с бурым окном. Но вполне возможно, лицо бурого окна как раз подарило росточек этого цветка лицу с голубым окном, когда тот был ещё в здравии. Но я не буду утверждать на сто процентов, что какая-то версия соответствует действительности.

Мне вовсе не нужно, чтобы человек умирал не только во время покраски окна, но и в других любых случаях. Может, он как раз жив, а умер тот, у кого окно давно не крашено. Хотел, может, покрасить, но того… Но самая правдоподобная, на мой взгляд, версия выглядит так: лицо с бурым окном – хронический алкоголик. Скорее всего (ведь соседи всё-таки) тот, что красил голубой казённой краской, украденной на родном производстве, как раз поделился этой краской с соседом, хоть и алкоголиком. Но тот её пропил, сволочь, – потому окно его и не покрашено. И теперь его мучает совесть… а как же?! Он, подлец, даже в окне не показывается… стыдно.

Я подтверждаю, что пока я писал эти строки, действительно никто не мелькал в некрашеном окне, в то время в свеже-голубом – да. Подходила женщина, точнее девушка, девчонка малолетка. Она подошла к окну и тут же исчезла в глубине комнаты, поэтому я и не могу судить точно о её возрасте. Если она женщина, то есть ли у неё муж? А если девочка, то есть ли у неё родители с бабушкой? Пусть будут и те и другие, куда ж им деться. Пусть они лучше у алкаша соседа квартиру выкупят, поскольку того давно уже пора выселить за неуплату коммунальных услуг. Выкупят, помоют стёкла, да и покрасят рамы в голубенький цвет. Ну а если выкупит кто-то другой, всё равно тот должен обратить внимание на безобразный вид окон и соответственно принять срочные меры.

Кроме герани, в левом верхнем окне я замечаю отсутствие занавески, хотя бы простенькой, хотя бы с дыркой в середине, в то время как на

правом верхнем висит что-то ажурное розовое. Само собой разумеется, что за розовыми шторами человек имеет определённый эстетический вкус, либо эту штору ему подарили на новоселье, а даренному коню, как говорится, в рот не заглядывают. И висит эта розовая штора, которая, возможно, когда-то была красной – вылиняла от старости и солнца, а вот та, что подходила к окну была одета в сиреневое, если не показалось.

Может, конечно, она и не была в сиреневом, но ясно одно, что за правым верхним окном проходит жизнь уютная и чистая. А вот про левое уже пора и замолчать, хотя можно предположить ещё одно обстоятельство: это лицо проживающее за немытым и некрашеным окном сдало давно своё жильё в аренду, а само где-нибудь на севере зашибает большую деньгу. А арендатор что? А арендатор вопреки договору о найме, не белит квартиру, не красит окно, гадит везде, а ночь вместо занавески ставит на подоконник кусок фанеры – студент в общем, а может даже и другое какое лицо неблагодарное, ведущее свинячий образ жизни. Хорошо, если то лицо честно платит за газ, воду, отопление, а то может просто попользоваться всеми благами и сбежать к чёртовой матери, а соседям с розовой шторой всё это «до фени».

Может северянин и просил их, соседей с розовой шторой, делать догляд за студентом, но у тех своих забот с излишком. Может они часто находятся в страшной депрессии – безработица, тут уж не до студента, единственное, что им душу согревает в такие тяжелые моменты как раз эта штора, купленная ещё в благополучные времена.

Я не буду докучать читателя всевозможными версиями по поводу этого некрашеного окна, а перейду к нижним.

Нижнее, левое, оно, безусловно, принадлежит зажиточному лицу, оно, правда, тоже давно не крашено – бурое тоже, но с решеткой металлической. Лицо может было бы и радо покрасить раму, но теперь это уже не позволяет толстая решетка, хотя сама покрашена чем-то невзрачненьким. И это лицо, не по всей вероятности, а естественно, занимается каким-то бизнесом-спекуляцией, ведь не зря же укрепляет окна. У него деньги в мешках под кроватью лежат и связи с этим смею предположить, что у него и дверь входная бронированная, в то время, как у остальных деревянная.

Бизнесмен этот сознательно ступил на нелёгкий путь по добыванию материальных благ. Он ночей не спал, стряпая на жалкую зарплату учителя пирожки с гнилой капустой, чтобы утром их горяченькимим продать на какой-нибудь остановке пассажирского поезда «Караганда –

Сыктывкар». Сейчас он, может быть, торгует уже этими самыми поездами вместе с пассажирами, и это нелегко, думается.

Вообще-то я плохо разбираюсь в бизнесе, единственное, что могу точно сказать: в наше нелегкое время бизнесмен – главное лицо страны в тёмных лабиринтах экономики.

Лицо это непременно имеет оружие. Но, как правило, железные запоры и решетки не останавливают тех, кто решил посягнуть на чужое. И я опять-таки не собираюсь отстаивать с пеною у рта, то что лицо проживающее за этим окном, бизнесмен. Выстрелов со стороны этого дома я никогда не слышал, а если оттуда не отстреливаются, значит и не нападают. А если не нападают, то значит у него нечего забирать. Но зачем тогда ставить решетки?

А решетка могла быть презентом от райсобеса, чтобы у пожилого ветерана нескольких войн, не украли последнюю радость – советский чёрно-белый телевизор, а без телевизора больной ветеран не узнает о повышении благосостояния наших граждан.

Но перейдём к правому нижнему окну. Рама имеет более-менее пристойный вид, не свеже-выкрашена, но и не облуплена, Стекло мытое, но местами колото и залеплено синей иззоляционной лентой. Кто-то видимо, бросал камешки с улицы и угодил… может и не специально – не рассчитал. Там открыта форточка и доносится девичий смех под лёкгую музыку, и поскольку там имеется в наличии женский пол, то вечером, либо ночью кто-то нетерпеливый вызывал свою зазнобу, бросая камешки в окно. Он брал поначалу мелкие, но они, видать, не имели должного результата, и тогда, фраерок этот, схватил камешек покрупнее и бац!..

И тут я замечаю возле форточки большой и ржавый гвоздь. Он вбит, естественно, с определённой целью. Скорее всего в зимний период на этот гвоздь подвешивали пакет с продуктами – мясом. И вот некто без определённого места жительства, голодный и злой, подставив что-то непрочное, полез за этим пакетом и вдруг, сорвавшись ударяется своею глупой головой о стекло… Бывает, что и птицы бьются неожиданно в стекло, и довольно крупные, но подобные случаи довольно редки, так что версия с обезумевшим пернатым маловероятна.

Но я не отрицаю и то, что кто-то мог разбить стекло из обыкновенной рогатки… малец-сорванец-подлец…

Перебив все уличные фонари, он решил увлечься этим правым окном. Но почему же тогда целы все остальные? Да просто до них ещё

очередь не дошла. Сорванец этот хитёр, он сейчас бьёт окна в других домах, но потом вернётся. Он просто умеет хорошо заметать следы.

Что же касается взаимосвязи между левым нижним и правым нижним окном, то можно предположить, что никакой. Это поначалу. Но если начать с того, что эти лица являются соседями, и тот пожилой ветеран, который включает телевизор на полную мощь, потому что глуховат, то тут уж извольте… будут бить невзирая… хотя…

А об остальных окнах нашего дома поговорим в следующий раз.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Река была широкой и стремительной. С первого взгляда она таковой не казалась. Эта река, как и все большие реки, даже спокойна, но с высоты птичьего полёта. Гораздо выше – полоски гладь зеркальная. Ещё выше – узенькая атласная ленточка, окаймлённая сиренево-сине-зеленоватым, ещё выше – всё неопределённо – сфумато. Выше, намного выше – чернота вселенной, яркие вспышки, возможно, гибнущего разума.

Каждая река подпитывается притоками. Притоки – маленькими ручейками. Так заведено. Кем-то обусловлено. Великим и могущественным, создавшим гармонию из маленьких «Я» для общего хора жизни. Законы одни для всех, и неподчинение общему мировому порядку чревато преждевременной смертью.

Опускаясь из черноты бездны до уровня парящей птицы, видишь, что эта река имеет своеобразный рисунок движения. Тот, кто её нарисовал, одухотворен ли? Или эта река воля случая?

И течёт эта река и впадает туда, куда ей нужно. Впадает в море забвения, в мёртвое море. Она впадает в это море, чтобы прекратить свой бег, свою жизнь. Это море – погост, огромный склад чаяний и несбывшихся надежд когда-то живого индивидуума. Этот когда-то мыслящий биологический комок проплыл по этой, на первый взгляд, бесконечно длинной реке с мыслью о своей значимости и с верой непременного существования после (!) своего исчезновения.

Этот маленький человечек уверовал, убедил себя в правильности собственных рассуждений и последующих выводов, свободно плывя, не сопротивляясь порой хлёсткой волне, норовящей погубить его ещё до впадения в мертвое море.

Плыли все, подчиняясь чьей-то воле. Плыли, любя и убивая друг друга, хамя и воспроизводя себе подобных, устраивая шумные представления, выталкивая на самый верх таланты для украшения быстротекущего момента. Река делилась на периоды, этапы, отрезки, и кроме этого, каждый вносил свои собственные метки по ходу движения широкой и полноводной реки. Вносил метки для обозначения собственного меркантильного пути, который ему таким не казался. Вносил, но не корректировал; хотя многие и предпринимали попытки, но всё было тщетно. Не обвалить берега этой реки, не изменить русло: а те, кто пытались, разбивали свои головы о неимоверную твёрдость берегов.

Всё было сделано крепко, навечно и попытаться вступить в противоречие со всем этим – бессмысленно, но Он попытался… и Он поплатился…

Но плата за движение по этой реке всех касается, даже натуральных зайцев, только с разницей в цене. Плыть против общего движения трудно, почти невозможно. Это требует нечеловеческих усилий, огромной силы воли.

Это был вызов реке.

Почему? Почему?.. – Это стало мучить его ещё на раннем этапе прохождения по этой реке. Почему эта река выглядит так а не иначе? Почему её протяженность именно такая? Почему она то тут, то там окрашивается багряным? Почему кто- то смеётся, в то время когда другой плачет. И почему финал одинаков? Почему нет вечности?

Он плыл поначалу, как все. Ему было определено постоянное место в этом общем и тесном ряду. Он видел, как несправедливо было обустроено общественное движение. Регулировщики лгали, они громко провозглашали, что за конкретной излучиной их ждёт лучшая доля, что им не будет так тесно, исчезнет зависть и ненависть. Но их обещания не оправдывались, наоборот, вследствие их неумелого руководства люди на очередном крутом повороте расшибали себя о крепкие берега – тогда слышался стон и громкие проклятия в адрес кормчего.

Регулировщиков так же несло течение, но им очень хотелось застолбиться, пережить всё, и некоторым это удавалось: они бронзовели и к их ногам кто-то успевал бросить охапку цветов, а кто-то просто плюнуть в физиономию. И тот, кто решил бросить вызов этому лишенному смысла движению в одну сторону, решил попробовать плыть против. И он повернул.

Сил для этого ему понадобилось раз в десять больше, чем просто держаться на поверхности.

Плыть в противоположную сторону он долго не мог. Он видел, что подобные попытки совершал не только он. Те, другие, тут же выбивались из сил, и их уносило быстрое течение, но зато они успевали что-то прокричать ликующее. А он всё плыл против, скрежеща зубами и расталкивая грудью встречных, пока силы не оставили его. Но в последний момент он успел ухватиться за что-то твёрдое. Это был пьедестал, находящийся в середине реки. Из его основания вырастал мощный эрегированный фаллос. Он символизировал торжество этого биологического потока под названием жизнь.

Ему, к его великому удивлению, удалось забраться на пьедестал и довольно легко, словно и не было смертельной усталости. Потом он забрался на самый верх фаллоса, почти в заоблачную высь. Там он устроился в продольной ямке канала и стал, размышляя, созерцать.

Оттуда всё казалось простым и ясным: есть начало и конец, и это очевидно. Единственное было непонятным – необходимо ли это? Он не слышал разговоров проплывающих, их криков, стенаний, поскольку находился очень высоко. Быть высоко его устраивало. Он был так высок, что был никем. Он был просто сам по себе. Он понял, что плыть против невозможно – не обмануть, не обойти миропорядок, а находясь в покойном состоянии, он надеялся как-то сохранить себя.

И действительно – время касалось только тех, кто проплывал, барахтаясь, мимо. Ему удалось совершить невероятное! Ему удалось избежать старения!..

Он даже помолодел несколько, хотя и был юн, проплывая по изначальному пути. Но долго оставаться вот так, в бездействии, будучи вечно молодым и здоровым, было неинтересно, невмоготу, утомительно. Он несколько раз на день стал спускаться вниз по фаллосу и подниматься наверх. Это как-то успокаивало. В этом не было никакого смысла, но это была работа.

Когда он находился внизу, то проплывающие были совсем рядом и никто из них ни разу не попросил его подать руку, чтобы задержаться хоть на миг, в конце-концов погостить у него немного, а то и попроситься вместе проживать, ведя разговоры о вечности. В проживании, конечно же , имелся некий определённый смысл, но когда ты вечен, то это качество совсем другого порядка… Мало того, проплывающие даже не за-

мечали его, чему он крайне удивлялся. Проплывающие были озабочены своим обустройством в движении, считая это наиглавнейшим.

Он смотрел на них со стороны и не мог понять их смиренности. Это были жертвы мёртвого моря, которое представляло из себя комбинат по переработке отжившей материи, которая в свою очередь являлась питательной средой для появления и взращивания другой новой материи.

На ночь он забирался наверх и удобно располагался в уютном углублении. В полной темноте он отчётливо видел каждую звезду, даже слышал слабые вздохи, словно там тоже кто-то сетовал на несовершенство мироздания. И ему вдруг захотелось попасть туда и выяснить отношение между широкой и полноводной рекой внизу и ярко мерцающими звездами наверху. Но летать он не мог и горько об этом сожалел. Единственное, что ему оставалось делать – это спускаться вниз по символической статуе и вновь подниматься наверх. Он находил бы, может, смысл в количестве раз проделывания этого, устанавливая новые и новые рекорды, но это в том случае, если бы был смертен. А он не старел, значит, смерть не могла его посетить, чтобы до её появления он смог что-то сделать полезное не только ему, но и остальным терпящим неудобства в своём существовании.

И хотя он был вечен, смерть всё равно вызывала в нем не самые лучшие представления. Он видел, что происходило внизу, многие, очень многие не достигали мёртвого моря: они тонули от болезней, голода и войн. Им было изначально предопределено дойти невредимыми до конца и предстать там немощными и седыми. Но доходил далеко не каждый.

Кроме всех прочих бед, порождённых человеческими пороками на пути следования, существовал ещё Его Величество Несчастный Случай, и под него подпадали довольно многие. Ротозейство было главной питательной базой для него. Не будь в этом потоке подобных типов, то река просто была бы не в состоянии нести такое количество биологической массы, а так ротозеи гибли ежесекундно и опускались на дно, уступая место другим проплывающим.

Он, находясь наверху, неоднократно убеждался в том, что Несчастный Случай выполняет очень нужное дело, и ему, Случаю, были подвластны все ротозеи. Несчастный Случай сидел то на одном, то на другом берегу и зорко всматривался в очередную жертву, а костлявая Смерть находилась тут же, ожидая указания, и она заканчивала подлое дело. А ему, живущему в заоблачной выси и имеющему иммунитет от смерти, совершенно был не страшен этот нелепый Случай, который, часто про-

летая мимо него, ни разу не удостоил гордого одиночку своим алчным взглядом. И человека это раздражало. Ему было обидно, что даже такое мерзкое создание и то игнорирует его, а ему ох как хотелось хоть с кем-нибудь поговорить.

Говорить он ещё не разучился. Он даже мог кричать в исступлении, что порой и происходило, но его никто не слышал, хотя все были практически рядом. Тот поток, в котором он находился ранее, далеко исчезал в сиреневой дали, устремляясь к морю. В том потоке он был свой. Он мог с остальными делить свои радости и печали и мог быть понят другими, а так он отвергнут по собственному желанию, и ему предстояло быть только вечным наблюдателем.

А когда он устал так жить (он удивился, что так быстро пришла усталость), то решился однажды броситься вниз, но все попытки были тщетны – монумент его не отпускал. Он поразился этому, ведь он с большим напряжением и осторожностью опускался вниз и поднимался наверх, чего делать и не следовало, – всё равно он бы не свалился, будучи в объятиях вечности.

Тогда он стал молиться на реку, на небо, звёзды, чтобы ему дали возможность плыть вновь со всеми, в конце-концов хотя бы умереть тут же. Он молился денно и нощно, терзая своё тело и дух, и казалось ему, что так можно добиться хоть какого-то результата, бесконечно молясь и двигаясь по величественной статуе, но ему, изнемогающему, стоило лишь совершить небольшую передышку: как то сон и прочее, и силы тут же восстанавливались.

Время текло. Внизу, вверху. Только для него оно было остановлено. Он находился там, наверху, глубоко опечаленный и почти уже обезумевший, с тоскою поглядывающий на полноводную реку жизни и мечтал только об одном – стать никем, пустым местом, чтобы уже не видеть и не чувствовать.

…И однажды он очнулся от мощного содрогания своей обители – фаллос разбухая, переходил в сильнейшее напряжение. Внутри, у основания, что-то страшно бурлило, подступая к вершине, и его вдруг подхватило извергаемым изнутри семенем и выбросило далеко… в реку.

Он ликовал, и падая далеко вперед по движению реки жизни, старел тут же на лету. Он стал старше сразу лет на пятьдесят, а когда упал в реку, то был уже глубоким старцем. Впереди он увидел море. Он не успел ни с кем обмолвиться словом. Море приняло его. Он не сопротивлялся.

Фаллос же трудился долго. Он разбрызгивал далеко жизнетворящую массу, чтобы эта река никогда не утратила себя.

Эта река окроплялась вечностью.

НЮСИНЫ НЕ СТИХИ

Нюся никогда не увлекалась поэзией. Не читала, да и не пыталась сочинять стихотворения. Одним словом, она не была творцом и почитателем изящного.

Нюся не только не пыталась сочинять стихи, она даже и не помышляла об этом, поэтому ей и позволительно быть не поэтом в то время, как вокруг хватало, даже с избытком, мастеров поэтического цеха.

Эти мастера каким-то образом пытались соревноваться между собой, даже занимали первые, вторые, третьи места, плюс поощрительно-утешительные призы в виде уздечки для обуздания строптивого пегаса. Одна Нюся не вмешивалась в этот сложнейший процесс стихоплётства. Ведь Нюсе, к примеру, совершенно непонятно что такое тяжеловатомерный пятистопный ямб, который демонстрирует корневую, устойчивую силу определённой традиции. Ведь если бы Нюся только вообразила б себя поэтом, то ей непременно пришлось бы вникать с головой и пятками во все эти премудрости.

В общем, и без Нюси хватает поэтов, поэтесс, их предостаточно в это нелегкое время – перестройка раскрепостила творца, жар поэтический воспылал почти у каждого безработного, да ещё энергия страшенная из космоса попёрла, будоража нежные розовые фибры в душе нашего гражданина. И те, которые усердно занимаются стихотворчесвом, естественно рассчитывают, что Нюся и подобные ей прочтут их вирши и воздадут им должную хвалу, иначе, зачем же писать.

Но Нюся, как уже известно, абсолютно равнодушна к поэзии (она, и подобные ей, Анну Ахматову путают с Анной Карениной, хорошо если они когда-нибудь и хоть что-нибудь о них слыхали), хотя в их душах, может быть, и тлеет, пока ещё маленький поэтический огонёк, чадит потихоньку в ожидании поветрия, чтобы когда-нибудь взять да и вспыхнуть… Ведь как же человеку без поэзии жить? Тяжело человеку без поэзии!..

И поскольку человек всё-таки тонкая материя, то вполне возможно, что многочисленный отряд поэтов непременно возрастёт; только вот в наше нелегкое время…

В наше нелегкое время трудно быть настоящим поэтом, и в этом, может быть, как раз и загвоздка Нюсиного несочинительства, чему она и верна. Она мужественно переносит эту свою душевную невостребованность, полагая, что другие скажут за неё довольно ярко, образно и по делу. Это как бы компенсация её, на самом деле не недостатка. Но изливая Нюсины чаяния, поэты рассчитывают всё-таки на её проникновение (пусть хоть во время Нюсиного питания или во время поездки в электричке) в их сочинения.

А Нюся не читает. Да как же так?!.. Неужели Нюсе безразлично то, что другие говорят за неё? Ведь они взяли на себя непосильную ношу быть глашатаями за остальных!..

Но Нюся не испытывает, совершенно, угрызений совести. Нюся занята в это время другим делом и не менее важным и сложным – она озабочена хлебом насущным, потому и не хватает времени и рук, чтобы взять поэтическую книжицу какого-нибудь новоиспеченного автора. Ведь тот ждёт, очень ждёт, когда же его будут читать запоем. Вполне возможно, что Нюся и хотела бы иметь все многочисленные произведения современных авторов, чтобы забросить свою нелюбимую работу и читать, читать… Ведь то, что выражают нынешние поэты, это не то, что выражали поэты прошлого времени…

Разумеется, в прошлом есть и классики, даже те, которые ими становились ещё при жизни. Вот и нашим современным творцам лирического ох как необходимо быть выше Александрийского столпа, да чтобы дорожка народная не зарастала!..

Художникам и артистам, тем проще. Они за свою многолетнюю и многотрудную творческую деятельность получают звание «Народный», и тут всё ясно… тропа, считай уже незарастаемая, хотя порой народу его имя ни о чём не говорит.

Поэту сложнее. У нынешних поэтов при жизни не бывает такого громкого титула. Поэт или есть, или его нет. Поэта можно только после смерти толком распознать – настоящий он, или так… фикция. Но тем не менее каждый ещё тепленьким, то бишь в живом виде, стремится почувствовать к себе любовь пространства. А народ-то вон какой… не читающий народ в лице Нюси.

А не читает народ от того, наверно, что и сам горазд на подобные штучки зарифмованные. Народ в лице Нюси назло не читает изящные произведения. Пренебрегает как бы этим пустозвонством: ну пошумели, покуражились, ну складненько, ну и ладно… ребячество… Но не спят

дяди и тёти — кропают… Не родились они с этим состоянием – приобрели эту бациллу от других. Ну и пусть кропают…

И вот глазами Нюси, глядя на всех сочинителей, страшно становится: одни поэты – почитателей нет. Не совсем нет, а просто их очень мало – практически одна Нюся, да и та…

А Нюсе сама жизнь обрыдла в её самой сути – суровой прозе, а тут ещё поэзия в ногах путается. Нюся специально не читает и читать не будет, и не от того, что буквы в лицо забывает, а для того, чтобы огромная творческая армия хотя бы немного рассосалась, в виду отсутствия Нюсиных многочисленных рецензий на их потуги. А глядя на такое обстоятельство, они вдруг возьмут да и поломают свои перья.

Должны поломать (салют Нюсин бездарям!), иначе Нюся в один прекрасный момент возьмёт это самое перо да и начнёт макать, да и начнёт… прямо с натуры, а она по другому и не сможет, поскольку прочувствовала всё сполна. Но пусть лучше она не пишет. Нечего ей там толкаться у подножия Парнаса.

То, что Нюся никогда не читывала стихотворений, не совсем правда, она их даже декламировала, но в песенно-частушечном варианте под хмельком. Возможно Нюся, и сама того не ведая, сочинила не один десяток забористых частушек в самый разгар веселья, и поверьте, без притязаний на какой-то столп.

А другие что? Другие – поэты. Им бумагу дай, ручку дай, и лишь потом они начнут из себя выдавливать… и выдавят… И всем им потом признание подавай. А признания нет. А почему нет? Да потому что Нюся не видит этих самых произведений: бюстгальтеры, колготки, сардельки – это ладно,.. но стихи… Какие могут быть стихи в наше нелёгкое время?..

Нюся даже знакома с одним поэтом. В лицо его знает. Пьяный он. Всегда. А поэту это не к лицу. У поэта от частых возлияний в мозгу галлюцинации появляются. А раз такое дело, то что же Нюся будет выискивать в его сочинениях? Там ведь должна быть жизнь. Нюсина жизнь. Народная. А вместо этого там сплошные глюки.

Нет, нет! Народу нет дела до таких поэтов. Да если б он был один стихотворец, то ещё можно бы заинтересоваться, что он там накропал – безумец этот. А их ведь очень много, настолько много, что и простых людей не видно, просто работать некому. И получается в итоге, что одна Нюся строит светлое будущее, остальные заняты лишь сочинительством. Они семьдесят лет советской власти восхваляли Нюсин самоотвержен-

ный социалистический труд, а теперь, когда Нюся решила построить капитализм с человеческим лицом, то поэты совсем позабыли о ней, но полагая, что Нюсе непременно понравится их доселе небывалое стихосочинительство.

Ан, нет! Дудки! Ведь Нюся их не читала, ни до того, ни после, потому как у неё своих дел было по самое горло. Разве что проза…

Может быть когда-то всё образуется, тогда уж Нюсины дети… наверняка… Ведь для чего перестраивались?.. а пока…

ПЕЧАЛЬНАЯ КОРОВА

Сабельникову Виктору,
Харавдину Николаю,
Домникову Ростиславу –
моим талантливым ученикам.

Она стояла на крутом берегу Томи и печально смотрела на воду. Стояла, не шевелясь, лишь изредка помахивая жидким хвостом.

К ней подошёл мальчик лет десяти.

— Бурёнка, пойдём на место,— жалобно попросил он.

Корова нехотя обернулась и посмотрела на него полными грусти глазами.

— Зачем? – спросила она.

— Но ведь тебе положено быть именно там. – Мальчик умоляюще смотрел в её большие и влажные глаза.

— А мне здесь лучше печалиться,— ответила Бурёнка. – Здесь природа: река, деревья, трава сочная. – Она подвигала мягкими губами.

— Но ведь ты всё равно её не будешь есть!— почти вскричал мальчик.

— Это почему же?

— Да потому что ты нарисованная!

— Да, ты прав,— вздохнула впалыми боками корова. – А почему ты назвал меня печальной?

— Потому что тебе вовремя не дали поесть. Понимаешь, зарод в поле кто-то украл, хозяин запил, вот и… В общем я так тебя задумал.

— Глупая задумка. С коровами так нельзя. – Она потянулась к ромашке. Шумно понюхала.— Пахнет-то как!.. – И она, закрыв глаза, подняла голову.

— Ты чувствуешь запах? – оторопел мальчик.

— Но ведь ты, ты всё-таки нарисованная! – опять воскликнул он.

— Ну и что? Ведь я же корова. А раз я корова, то и должна вести себя по-коровьи.

— Даже давать молоко? – удивился юный художник.

— Даже это,— серьезно ответила она и стала щипать траву.

— Вот это да! – радостно закричал художник. – Ты питаешься, питаешься!.. – Потом он вдруг стал серьёзным. – А как же картина? Выставка?..

Он присел на корточки и опустил взъерошенную голову.

— А я не хочу в картину. – Бурёнка перестала жевать и укоризненно поглядела на мальчика. – Ты в картине не положил мне сена.

— Но я ведь потому и назвал её «Печальная корова».

— А я не хочу быть печальной.

Корова недобро покосилась на него и отошла в сторону, продолжая с жадностью срывать густую сочную траву. Она торопилась. Она боялась, что её заберут снова в картину, чтобы она бесконечно печалилась от недоедания.

Мальчику стало жаль её.

— Бурёнушка, милая моя,— он обнял её за шею. – Оставайся тогда здесь на лугу.

— А как же твоя выставка?

— А, да шут с ней, с выставкой. Я что-нибудь другое нарисую. Ты лучше пасись. Вон ты какая худая…— Он заплакал.

— Дурачок ты,— корова ласково лизнула его шершавым языком в мокрое лицо. – Сам нарисовал и сам плачешь.

— Прости. – Мальчик утёрся рукавом и просиял. – А знаешь, давай я заберу тебя к себе домой в стайку!

Корова недоумённо уставилась на него.

— Это чтобы я всё-таки была печальной.

— Нет, нет. Ты будешь у меня оставаться только на ночь, а днём будешь гулять по лугу.

— А зимой?

— А зимой мы с папой и дедом будем кормить тебя сеном.

— И зарод никто не украдёт? – встревоженно спросила Бурёнка.

— Никто! Не позволю! – Мальчик крепко сжал маленькие кулачки. – Я не позволю больше быть тебе печальной!

— Спасибо тебе. – Корова опять лизнула его в лицо. – А я вам за любовь ко мне буду давать молоко.

Они до позднего вечера были на природе. Они были счастливы.

КАК МЫ С ДЯДЕЙ БИЗНЕСОМ ЗАНИМАЛИСЬ

Времена в стране так стремительно менялись, что мы с дядей схватились за голову.

С прилавков магазинов исчезло всё, чем мы «гордились» все долгие годы советской власти. Эти прилавки покрывались толстым слоем пыли, даже круглолицые и розовощёкие продавцы стали серсть физиономисй и нервничать, завидя покупателей.

Мне с дядей выдали талоны на водку, муку, сахар, спички, соль и перловку. Дрова у нас были.

Дядя, помню, сказал:

— Теперь мы, племяш, господа!.. – И зло плюнул на горячую плиту. Слюна долго шкварчала, пузырясь. Мне стало противно. Этот дядин плевок убил во мне последние светлые чувства и надежду на будущее.

Мы очень долго молчали, вобрав головы в плечи.

Дядя вновь заговорил:

— Да, это серьёзно и надолго…

— Что надолго? – тревожно спросил я.

— Капитализьм, что.

— А как надолго? – вновь с тревогой в голосе спросил я.

— Да пока это всем не надоест. Все же социализьм – штука нужная для пролетария. – Дядя завздыхал, как большие кузнечные меха, но только в отличии от них с хрипом и свистом. «Курит много»,— отметил я.

— Надо что-то предпринимать. – тихо сказал я.

— Конечно же надо. Но что? – Дядя заматерился, да так громко и скверно, что я начал оглядываться вокруг – вдруг кто ненароком слышит, даже вышел на крыльцо, вглядываясь в уличную темень.

На улице было тихо. У соседей Кияевых, многодетных и голодных, прыгал в окне желтый огонёк свечи. У Дыриных вообще света не было, а во дворе гадко подвывала собака. Мне стало жутко, потому что вспом-

нил о нашей улице, длинной и ухабистой, которую всю недавно отключили от электроэнергии за неуплату.

Я тихо вернулся на кухню. Дядя дымил козьей ножкой в открытую дверцу печи. Багряный свет ярко озарял его худое и изможденное лицо. Он мне показался очень и очень старым – просто лет на триста выглядел. И мне вдруг стало жаль его. Я положил свою руку на его плечо и похлопал нежно, дружески, в знак утешения, но дядя тут же отодвинулся и сурово глянул на меня исподлобья, потом резко встал и расправив плечи, громко хрустнул мослами.

— Ничего, ничего, племяш, мы ещё повоюем!

Я не отреагировал. В этой ситуации мне не виделось выхода, как кроме ждать чего-то с покорностью телёнка.

— Повоюем! – опять горячо выкрикнул дядя.

— Ну и воюй, – спокойно ответил я, помешивая бурлящую перловку. Потом попробовал её на вкус и сплюнул.

— Надо нам, племянничек, заняться делом. – Уставился удавом на меня старый родственник.

Я всегда не выдерживал его подобного взгляда и всегда в таких моментах ретировался.

— К-каким делом? – заикаясь спросил я.

— Бизнесом! – воскликнул смежив веки дядя, и воткнул указательный палец куда-то в темень под потолком.

Мне показалось, что он сейчас вытянет оттуда этот самый бизнес, и мы будем им тут же заниматься, чтобы сразу легче стало, но дядина рука вернулась назад пустая и безнадёжно, плетью, легла на колено.

— Это как бизнесом? – не понял я, и внутренне напрягся.

— Как, как?!.. – дядя заволновался, глаза его забегали и заблестели,— надо, понимаешь, взять и что-то продать, во! Счас многие так делают. Но купить,.. – он смаковал,— ку-у-пить подешевле, а продать по-о-дороже!

— На душе у меня потеплело – пожалуй, это был выход.

— У тебя деньги есть? – застал он меня врасплох.

— Мм-м,.. э-э…

— Ну и прекрасно! И у меня чуть-чуть. – Дядя потёр ладошки. – Значится, племяш, мы закупим э-э…

— Что закупим? – загорелся я.

— А то, что пользуется повышенным спросом. Ну, например…— он замолчал вдруг, и округлив глаза, смотрел вопрошающе.

— Ну, например…— подхватил я.

— А например мясо! Это очень и очень ходкий товар! – торжественно резюмировал дядя.

— Да-да, конечно же мясо! – я ликовал и преданно, как собака, взирал на своего родственника, восхищаясь его смелой идеей. – Без мяса человек не проживёт при любом общественном строе! – продолжал я пафосно, потом с отвращением поглядел на булькающий чугунок и шумно проглотил слюну. – Мясо!.. Хм-м,.. но где мы его возьмём? Тем более по дешёвке?

— А мы его закупим у чабанов. У казахов, – с олимпийским спокойствием заявил дядя. – В степях, племяш, на отгонах.

— И в каком это виде? – забеспокоился я.

— В виде мяса, конечно. Коровьего, к примеру. Представляешь, племяш, покупаем мы корову и…

— Жаль корову, – грустно выдавил я. – Она ведь молоко даёт.

— Ну тогда быка.

— Быка можно – они бодатые. В детстве, помню, меня один…

— Помню, помню, племяш, давай лучше о деле…

Время близилось к полуночи, а мы всё не расставались, а прикидывали и прикидывали… Мы богатели с каждой минутой. После одного быка мы покупали второго, потом десяток, потом стадо… Мы везли тонны мяса на рынок и кормили город, страну… Дядя мог даже метить в президенты, а я в премьер-министры. Мы надрывали глотки, доказывая друг другу, как лучше обустроить Россию в социальном и прочем плане, но нас вернул к действительности истошный ор моего кота Долбоноса. Он сидел в духовке и уже слегка прижег себе лапы. Он всегда там вылёживался до определённой температуры, но, кто-то из нас машинально прикрыл дверцу духовки.

Рано утром дядя вновь пришел ко мне, и мы продолжили обсуждение наших потрясающих по масштабам дел.

— А дела наши совсем не потрясающие,— с грустью сказал дядя,— во-первых, судя по нашим скромным сбережениям, нам не хватает средств даже на самого маленького телёнка, не то что крупного быка, а ещё транспорт, бензин, то, сё…

— Ах, транспорт… Как же мы!? – схватился я за голову,— бензин, да.

— Надо третьего брать и с машиной. – решительно подытожил дядя.

Третьего мы долго искали. Никто из наших знакомых быстро богатеть не собирался несмотря на наши горячие убеждения с бухгалтерскими выкладками о баснословной прибыли.

Наконец мы нашли его. Это был Твердопуков Степан со своей старой машиной типа УАЗ, но польского происхождения. Дядя цокал языком, обходя и оглядывая снизу странную колымагу.

— Выдюжит? – спросил он Твердопукова.

— Угу, – ответил тот.

— Резина лысая,— ворчал дядя, пиная скаты.

Потом мы сидели в ржавом и дырявом салоне Степанова автомобиля и деловито обсуждали ход событий, и сколько нужно денег на подобное предприятие.

Степан согласился вложить деньги на горючее наравне с нами, но при этом затребовал, скребя затылок, семь процентов с прибыли за амортизацию техники. Мы удивились, что семь, не более и не менее, но согласились,.. Потом вдруг оказалось, что обязательно, во что бы то ни стало, нужно приобрести спиртное, и побольше. Про спиртное намекнул Степан, а дяде эта идея очень понравилась, хотя и расходы были непредвиденными. Я с ними тогда согласился: действительно «сухая ложка рот дерет»… А какой чабан откажется от стопочки, тем более в такое время, когда водки не то что в степи – в городе не сыщешь.

А Степан сыскал – аж семь бутылок. Мне показалось, что это очень много для ублажения чабанов, но на меня дружно зашикало старшее поколение. Твердопуков тоже был в возрасте и выглядел весьма странновато: коротковат, грузноват, с очень красной физией, на которой взгромоздился крупный картофелевидный нос, и ещё… бледно-голубые глазки. Я старался по возможности не глядеть на него.

В тот день мы много передумали. Всё вроде бы взвесили. Приготовили в дорогу самое необходимое и с лёгким сердцем разошлись по домам.

Мне не спалось. Мне всегда не спалось перед чем-то необычным: даже предстоящая рыбалка не давала покоя, а тут… БИЗНЕС…

Утром, в шесть часов, мы собрались у Твердопукова. Больше молчали (посапывали шумно), проверяя и укладывая вещи для дальней дороги. Степан даже пулушубок прихватил на всякий случай, хотя был июль месяц. Чувствовалось, что каждый волнуется. Мы уселись. Потом Твердопуков гулко высморкавшись в открытую дверь, нажал на стартер, и в двигателе, под дядиными ногами, что-то страшно заскрежетало и за-

выло, потом оглушительно выстрелило – мотор заработал после этого, порыкивая зверем, покачивая колымагу в разные стороны.

— Ну с Богом! – радостно воскликнул дядя и резко откинулся на спинку сиденья, расправляя плечи. Спинка тут же хрустнула, и он завалился в заднюю часть салона, больно ударившись затылком о маслянистый домкрат.

Степан долго матерился, привинчивая сиденье, а я перевязывал дяде голову. Потом колымага сдвинулась с места и по направлению указательного пальца дяди понеслась прямо в степь. Мы неслись к горизонту, взбираясь на песчаные барханы и пересекая огромные площади потрескавшейся земли.

— Такыр? – громко спросил я, не обращаясь ни к кому.

— Угу. – ответил Степан.

— Такыр, солончаки да пески. – резюмировал дядя. Он сидел рядом со Степаном и орлиным взглядом пронизывал безбрежные дали, дабы узреть быстрее то, ради чего мы пустились в авантюрное предприятие.

После участков голой земли пошли редкие кустарники терпкой полыни и блестящего, словно шёлк, ковыля. Дорогу пересекали тушканчики – степные кенгуру. Одного из них задавил Твердопуков, специально – я это видел: он крутанул руль, чтобы тот попал под колесо. Степан гоготал захлёбисто, а мне было очень жаль тушканчика. Я, с металлом в голосе, потребовал срочно остановить польский аппарат… Компаньоны удивлённо глядели на меня, как я нашедши умирающее животное, прижимал его к груди и всхлипывал.

— Вот так с ним бизнес делать, – толкнул дядя локтем Твердопукова, – суслика, понимаешь, пожалел. Тьфу, ты!..

— Угу, – промычал Степан и сплюнул в горячий песок.

Тушканчик скончался у меня на руках. Я осторожно положил его под куст горькой и пыльной полыни и, молча, залез в машину, которая почему-то не заводилась. Дядя и Степан залезли далеко под капот и дружно объявили, что в радиаторе можно варить яйца.

Дядя уточнил:

— А они и так уже готовы. – И начал раздеваться до трусов.

Твердопуков мелко зареготал и тоже последовал дядиному примеру. Мы перекусили, потом полежали в тени машины. Степан почему-то затребовал водки в виду отсутствия ГАИ и в качестве расслабления, но

дядя сказал тому, что мы ещё не напрягались и что в такую жару могут пить только придурки. Степан надулся и долго не разговаривал.

Вскоре мы опять летели по бездорожью. Кусты полыни и ковыля стали попадаться всё чаще, и вдруг за очередным небольшим барханом показалась широкая и мутная река. Мы завизжали от восторга, а Степан даже… хрюкнул.

Бултыхались с полчаса. Вода была почти горячей и не выше колен, правда, Твердопукову, с его небольшим ростом, она скрывала полностью семейные черные трусы. По реке можно было просто бегать, что мы и делали. Дядя даже умудрился поймать руками двух упитанных пескарей. Мы вели себя беззаботно, как на курорте, – казалось, что мы готовы провести на реке всю оставшуюся жизнь, по крайней мере, дядину, но вдруг со стороны нашего транспортного средства, услышали громкую песню. Её исполнял Твердопуков и очень противным голосом. Он пел про зелёные глаза.

Мы с дядей замерли и посмотрели вокруг себя – Степана с нами не было. Степан был уже в машине.

— Нажрался что ли? – удивлённо посмотрел на меня дядя.

— Как это? – не понял я.

— Однако, водку глушит!.. – дядя напрягся сухожилиями.

— Как бы без нас не уехал! – встревожился я.

Мы, не сговариваясь, побежали к машине, бросив в воду несчастных пескарей. Они лениво шевельнули плавниками и исчезли в желтоватой мути.

Да, Твердопуков был пьян до омерзения. Он уже вылез из машины и встретил нас жаркими объятиями, от которых нас чуть не стошнило, поскольку за объятиями следовали не менее жаркие и слюнявые поцелуи. Первым он встретил меня, потом дядю. Я морщил нос и сплёвывал, а дядя, подхватив алкоголика под мышки, затолкал его в салон.

— Эх-х, Стёпа!.. Эх, мать твою!.. – ворчал он.

Я помогал толкать Степаново тулово, жирное и горячее, которое почти не сопротивлялось. Лицо Твердопукова при этом раскраснелось спелым краснодарским помидором, а глаза совсем поблёкли.

— Да он почти бутылку выпил не закусывая! – воскликнул я, показывая дяде стеклотару.

— Пусть теперь валяется. – зло добавил дядя,— ты ему там сунь что-нибудь под голову, ха-ха, типа домкрата!..

Хозяин польского средства передвижения, почувствовав о себе сердечную заботу, тут же захрапел на своём полушубке.

Дядя сел за руль. Мы не проехали и пяти километров, так мне показалось, как впереди, по курсу, замаячили, качаясь от зноя, камышитовые постройки (кошары), а рядом с ними приютившийся белый и аккуратный по форме домик. На крыше этого домика развевался красный флаг – серпастый и молоткастый.

Навстречу нам вышел чабан неопределённого возраста.

— Аман сызба! – выпалил дядя протягивая руку.

Чабан добродушно улыбаясь, крепко пожал дяде руку, а дядя, ласково заглядывая ему в глаза, продолжал насиловать казахский язык:

— Ет, ет, типа сут, крупно рогатый, му-у…

Мне было неловко за родственника.. я раскраснелся не хуже Степана, но степной житель не позволил мне сгореть без остатка. Он срезал дядю:

— А по-русски вы хорошо говорите?

— О, да,.. – дядя ступевался. – Мы, понимаете, из России, вот хотим корову себе завести, чтобы того… молоко давала.

— Нет, быка! – поправил я дядю.

— Да-да, быка. Прав ты, племяш. И желательно недорого.

— А я пока ничего не продаю, – грустно ответил чабан,— скотины мало – падёж.

Мы приуныли, но тот продолжал:

— А вот бешбармак для гостей приготовим.

Мы не отказались от такого угощения и надолго забешбармачили у гостеприимного хозяина. Степан тоже.

Чабан-Кализбек Ертаевич и его жена Гульнара, похоже, были нам очень рады, угощая до отвала. Мы тоже не жадничали и выставляли на дастархан бутылку за бутылкой. Я пил чисто символически, поднимая пиалу со спиртным то за нас, то за хозяев, то за внезапно ушедшую куда-то советскую власть.

Твердопуков вскоре свалился там, где сидел и вновь задал храповицкого. Мы же выйдя во двор, дружно пели гимн Советского союза. После этого Кализбек Ертаевич слазил на крышу дома и, сняв красный флаг, замаршировал с ним вокруг длинной кошары, а мы за ним. Я был тоже очевидно, пьян, потому что громко орал песню про «голубой вагон»

Потом хозяин завёл нас в кошару, где находилось небольшое стадо овец и с десяток крупнорогатой животины.

Я тогда, по-моему, сказал:

— Кализбек, мы покупаем у тебя всё это, вместе с кошарой.

А дядя:

— А почему бы и нет, Кализбек!? Ты всё это продаёшь и переезжаешь жить в го-о-род, ии-к… да. Перестройка, понимаешь, так перестройка!..

— Ты п-правильно говоришь. – Чабан хлопал в ладоши и пел на своём языке: О-о-таным… жазира-а жерим даркан…

Дядя начал ему подпевать, а потом схватил животное за рога и начал пробовать свою силу, заламывая тому голову. Животное, выпучив глаза, мычало.

Наутро у всех болела голова, за исключением Степана: тот был уже похмелённый и запускал толстые пальцы в казан с холодной бараниной. Мы с дядей неодобрительно посмотрели на злостного выпивоху и мясоеда, который гремел горшками даже глубокой ночью и жадно чавкал.

На улице было удивительно хорошо. Мы стояли с дядей и с блаженством вдыхали запах полыни. Дядя даже сорвал веточку и шумно втянул её горький аромат. Потом мы сполоснулись холодной водой и сразу стало легче.

Пересчитав деньги, мы пригорюнились. Дядя сказал вздыхая:

— Племяш, мы вроде вчера целое стадо купить хотели?

— Да, ха-ха, и Кализбек Ертаевич был не против.

Дядя почесал затылок, подёргал за кончик уса.

— Пойдём, поговорим с ним.

За завтраком мы подливали хозяину водку и торговались. Наконец с целого стада мы остановились на одной голове, что и планировалось, но чабан запросил больше, чем мы имели.

Я приуныл, но дядя не сдавался, и вскоре Кализбек был сломлен. Степан что-то пел про себя, не видя и не слыша ничего. За это время в дом несколько раз заходила Гульнара с полным ведром молока и выливала его во флягу. В процесс она не ввязывалась и вообще казалось, что её, так же как и Степана, это вовсе не интересует.

Дядя больно толкнул меня в бок:

— Ну, племяш, мы с тобой настоящие бизнесьмены – покупаем целую корову.

— А не быка? – удивился я.

— А быков у него нет.

— Но мы же…

— Всё, никаких… Идём резать.

— Как это резать?! – вытаращил я глаза. — Разве мы не живьём её заберём?

Дядя начинал злиться:

— Да мы что, в салон её живую пихать будем? Или на верёвочку привяжем к машине? Или Степана на её посадим? Степан, а Степан, ты на корове верхом поедешь?

Твердопуков долго вникал в смысл сказанного дядей, а потом скрутил нам крепкий блестящий от жира кукиш. Я посмотрел на него с презрением, показал в ответ ему целых два кукиша и вышел на улицу.

Мне ничего не оставалось, как следовать со всеми, чтобы оказать посильную помощь. Кализбек вывел на верёвке небольшую худоватую корову и привязал её к столбу. Бурёнка тревожно озиралась на нас. Глаза её были печальны и полны слёз. У меня ныло в груди.

Потом Кализбек начал гонять бедное животное в одну сторону вокруг столба, и корова почуяв недоброе, всё быстрее и быстрее бегала, словно ища в этом спасение. Верёвка натягивалась струною, скашивая степную тощую поросль. В этот адский круг попали и ноги пьяного Степана – он не успел подпрыгнуть в отличии от меня. Он громко матюгнулся и шмякнулся на спину – едва мы успели оттащить его.

Бурёнка, наконец, намотав верёвку на столб, упёрлась в него рогами, и тут же все подбежали к ней. Я понял – сейчас свершится страшное и убежал за кошару.

Вскоре мы уже таскали в машину горячие и тяжелые куски мяса. Я тогда решил, что такого рода бизнесом впредь заниматься не буду. Это просто ужасно!.. Дядя же был счастлив. Он сверкал глазами и бойко командовал мной и Степаном. Закончив разделку туши, я обратил внимание на то, как голова коровы, ноги, шкура и целое ведро нутряного жира, который был тщательно выбран Гульнарой, осталось, с одобрения дяди и Степана, у хозяев.

Я спросил, помню, тогда:

— Дядя, а все бизнесмены так делают?

А он:

— Племяш, у нас всё просчитано, и давай не будем мелочиться.

Я всегда доверял своему мудрому родственнику и успокоился: раз просчитано, то значит всё в порядке – «как в Греции». Но не всё было так гладко, как мы рассчитывали.

Загрузившись мясом, мы тут же поехали в обратный путь. Ближе к обеду у нас лопнуло переднее колесо, и мы, завиляв, воткнулись носом в бархан. Хорошо, что была запасная камера. Мы её быстро заменили, но двигатель не хотел уже заводиться. Он перегрелся. Твердопуков ругался в маму и всё прикладывался к горлышку последней бутылки. Он её держал за пазухой, боясь, что мы её экспроприируем, хотя он нам сильно и не мешал, кроме своего отвратительного пения. Машину вёл дядя.

Я с тревогой наблюдал, как в салон проникали огромные зелёные мухи и жужжа кружились над мясом. Дядя тоже нервничал. Наконец-то двигатель, тяжело прокашлявшись, завёлся, и мы тронулись, но тут же звук мотора вдруг стал громоподобным, и мы от ужаса вздрогнули. Оказывается отвалилась выхлопная труба. Мы её кое-как привязали проволокой и поехали дальше, и считай, без приключений доехали домой. На Твердопукова мы не обращали внимания – его туша валялась рядом с другой и попахивала по-своему.

Кинувшись к рынку, мы поняли, что уже поздно – нет покупателей в послеобеденное время, и начали мучительно думать, что же делать с мясом, которое энергично атаковалось мухами.(Степана мы выгрузили у дома, и он уполз за калитку).

Дело шло к вечеру, когда дядю вдруг осенило:

— Надо,— говорит,— его сдать в морозилку на ночь, а с утра на рынок.

Это был разумный выход.

— Но ведь это наверно не бесплатно? – сказал я.

— Ну и что ж теперь…— дядя развёл руками.

Мы отвезли мясо в огромные морозильные камеры райпищесбыта. Там сказали, что за услуги мы завтра заплатим. Мы успокоились и пошли ко мне домой обсуждать коммерческие дела.

— Всё нормально идёт! – потирая ладошки восклицал дядя.

— А у нас есть деньги, чтобы завтра заплатить за морозилку – спросил я.

— К сожалению, нет. – ответил дядя не теряя оптимизма в голосе,— но это уже мелочи. Продадим, потом и заплатим.

Мы опять варили перловку и сетовали, что не взяли, хотя бы немного мяса для жаркого.

— Ничего, ничего, племянничек, главное есть хороший задел! – гремел ложкой дядя, ковыряясь в закопчённой кастрюле.— Продадим это мясо, а потом на вырученные деньги купим сразу две коровы…

— Быков лучше. – уточнил я.

— Да, да, двух быков!

Мы размечтались, и жизнь снова заиграла всеми цветами радуги.

А наутро в райпищесбыте нам наступили на горло, требуя наличность за хранение. Дядя как ни божился, что привезёт долг после продажи, но ему не поверили. Пришлось отдать грудину.

Мы были расстроены.

На рынке ветврач потребовал с нас справку о состоянии зоровья нашей Бурёнки. Мы очень удивились такой его наглости. Дядя даже затопал ногами:

— Да что же это такое!.. Корова молодая. С виду очень даже здоровая была, бегала резво и прочее…— Дядя при этом швырял куски мяса на металлический стол, в сторону непоколебимого медицинского работника. – Вот печень! Вот лёгкие! Чистые! – задыхался от гнева дядя.

А ветврач своё:

— Я ей должен был температуру измерить, да и вообще не ворованная она? Где справка, что она ваша?

Мы опешили. Мы просто обалдели. Это был удар по голове не обухом топора – рельсой. Мы такого разворота никак не ожидали и, схватив своё добро, покидали его в машину, и спешно убрались с рынка.

Мы не знали куда ехать и что делать.

Заехали к Степану. Тот был страшно опухший и грубым пропитым голосом сказал, что мясо придётся сдать оптом в какую-нибудь столовую. Там, мол, должны взять, подешевле, конечно, но должны.

И, правда, в одной из столовых, были рады нашему предложению, но когда сказали по какой цене возьмут мясо, то мы потеряли дар речи. Твердопуков жевал толстые губы и часто моргал своими свиными бледными глазами. Дядя дёргал кончики усов (он был тоже бледен), а я громко стучал раненым сердцем.

И так было в каждой столовой. Они как будто сговорились. Потом мы поехали в интернат. К директору. Там предложили ещё меньше в виду отсутствия средств.

Твердопуков закричал зарезано, что мясо лучше отвезти обратно в столовую, ведь там всё-таки сделка повыгоднее, пока мясо не испортилось к чёртовой матери. Но дядя категорически был против. Он сказал резко:

— Друзья, товарищи, господа компаньоны, мать вашу!.. Всё равно мы прогорели! А раз такое дело, то лучше это мясо сдать в интернат – ведь здесь дети!..

Мы со Степаном молчали, уронив головы. Дядя, как всегда, был прав. И мы сдали мясо в интернат. Пересчитали выручку. Оказалось, что мы, купив корову, продали (выручили), только её половину. Я ещё вспомнил о ведре жира и сказал об этом дяде. Тот был злой. А Степан как всегда грязно выругался и, получив свою жалкую долю, убрался восвояси на своей колымаге.

Я потом ещё долго смеялся над дядей:

— Ну вот, дядя, теперь на вырученные деньги можно купить, к примеру, овцу и продать её. Выручим же конечно целого гуся, а дальше за гуся выручим курицу…

Дядя двигал желваками и молчал.

Не вышли из нас бизнесмены.

Мы стали ожидать лучших времён. Не исключено, что мы когда-то ещё раз займёмся каким-нибудь прибыльным делом…

УБИТЬ ЗВЕРЯ

Обожал матюкаться Анатолий Трескин. Просто смаковал непристойное словцо, да так,что рядом с ним порядочному человеку хотелось тут же провалиться на месте. Порядочному человеку казалось при этом, что всякая певчая пташка, сидящая на ветках и усердно вещающая о красоте божьей,тут же превращалась в дохлую ворону ,падающую прямо ему на голову. Таков русский изысканный мат в устах Трескина. Мало того – богохульничал он.

И вроде бы к мату все давно привыкли ,будто он, этот мат, с молоком матери впитывается и передаётся тщательнейшим образом от поколения к поколению. И любое скверное слово так отшлифовано веками, что диву даёшься, насколько оно информационно ёмкое, при всей скудности словосочетания, ну а в общем, конечно же, срамота. И пора бы этому набору непристойных выражений, приняв наконец-то конкретные очертания, захиреть да и кануть в Лету.

Ан нет, обогащается мат новой терминологией, даже доктора наук обратили на этот ярчайший феномен своё пристальное внимание. Прислушались они, вникли глубоко да и выпустили в свет увесистую книгу «Словарь русской брани».

Сально хихикал Анатолий, слюнявя прокуренный палец и перелистывая страницы этого издания. Многое ему там было известным, но и

достаточно было пикантного непознанного. И он впитывал и впитывал в себя целые россыпи отечественного сквернословия.

— Тьфу! И какую ж ты гадость выписал!? Хотя б от детей прятал подальше.

Анатолий бесовски поглядывал на недовольную Зинаиду и, заливаясь смехом, тыкал пальцем в книжку.

— Да ты только послушай вот на букву «ж»!.. а на букву «е»!.. ххи-их-х ты! – И он кучеряво заворачивал в разъедающие уши форму великий и могучий русский язык. – А это, чтобы тараканы все подохли! – реготал Трескин.

— Но ты хоть не богохульничай! Я от твоего отца, царство ему небесное, ничего похожего не слышала, да и мать твоя хоть и в церковь, считай, не ходила, но иконку держала в положенном месте. Повесь её иконку, ирод! Изгони зверя из души! Это ж куда годно – соседи аж отворачиваются от твоего поведения.

Пошумит Зинаида таким образом и махнёт рукой – неисправим муж. За много лет совместной жизни привыкла она к ругательствам, даже самым грязным, но упоминание имени всевышнего её страшно коробило.

«Изгони зверя! Убей зверя! Да нет у меня никакого зверя», — заключал Анатолий и отчасти был прав: откликался на любые просьбы сельчан любитель непристойной словесности. Многие к нему обращались за помощью – Толик был мастеровой и безотказный: за символическую цену табурет, столик журнальный смастерит, да не просто тяп-ляп, а с художественной отделкой в виде резьбы, а в другой раз генератор автомобильный перемотает, и он как новенький, ещё многие лета служит заказчику. Уважали его за это, но так же бывало и отворачивались за его вспыльчивость и брань, порой не по делу, и даже мордобитие.

Сложной был натуры Анатолий Трескин: притягивать и одновременно отталкивать не каждый умеет. Да и сам стал замечать: то он кроткий и покладистый, чувствительный до слёз – птенца отвоюет у кошки, выходит его лаская, и на свободу... а порой, неожиданно что-то пёрло из него, как из вулкана, испепеляя всё вокруг.

Помнил он: отец был спокойного нрава, хотя и любитель спиртного, но и после его принятия не грубил, не сквернословил, а тихонько забирался на печь и виновато взирал оттуда на разбушевавшуюся супругу, которая доставала его ремнём, вынутым из его же брюк. Помнил Анатолий и деда: преспокойнейший был старик – немощный, в годах. Знатный был дед – садовод известный, имел медаль мичуринскую, выданную в

самой Москве. Вот и всё, что зналось и помнилось – маленький был тогда Анатолий. А бабок не помнил. Не было уже бабок. Да и что, собственно, припоминать дела, поступки, а может и неординарные выходки своих предков. Проходят годы, стирают из памяти людской всё незначительное, обыденное, лишь оставляя яркое, будь оно не только добрым, но и кроваво-жестоким. А живёт ли человек для памяти других – спорный вопрос. Кто-то скажет – да, считая,что это и есть то высшее, ради чего стоит жить. Но если и звёзды умирают, галактики, то человеческое существование вообще сводится к нулю, абсурду.

Об этом шибко Трескин и не задумывался, пожалуй, как и многие. И если был его дед при медали, то это помнило одно, два поколения, и скорее всего не ради награды трудился его предок, а просто в силу любви к своему предмету.

В общем жил Трескин, как все, творя свою маленькую историю и, видать, не пришло ещё то время, когда у каждого наступает переоценка ценностей: а что я сделал для ближнего? Что скажут обо мне после моей смерти? А что есть истина? И не по иронии ли судьбы лежали у Анатолия на книжной полке толстая «Библия» и «Словарь русской брани»? Две антагонистические вещи. Два мировоззрения, если последнее можно назвать таковым. И ведь что страшного в этом, так то, что их владелец знал содержание обеих книг. В нём уживалось и противоречило белое и чёрное, и эти чаши весов, казалось, были нагружены поровну ,так и не покачнувшись до сих пор по отношению друг к дружке. «Зверь в тебе сидит», – напоминала часто ему Зинаида.

— А я хоть раз тебя бил? – вопрошал он.

— Попробуй только! Брошу, и уйду с детьми к матери.

Однажды пьяный он плакал. Крепкий, коренастый мужичок припал головой к плечу сухонькой сорокалетней Зинаиды и плакал. Плакал, как баба, навзрыд, в голос. Та гладила его уже седеющую голову и ласково приговаривала: «Да всё, всё нормально. Ты же добрый у меня, чуткий, работящий. Вон сколько книжек перечитал… много знаешь. Воли в тебе только маловато.

— Нет воли, нет. – скрипел он зубами.

— Не богохульствуй, Толик, а?! Прошу тебя.

Когда-то, будучи ещё маленьким, он не раз расспрашивал у матери о человеке, изображённом на иконке, на что мать тихо шептала: «Есть что-то, есть что-то на белом свете». А в школе ему говорили, что ничего нет: мир материален, и нет места духу.

И лежала старая иконка в старом родительском сундуке, и это была его единственная память о матери. Эта иконка могла бы давно висеть у него в доме, но не мог Анатолий кривить душой: если бы он её повесил на всеобщее обозрение, то это было бы нечестно по отношению к его материалистическому мировоззрению. Но он не ведал о том, что сберегая иконку, как память о матери, он сберегал в себе то духовное начало, которое так неистребимо в русской душе.

И шло время, и пролетал исторический ветер перемен, ломая судьбы людей. И ещё сильнее стал сквернословить Анатолий от того, что жизнь вносила резкие коррективы в его размеренный быт. Менял он профессии, приспосабливаясь к новому экономическому укладу: столярничал, слесарил, крутил баранку большегрузного автомобиля, пропадая надолго в дальних рейсах. Обнаружил как-то в старом портфеле права тракториста-машиниста советского образца, которые получил ещё в десятом классе сельской школы, обменял их да и сел на небольшой погрузчик, обслуживая местные склады удобрений, зерна и прочего сельхоздобра. Зарабатывал мало, но зато был всегда дома, что устраивало семью, и уезжать не собирался, надеясь, что хозяйство окрепнет, и жизнь в селе наладится. К тому же на собственном подворье имелась у него живность в виде кабанчика и десятка овец.

И сила крепчания его мата была связана не только с крутыми переменами в стране, но большею частью с пропажей двух овец. И крыл он забористым многоэтажным матом да так, что небесам было жарко.

Морщилась Зинаида, а у детей глаза широко раскрывались от услышанного – их было трое, и все они проходили неплохую школу у столь блестящего преподавателя срамной словесности.

Зима этого года необыкновенно была суровой, потому и весна затянулась надолго. А овцы пропали у Трескина ещё в конце января. Остались следы, свидетельствующие о разбое хищника. Следы, ведущие через весь огород его крайней избы, в густой перелесок из сосен, осин и берёз. Дальше — городская трасса, вновь пустырь и опять то там и сям небольшие островки дружного разнолесья.

Побегал на лыжах Трескин, читая след преступника и убедился ,что зверь дважды ходил одной дорогой. Не был Толик по природе заядлым охотником, но беспардонное поведение лесного гостя заставило его выйти, как говорится, на тропу войны.

Волки. Что он знал о них? Да практически ничего. В этих местах они когда-то водились, но уже лет десять их никто не встречал. Попадались

на глаза лисица, косуля, заяц, но и то крайне редко. Оскудела местность зверьём, а река — островыми. Теперь, пожалуй, только в книжках можно посмотреть на то, что когда-то имелось в этих благодатных местах.

Взял он в местной библиотеке брошюру о диком зверье. А вот и фото волка. Ничего особенного – обыкновенная собака с густой и длинной шерстью на шее, придававшей необычную ширину морде, да и раскосость: как у китайца, глаз – вот и весь волк. Взгляд – да, серьёзный, лютый. А так пёс и всё. Почитал о повадках этого зверя, удивился, что волки не настолько глупы, как хотелось бы представлять. И разговор у них особый, выражающийся в подвывании и тявканьи для передачи информации друг дружке, и ещё строжайшая иерархия в отношениях между собой. Есть изгои. Им может быть провинившийся молодой волк, либо привередливый старик.

— Изгой! Слышь, Андрей. Это, наверно, изгой нам пакостит, рас… в дышло… через!.. – врезал он кулаком по столу. Они ж вроде стаей бегают.

Старший пятнадцатилетний сын оторвался от учебника:

— А какая, пап, разница!? Изгой он или нет, главное он – преступник. У нас же есть капканы на чердаке, давай поставим, и дело в шляпе.

Это было озарение. Действительно, капкан нужно поставить.

Капканы были ржавые и весьма приличных размеров. «Не инна-че мед-вежьи», — кряхтел Трескин, разжимая один из них. Две мощные пружины нужно было одновременно сжать и тут же развести в стороны мощные полудуги острозубые с внутренней части. У него это с трудом получилось. Другой капкан был без страшных зубьев и чуть поменьше размером, но тоже серьёзный на вид. Решил Анатолий поставить тот, который был без зубцов, боясь, что другой просто перебьёт зверю лапу, и тот уйдёт.

Волки ещё в подобных случаях отгрызают себе конечность – об этом тоже он знал, и чтобы этого не произошло, соорудил Анатолий ловушку по всем охотничьим правилам. Как бы ни хитёр был зверь, а человек мудрее. Человек в таком случае придумал нехитрое приспособление – волок, который представляет из себя обыкновенную чурку весом с предполагаемого зверя, а на данный случай в сорок, сорок пять килограммов, как и волк, чтобы тот обманулся, попавшись в капкан, который цепью прикован к волоку. И будет несчастное животное волочь за собой это треклятое бревно в надежде уйти, но далеко не уйдёт, выбившись из сил, вот и бери тогда его, а не одну лишь лапу в капкане.

…И простояло устройство около двух месяцев, не давая никаких признаков не только на поимку зверя, но и на присутствие каких-либо следов в том месте.

Уже и март заканчивался, холодный, как никогда, но уже с высоко ходящим солнцем. Двухметровый снег в полях, продуваемый ежедневным северным ветром, уходил медленно, нехотя. «Берёзы, как обглоданные кости», — заметил как-то один поэт, имевший ввиду что-то похожее в природе для этого состояния: ещё как бы и не весна, но и не зима. Замерло всё. Это было похоже ещё на невылупившегося цыплёнка: вот сидит он в яйце и чутко прислушивается, что же там снаружи, и не пора ли на свет божий? И вдруг рраз!.. напрягся и…

Так же внезапно вдруг за окном у Трескиных градусник в ночь на первое апреля с минус десяти показал ноль градусов, и с утра с крыш зазвенела бурная капель. А за неделю огромные сугробы снега осели наполовину, и на реке со дня на день ожидался ледоход.

Успокоился уже Анатолий, потеряв надежду на встречу с жалким разбойником, зажатым железными тисками и горько плачущим, проклиная свою судьбинушку.

— Пап, нам это всё приснилось. – смеялся Андрей.

— Ага, а овцы где? Следы наконец!..

— Был бы, то уже должен попасться. Я же и второй капкан поставил.

— Это же в каком месте? – удивился Анатолий.

— Да метров за сто выше твоего. Также по следу.

— Без волока?

— Без. Просто проволокой к сосне привязал.

Хотел заругаться Трескин-отец на Трескина-сына, но подумав, что чадо самостоятельно разжало мощный капкан, потеплел душой: «Растёт сын. Сильный – в отца». Были у него ещё две младшенькие дочки, но сын – это его гордость, как и любого мужчины.

На первое воскресенье апреля выпала пасха. Зинаида выставила на стол кулич, густо смазанный взбитым яичным белком с сахаром, выложила крашеные яйца и строго-настрого приказала исключить хотя бы в честь праздника всяческое сквернословие. Конечно же, это касалось Анатолия.

Выпил Трескин самогонки собственного производства, уронил слезу, вспоминая своих предков, погрустил немного шумно сопя и задал храповицкого.

Через полчаса его разбудили.

— Папа, тебе дядь Коля звонит! – дружно закричали девочки, подавая ему мобильник.

— Толик, Христосе воскресе!

— И тебя, Колян, по тому же месту! – хохотнул Трескин позёвывая.

— Ну будет тебе, шутник. Я чего, Толик, звоню... мобила моя сдыхает, а я сегодня на сутки ушёл в охрану, будь добр – зарядное бы мне ,пошли Андрюху, пусть прогуляется.

— Ладно, я сам. Подышу весенним воздухом.

До объекта, который охранял Николай, было не менее четырёх километров, правда, три из которых можно легко отмахать по уже высохшему асфальту, а далее просёлочная дорога с грязью и лужами, которая в общем-то не наводит большой печали для сельского жителя.

Шёл Трескин бойко, печатая тёплый асфальт новыми кирзовыми сапогами, любуясь местным ландшафтом, где вовсю хозяйничала весна. Она топила в своей горячей печке остатки снега, наполняя его талой водой, которая многочисленными ручейками выбегала из-под его толщи и, собираясь в общий мутный поток. говорливо уносилась в нужное ей место. В воздухе напоённом бездонной синью, ласкало слух и радовало душу разноголосье прилетевших на летний период птиц. В голове шумело от выпитого и шальной весны.

Николай – односельчанин, с которым Трескин был в дружеских отношениях, охранял зерносклады, где трудился и он на своём погрузчике, потому и дорога была привычная, а тем более таким прекрасным весенним днём прогуляться – одно удовольствие.

Проходя через перекрёсток двух дорог, сельской и городской, Анатолий позвонил Николаю, что идёт и скоро будет на складах. Подходя к месту, где он когда-то ставил капкан, подумалось, что лучше отцепить его от волока и отнести Николаю: там на зерноскладах иногда мышкуют лисицы, и поймать рыжую бестию наверняка будет проще.

С трудом пробираясь к заветному месту, набирая полные голенища снега, он к своему огромному удивлению обнаружил, что капкана нет. Пропал вместе с волоком. Зато на талом снегу отчётливо читался след от бревна, который петлял между осин и берёз, теряясь из виду. След, а точнее борозда, говорила о том, что бревно тащил кто-то сильный и упрямый, ломая им лесную молодую поросль и сдирая кору со старых деревьев.

У Трескина похолодело в области желудка, словно туда попала большая ледышка. Он редко испытывал чувство страха, да вообще сказать, он был не из робкого десятка и, поразмыслив немного о том, что зверь всё-таки на привязи, решил взглянуть хоть одним глазком, как он там… А потом и… решить его судьбу.

Конечно, он тысячу раз пожалел, что никому не позвонил со своего мобильного, даже Николаю, до которого практически рукой подать. Позвони – тот прибежал бы минут через десять, пятнадцать со своею двустволкой, да плюс у него целых пять собак на службе. Но если бы знать, как говорится, где упасть, то и…

Взыграл охотничий азарт у него, адреналин загулял по крови, стуча в голову, и пошёл наш Трескин по следу – почти побежал, распахнув китайский пуховик. местами глубоко проваливаясь в талом снегу. И вдруг, огибая замшелую вековую сосну, опешил… В полутора метрах впереди, лёжа на животе и вытянув передние лапы, тяжело дышал волк. Язык зверя был удивительно длинен и ярко-розовый, он подрагивал в такт частого дыхания животного, обильно роняя тягучую слюну на когтистые лапы. По всему было видать, что лесной разбойник умаялся, выбиваясь из последних сил, таща за собой бревно, уходя от погони.

Анатолий стоял оцепеневший, смотря в жёлтые глаза хищника. Человек тоже тяжело и часто дышал, не столько от погони, сколько от неожиданной встречи с похитителем его овец. Да, это был настоящий волк – не собака, и он был не нарисованный, чью морду так усердно изучали по библиотечной книжке, и от него веяло непредсказуемым и от того ужасным. Его раскосые глаза смотрели на человека не мигая, зло, от взгляда которых не ускользнёт ни одно даже мало-мальское движение противника.

Человек осторожно проглотил слюну, и хотя тишину нельзя было назвать гробовой, зверь при этом передёрнул ушами. Человеку стало совсем неуютно от такой ситуации. Нет это ещё не безысходность, а жуткий дискомфорт, будто липкой и крепкой паутиной, спеленал на мгновение Анатолия Трескина. Он стоял не в состоянии принять какого-либо решения. но чувство сохранения выработанное древним инстинктом сделало свой выбор: человек отпрянул назад, желая остаться на почтительном расстоянии с лютым врагом и, о ужас!.. «А-а-а!»— вырвалось громкое у Трескина вместо привычного мата. Буква «А» — единственная буква в алфавите, которую произносят пронзительно и честно, когда очень больно.

«А-а-а!»— вновь заорал по-страшному Анатолий, после того как что-то острое и жгучее до безумия лязгнув, впилось чуть повыше щиколотки. Он резко побледнел и, привалившись спиной к сосне припал, на левую ногу. Волк оскалил клыки и приподнялся на передних лапах. Казалось, что он готовится к прыжку, но зверь застыл в этой позе, продолжая рычать и не спуская с человека глаз.

Зверю не давала цепь приблизиться к человеку для смертельной схватки, а сам волок застрял в развилке молодых берёзок. Анатолий это уже определил, как и то, что сам попал ногой в капкан установленный его старательным сыном. «Не-го-дяй! Ах, негодяй! Твою… А почему же я не спросил в каком именно месте он поставил второй капкан? Медвежий… Ах-х мать— пере…»

Ногу жгло и ломило. Боль страшной резью отзывалась по всему телу. Лицо человека было перекошено и какое-то время он видел эту безрадостную картинку, встречу человека и зверя, сквозь пелену бесчисленного количества мелких мошек и мерцающих звёздочек. Постепенно приходя в себя, Анатолий представил, что и волку должно быть невыносимо больно, но тот, похоже, не выражал этой боли, кроме смертельной усталости и безграничной ненависти к человеку.

Кусая губы, Анатолий собрался с мыслями и начал анализировать происходящее: «Я, конечно же, так просто не уйду, ведь мой капкан тоже на привязи. И если противник сможет, отдохнув, сдвинуть свой волок, то он меня достанет мгновенно, а мне кроме голых рук противопоставить ему нечего. А чтобы разжать эти злосчастные пружины, мне нужно присесть и проделать эту процедуру медленно, очень ме-дленно, чтобы серый ничего не заподозрил, а потом, вызволив ногу, резко уйти за дерево… Но даст ли он мне это сделать?»

Волк, как будто поняв намерения человека, грозно зарычал и поднялся на ноги, и Трескин смог воочию убедиться в его красоте и мощи – это был матёрый волчище, поджарый и с крепкой широкой спиной. Он не был особенно худ, просто этот бандит имел большой опыт по выживанию, и сейчас готов был показать всю свою силу и знания в борьбе за это.

Во внутреннем кармане вдруг зазвонил телефон. Анатолий вздрогнул от неожиданности и напрягся до предела, как перетянутая гитарная струна в руках неопытного исполнителя. Зверь ответил глухим рычанием на звук телефона, который громко и браво наигрывал совсем неуместную мелодию «А нам всё равно…» Для человека это было спасение.

Как хорошо, что он прихватил мобильник, но про который забыл от ужаса происходящего. Сейчас он только сунет руку в карман пуховика, осторожно вытащит его и всю потрясающую воображение ситуацию, в двух, трёх словах, обрисует звонившему, и всё обойдётся… всё будет нормально.

Волк всё также неотрывно следил за его действиями сжимаясь пружиной: хвост угрожающе поднялся свечой и шерсть в холке вздыбилась, словно колючки у ежа. Он чуть ниже нагнул голову и застыл в грозном оскале. И как только человек сделал движение рукой, чтобы попасть в карман, зверь резко рванулся и, сдвинув бревно на добрый метр, успел вцепиться ему в руку, чуть выше запястья. Анатолий громко охнул, потом взвыл от нестерпимой боли. Перед глазами вспыхнули праздничные салюты самого разного болезненно-яркого окраса и, затухая, погрузили его на какое-то мгновение в черноту ночи, и Трескин, медленно приседая, завалился набок.

Матёрый хищник держал руку крепко, будто слесарными тисками, прокусив её почти насквозь, так по крайней мере казалось несчастному. Приблизиться ближе к своей жертве зверь пока не мог: волок с небольшим сучком зацепился в развилке за одну из берёзок и не подавался вперёд. Человек, постепенно приходя в себя, вновь стал оценивать эту потрясающую воображение ситуацию. Анатолию не верилось, что всё это происходит не с кем-то, а с ним, и эта дикая боль принадлежит только ему, и он теперь не охотник, а жалкая добыча. Всё поменялось местами. А может, это всего лишь сон? Страшный сон… и он непременно проснётся – конечно, же проснётся… Зинаида согреет чай, подаст булочки с вареньем. Ах, какие она вкусные булочки выпекает!.. Он уже готов потянуться за ними, но боль в руке, ноге… Чёрт! Твою!..

«О, Боже! Да за что же мне такое наказание !— вырвалось со слезами у Трескина. – Если ты есть, Господи, помоги мне!» И вдруг его воспалённый мозг обдало холодом и прокололо множеством острых иголок от внезапного осознания всей глубины происходящего. Он вспомнил, что сегодня пасха, и возможность наказания за его прегрешения показалась бедному Трескину настолько очевидной, настолько реальной до жути, что его воля была практически парализована. Он сейчас боялся одного – помешательства.

Вот лежит он, вытянув левую руку, которую цепко держит лютый зверь, а левую ногу также цепко держит зубастый капкан. «Как распятье»,— сверлило мозг. До его сознания стало доходить с леденящей

ясностью о конце жизни, о ловушке, в которую так глупо попал и из которой ему навряд ли уже выбраться. Анатолию хотелось заплакать, но, переборов минутную слабость, стал рассматривать, как прикручена проволока к сосне, и отметил, что в общем-то не так мудрёно и крепко – были бы свободны руки… но рука у него одна и той не дотянешься. Он боязливо посмотрел на свою левую, оценивая её состояние. Китайский пуховик, конечно же, нисколько не защитил её от мощных клыков серого монстра, который в упор расстреливал свою жертву косыми жёлтыми глазами, продолжая свирепо щериться и громко порыкивать. И тут такая тоска захлестнула сердце Анатолия!.. – ведь он играет на баяне, с детства играет. На хлеб, правда, этим не зарабатывает (не выучился вовремя профессиональной игре), но к музыке прикипел душой навечно.

Мысль, что он не сможет больше играть на инструменте, повергла его в страшное уныние. Ну что там нога? – можно и на протезе скакать, рука вот… пальцы… И Трескин, закрыв глаза, стал тихонько шевелить пальцами прокушенной руки. Они подчинялись – значит, сухожилия целы. Это обнадёживало. Зверь же, почувствовав движение мышц под зубами, на мгновение отпустил руку, но тут же перехватил её вновь. Новая боль доставила человеку новые страдания. Это было очень, очень жестоко по отношению к нему, Анатолию. «Нельзя ему свою слабость показывать. Держись, дер-жись, Трескин Толя! У тебя были трудные ситуации в жизни – пережил, выкарабкался, переживёшь и эту»,— обращался он к себе, превозмогая физическую боль и осторожно прощупывая свободной рукой куртку в районе кармана, но телефона не обнаруживалось. Повернув голову в противоположную сторону, он увидел свой мобильник лежащим чуть поодаль, на расстоянии вытянутой руки. Но выбросив руку в сторону спасительного предмета, он понял, что не достанет. Тридцать, ну сорок сантиметров ещё до него, но это расстояние казалось длинною в целую жизнь.

Нащупав возле ног сухую ветку, Анатолий попытался ею подтолкнуть телефон. Это ему долго не удавалось. Нога занемела основательно: через рваное кирзовое голенище просачивалась кровь, а сам капкан смотрелся чудовищно неправдоподобно. Он также, как и волк, вцепился мёртвой хваткой, только совершенно неосознанной, и оттого выглядевший ещё тупее и отвратительнее, чем зверь. «Лишь бы кость была цела»,— отмечал в тревоге человек.

Наконец у Анатолия получилось: телефон вот он, уже кончики пальцев трогают его гладкую и холодную поверхность… И вот спасение

Трескина находится уже в руке. Сердце от волнения готово выпрыгнуть горлом, бьётся забивая дых и толкаясь больно в шею.

Лёжа также на боку (как приказала ситуация), и прижимаясь щекой к мокрому и колючему снегу, он нажал красную кнопочку. Экран засветился голубым. Антенна показывала полный объём, но заряд батарейки начал стремительно уменьшаться прямо на глазах, и через секунд пять, семь, экран потух. Анатолий ничего не понимая, начал нервно тыкать кнопку, пока не сообразил о причине быстрого разряжения батареи – холод. Телефону немного хватило, чтобы, полежав своим элегантным тельцем в холодном крошеве снега, разрядиться полностью. А сколько же собственно телефон провалялся? А сколько времени уже сам Трескин лежит вот так на боку,отдав себя на растерзание тупой твари?

Анатолий мутным взглядом посмотрел по сторонам, на вечереющее небо, на волка, на его пронзительно жёлтые глаза и заорал вдруг надрывно, истошно: «По-мо-ги-те-е! Кто-ни- будь! Я здесь! Здесь я!»

Волк встрепенулся и ещё крепче сомкнул челюсти. Потом он дёрнулся в направлении человека, но сучок не дал бревну проскочить в развилке берёз. Те лишь упруго качнулись, махнув шумно своими верхушками. «А ведь ещё два, три раза он дёрнет, – прикинул человек,— и деревца не выдержат».

И припомнился Анатолию рассказ матери о том, как она молитвой вышла из трудного положения. И помогла ли, действительно, молитва – трудно судить, но человек как раз и силён своим обращением к высшему разуму, духу, наполняя и укрепляя тем самым свой разум, свои силы – веру в удачный исход.

Было это ещё в годы коллективизации. Бежали люди от этих коллективных хозяйств. Бежали многие, кто понимал и не понимал всей сути новой жизни. Бежали, если было куда бежать, больше туда, куда сподручнее. А мать его через Китайскую границу, толком не охраняемую ни с той, ни с другой стороны бежала и, вкусив горькие плоды эмигранта, пустилась обратно на свою историческую родину. Пересекала вновь границу той же тропкой. Ночью спала на самотканом рядне под кустом, слушая завывание волков и читая молитву о спасении. А поутру читала вновь, потому что, проснувшись, увидела группу солдат неподалёку. Читая и читая молитву, она видела, как солдаты один за другим стали расходиться. И так она снова перешла границу благополучно. И очень часто она рассказывала Анатолию об этом случае – верила в силу молитвы. «А какую же молитву она читала? – напрягался несчастный,— Ах, да,

«Отче наш». Иже на небеси, да освятится имя твое... яко же мы… долги наши…»

Не вспоминался ему текст точный. Он знал всю премудрость Соломонову, нагорную проповедь и многое другое, но «Отче наш»…

— А ты бы что читал? – хрипя обратился он к зверю. – У тебя, сволочь серая, вообще в голове пусто. Знаешь только, как руку мою держать. А как ты думаешь, чья возьмёт? Неуж-то твоя? Тебе ведь стоит только вырвать волок из развилки, и я твой. Ты сразу меня за горло и всё… Но я тебе так просто не сдамся, пёс ты шелудивый!

У Трескина безумно горели глаза, а в голове проносились самые разные мысли, но самую скверную, ужасную, в образе старухи с косой, он старался отбросить подальше, как мусор из избы. Он пытался оседлать усилием воли ту единственную мысль-спасение, которая вывезет его бренное тело из пут смерти. Если он, к примеру, ударит зверя мобильным телефоном по голове, то, возможно, тот выпустит хоть на мгновение левую руку. А что дальше? А дальше человек отпрянет и останется в поле недосягаемости, и пока матёрый волчара вырвет волок, он успеет здоровой рукой распутать проволоку и хоть ползком, с капканом на ноге, будет уходить быстрее на трассу, а там спасение, там машины.

Долго человек сосредотачивался на своём дерзком и неожиданном для зверя действии. А волк? А волк пока ничего путного не мог придумать, хотя уловки зверя тоже бывают дерзки и неожиданны, но на данный момент у него не было выбора, как только удерживать человека за руку. А раз у животного ограничен разум в отношении тактики, то ему оставалось только выжидать, что предпримет гомо сапиенс, чтобы тут же отреагировать, упреждая того в действии.

И человек решился…

Удар получился очень слабым, да и не в голову, как предполагалось, а по носу, на что волк тут же выпустив левую, перехватил в запястье правую руку. Анатолий взвыл от боли. «Это всё»,— пронеслось пламенея у него в мозгу. Левая рука плетью упала на снег, обильно пачкая его сгустками крови. От плеча и до локтя он её ощущал как живую, а дальше она практически отсутствовала. «Левая рука – это басы. Отойдёт, не отойдёт – не известно. А теперь вот правая… О Боже! Прости меня за мои прегрешения!.. Помоги, прошу тебя! Иже на небеси , да освятится имя твое, да будет царствие… Воля твоя… Дашь нам днесь…» Трескин не кривил душой. Он был искренен как никогда.

Он повторял и повторял фрагменты этой молитвы. Читал громко, сцепив зубы, глядя в немигающие глаза своему мучителю. «А может, ты уйдёшь, зверушка? Уйди. Давай разойдёмся по-хорошему. Ты сейчас отпустишь мою руку, и мы в разные стороны… Давай,а? Мне больно, ведь и тебе тоже. Ты в конце концов можешь потом себе лапу отгрызть, ведь и тебе жить хочется. Я тебе ещё двух овечек подарю – будь ты неладен.» И человек опять заорал, что было мочи: «По-мо-ги-и-те!»

Волк напрягся и покачал молодыми берёзками – те не сдавались под натиском волока. «Дурак, тебе бы отпустить мою руку, пройти назад через развилку и обойти берёзки – и я твой. Я не успею отвязаться от дерева… слишком мало будет времени. Ду-у-рак ты! А как ты псиной воняешь, сволочь желтоглазая!..»

Почему-то здесь Анатолию припомнилась книга о Сталине. Автор писал, если ему верить, что у советского монарха тоже были жёлтые глаза. Неужели цвет глаз имеет отношение к жестокости? Человек – он не волк, а волк – не человек, но чёткой границы тут, очевидно, не проведёшь. Границы размывают… чаще всего – люди. В чём же теперь вина Трескина? В том, что не дал зверю безнаказанно попользоваться его добром. А разве люди друг у друга не воруют? Воруют и убивают. Зверь убивает по необходимости, человек убивает ради самого процесса. Волк просто зарезал овечку и ушёл – запирайте люди получше свои стайки. И сейчас волк озабочен не меньше, чем Трескин своим выживанием.

Смеркалось. Подул лёгкий северный ветер, раскачивая верхушки деревьев, они зашептали о чём-то своим древесным языком. Рядом на сухую осину уселась сова Дарья. Анатолий знаком с ней давно. Это были её угодья. Сова оглядела своими огромными глазищами, словно чайными блюдцами, всё окрест и легко снявшись полетела в направлении складов охотиться на мелкого грызуна. «Могла б весточку передать»,— заныло сердце Анатолия.

Хищник всё ещё пребывал в нерешительности. Он, наверно, тоже понимал свою безысходность: видно было, что умаялся смертельно – хвост полуопущен, дыхание прерывистое, тяжёлое. Но он также внимательно следил за движениями человека, чтобы при необходимости напрячься струною и вновь рвануться к своей жертве.

— Я тебя загрызу, – вдруг совершенно спокойно сказал ему Трескин. – Ты меня лишил обеих рук, но у меня есть ещё зубы, – и он поклацал ими.

Волк оскалился и высоко поднял хвост. Анатолий слегка пошевелил пальцами правой руки. Они действовали, и он начал потихоньку раз-

ворачивать кисть руки, чтобы засунуть её прямо в пасть зверю. Тот не понимая намерений человека, начал вынужденно перехватывать зубами кисть руки. Запястье хрустело суставчиками, но человек, роняя стон с пересохших губ, с усердием проделывал задуманное, пытаясь ценой страшной физической боли достичь своей цели. И постепенно ему удалось выполнить поставленную задачу – вся кисть руки оказалась внутри горячей и мокрой пасти зверя.

Человек сделал передышку.

Рука также крепко была схвачена в запястье, словно раскалёнными щипцами, и волк также ощеривался обнажая свои убийственные клыки, яростно сверкая немигающими глазами. Несколько помедлив, человек, превозмогая адскую боль, начал проталкивать руку дальше внутрь. Этот процесс был мучительным и долгим, но в конце концов дал обнадёживающие результаты: шевеля всей пятернёй внутри пасти, человек заставил волка на какое-то мгновение ретироваться – тот стал капплять и пятиться назад. «Что, запершило? Что, кислород перекрыли,— ликовал приободрившийся Трескин,— ты пятишься!.. тебе это не нравится, но твой отход мне совсем невыгоден, иначе мне… крышка.

Волк медленно отступал назад, а человек медленно полз вперёд. Существу разумному и универсальному длина проволоки ещё позволяла наступать, а волку длина цепи отступать. Но эта ситуация была временной и через какой-то метр могла резко измениться не в пользу Трескина, и он принял окончательное и верное в этом случае решение. Привстав на колени и быстро, хотя и мелко, ими перебирая, он наступал на своего серого мучителя, всё глубже проталкивая кисть руки в его утробу.

У волка мутнел взгляд, и он уже не так цепко держал руку, скорее он желал уже от неё освободиться, но человек был настойчив в своих намерениях.

И человек сделал последний рывок…

Не вынимая руки из пасти, Анатолий резко бросился телом на волка и, сбив его с ног, завалил набок и уткнулся головой в шею, отыскивая зубами горло. Одна из передних лап зверя была придавлена телом нападающего, а второй и одной задней, свободной от капкана лапой он начал отчаянно рвать пуховик, раздирая его в клочья, выпуская клубы крупного и мелкого птичьего пера.

«Иже на небеси…»— рычал Трескин, задыхаясь в густой волчьей шерсти. Вскоре он ртом почувствовал горло и, заламывая голову волка к спине, начал с остервенением вгрызаться в горячую плоть.

Животное металось из стороны в сторону, пытаясь перевалиться на другой бок и хоть как-то изменить ситуацию. Но человек был упрям и силён. Человек сейчас был зверем.

Вскоре под его зубами что-то хрустнуло, он понял – глотка, понял, поскольку чувствовал ртом свои пальцы, орудовавшие изнутри этого дыхательного шланга.

Зверь уже сопротивлялся слабо. Он хрипел дырявым горлом, забрызгивая кровью лицо Трескина, потом забился в конвульсиях, вытягивая лапы. Он был уже обмякший и бездыханный, а человек всё грыз и грыз его шею, утверждая свою победу. Потом было затишье, а после громкие всхлипы Анатолия. Он лежал на спине возле присмиревшего навеки хищника с ободранной в клочья одежде, весь перепачканный своей и чужой кровью и подвывал, наполняя своё сердце великой печалью и не менее великой радостью в этой смертельной схватке.

Борьба закончилась. Зверь был повержен.

Уже изрядно потемнело, когда на зерноскладах дружно загавкали собаки, окружив в свете фонарей странного пришельца, пахнущего зверем и кровью. Вышел охранник и с испуганным выражением лица начал разглядывать незнакомца.

— Коля, это я, Анатолий,— прохрипел незнакомец. – Я зверя убил.

— Где? – немного отойдя от шока, вымолвил охранник.

— Вот здесь, – и Анатолий прижал окровавленные руки к груди. – Позвони Зинаиде, скажи, что всё в порядке.

Около месяца пролежал Трескин в районной больнице. Раны затянулись, но боль давала ещё о себе знать.

Когда он выписывался, цвела черемуха. Природа бурно заявляла свои права на новую жизнь.

Ехали на такси всем семейством, радостные и немного печальные.

— Пап, а ну-ка пошевели пальцами, – приставали дети.

Он шевелил.

— Ура! Будет играть на баяне!

— Слышь, Толик, а я иконку свекровкину пристроила в доме. Ты не против?

— Правильно сделала, – не глядя ей в глаза, тихо сказал Анатолий и украдкой смахнул неожиданную слезу.

Это была слеза очищения.

СПАСТИСЬ ЛЮБЯ

Яма была глубокой и со скользкими стенами. Волею судьбы он был брошен в неё.

Где-то наверху голубел кусочек неба и протекала там нормальная человеческая жизнь: слышался смех, шум аплодисментов и многое другое. Всё сливалось временами, но и эта какофония звуков была гораздо приятнее для слуха, чем бесконечное чавканье беззубого рта старухи.

Она сидела в углу и, не моргая, смотрела на него белесыми почти невидящими глазами. Собирая вокруг себя какие-то крошки, она дрожащей рукой отправляла их в рот.

Такое соседство ему было до ужаса неприятным. А может этой старухи вовсе и не было. Может ему это всё показалось. А если она и была, то для чего? И что она олицетворяет? Смерть? Его смерть?

Он окликнул старуху. Но та, очевидно, была к тому же ещё и глуха, поскольку не отреагировала на обращение к ней. Брезгливо оглядев её, он вновь занялся долгим и трепетным созерцанием кусочка неба. Там иногда пролетали гордые орлы, и его бедное сердце, ослабленное страданиями, рвалось ввысь к птицам, к свободе.

Много раз он пытался подняться по отвесным и скользким стенам, но эта яма была как будто специально придумана именно такой: ни единого уступа, ни одной, даже самой маленькой растительности, за корни которой можно было ухватиться. В изнеможении он падал слабым телом на дно ямы и вновь, тяжело дыша, подпрыгивал и скрёб израненными руками голые стены.

— Сволочь! – кричал он, зло уставившись на неподвижную старуху. – Это ты, ты мне мешаешь выбраться на свободу! А может, ты смерть моя? Слышишь! – И он в отчаянье пнул старуху в бок.

— Ты делаешь себе только хуже,— прошамкала та, не поворачивая головы. – Я к боли привыкла, и мне не страшно умереть, а если ты можешь извлечь из моего тела выгоду, то убей меня.

После этих слов она достала из груды серого тряпья деревянную гребёнку и начала расчёсывать свои длинные и седые волосы. Тело её до того было худым, что его можно без всяких проволочек тут же предоставить в анатомический класс по изучению скелета. Её пустые груди казались абсолютно ненужной частью тела. Их для удобства существования можно было завязать узлом, чтобы не мешали ей для всевозможных действий.

— Слышь, старая,— простонал он, медленно приседая,— мне больно, очень, здесь больно. – И он прижал ладонь со стороны правого подреберья.

— А это моя боль передалась тебе,— прошептала старуха и сипло зашлась в кашле. Её пустой рот раскрывался, и из чистой без единого зуба мокрой ямы выскакивал длинный язык, словно дразня его. Он показывался ритмично и также спешно убирался во внутрь, чтобы дерзко вновь показаться.

Она кашляла долго. Если бы у неё были зубы, то это было бы не так противно – думал он. Ведь зубы своего рода забор для этой красной и сырой верёвки, и, судя по её длине, старуха должна быть ужасно болтливой, чего как раз и не наблюдалось. Она, видать, устала говорить за свою долгую и нелёгкую жизнь. Но почему она тоже здесь? Ведь он упал в эту яму один. Ему суждено было упасть в силу сложившихся обстоятельств, но он должен и подняться, во что он верил. Он знал, что у каждого свое дно, строго индивидуальное, но есть, наверно, и огромные пропасти, куда попадают целые народы, обманувшись в своих надеждах.

Чуть погодя, ему стало легче, и он, стараясь хоть как-то загладить свою вину перед этой старой женщиной, спросил почему-то о цветах:

— Скажи, какие цветы ты любишь больше всего?

— Искусственные, — тихо ответила старуха и заплакала.

— Мы с тобой выберемся вместе! — вдруг вскрикнул он, и глаза его засверкали неземным огнём. – Мы должны выбраться. Ты ещё не так стара, — соврал он, — да и я молод. Я хочу доказать, что мир можно сделать чуточку добрее, и ты мне в этом поможешь, мать.

Старуха вздрогнула и повернула к нему лицо, вдоль и поперёк испещрённое глубокими морщинами.

— Мать, ты меня слышишь? — прокричал он.

— Слышу, — ответила старуха дрожащими губами. – Ты, ты назвал меня матерью?

— Да-да, — задыхался он. — Прости меня.

— Я помогу тебе. Я сейчас… — и старая женщина стала выдирать свои волосы.

— Что ты делаешь? — вскричал он в ужасе. – Ведь это так больно!

— Я делаю больно себе, чтобы ты мог спастись.

— Но почему я не чувствую эту боль сам?

— Потому что я мать, — спокойно ответила она.

Старуха управлялась с волосами медленно, но ловко. Пучки седых волос она аккуратно складывала подле себя.

— Зачем ты это делаешь? — спросил он, едва сдерживая стон.

— Это единственное, чем я могу тебе помочь. Мой волос хоть и стар, но ещё крепок и из него выйдет неплохая верёвка, чтобы выбраться отсюда.

— Но как? Ведь её даже зацепить не за что, стены вон как отшлифованы.

— А ты внимательно приглядись. Старуха подняла кверху свои незрячие глаза. – Вон, по правую руку из стены торчит толстый корень растения, а вон выше, слева, ещё.

— Но ведь их раньше не было?! И как ты можешь видеть? Ведь ты почти слепа!

— Они были. Ты просто это долгое время не мог их увидеть, пока я не отдала тебе своё последнее зрение.

Тогда он заплакал горькими слезами и упал перед старухой на колени. Она гладила шершавыми ладонями его голову и мелко дрожала от волнения.

Верёвка была готова, и он накидывая петлю на торчащие корни, достаточно легко добрался уже до середины сырого и мрачного колодца, как услышал громкий стон снизу. Это стонала старуха, запрокинув голову и жадно заглатывая ртом воздух.

— Что с тобой? Тебе плохо? — вскричал он, готовый спуститься к ней.

— Нет, нет, всё хорошо, — едва прошептала та. — Наверх, наверх, ты должен успеть!

— Мне теперь спешить не надо. Я почти на свободе. Я потом сброшу тебе верёвку, и ты схватишься за неё.

Но когда он оказался наверху, старуха сделала свой последний вздох и, вытянув вдоль тела длинные и костлявые руки, замерла. Она отдала для его спасения свои последние силы.

— Мама! — закричал он, свесившись телом в чёрную бездну. — Не умирай, я спасу тебя! – Но разглядеть, что там внизу, было невозможно, да и верёвка вдруг оказалась на удивление коротка. – Мама! — вновь прошил пустоту пронзительный крик. — Отзовись!

Ему не ответили.

НЕ ШАХТЁРСКОЕ СЕРДЦЕ

Он впервые находился в шахте. Это была брошенная выработка на нижнем горизонте, куда его долго спускали на грохочущей мощной технике. «Здесь,— сказали ему, — ты можешь выбирать какие хочешь, потом через часик, два, мы подъедем».

И он остался один. Когда погасли за поворотом туннеля огни уползающей вверх горной машины, ему вдруг стало не по себе. Мгновенно липкая и густая мгла обволокла его со всех сторон. Он несколько секунд простоял в лёгком смятении, потом, вспомнив о своей шахтёрской экипировке, в которую его обрядили, включил фонарь.

Свет легко рассёк могильный мрак и упёрся в каменный свод шахты. Он поворачивал голову в разные стороны, и луч покорно подчинялся этим движениям, выхватывая из темноты фрагменты человеческой деятельности. Только сейчас, в кромешной тьме, он ясно осознал свойство его величества Света. Наверное, сам создатель шарахался во вселенной, ударяясь о звёзды, пока не придумал свет. И он тоже чувствовал себя создателем. Он сейчас будет выбирать из-под завала доски-семидесятки, которые некогда укрепляли свод туннеля, и из этого материала настелит добротные полы в свинарнике.

И он принялся за работу. Через полчаса было уже набрано достаточное количество толстых досок, остро пахнущих свинцово-цинковой рудой, крепких и тяжёлых. «Лиственяк, это ж навечно», — работал мозг. Теперь ему не придётся каждый год перестилать полы. Если уж эти несносные твари и будут грызть, а грызть они, конечно, будут, то этой толщины и крепости леса... в общем он намного лет избавится от этой проблемы.

Вскоре он устал. Лицо взмокрело, и пот каплею нависая на кончике носа, беспрерывно падал на грудь, руки. Присев на острые обломки породы, он закурил и вдруг опять почувствовал лёгкий приступ страха.

Страх шёл со стороны спины, с той части подземного каземата, которая не была освещена. И он резко обернулся, вглядываясь в уже освещённый, но так же таинственный каменный мир. Абсолютно безжизненное пространство несколько успокоило его, но тут новая порция страха подступила под самое горло: ведь со стороны спины были по-прежнему та же ночь и пугающая неизвестность, и он вновь резко обернулся в прежнюю сторону… и вновь в противоположную… и вновь обратно…

Поняв всю бессмысленность своих действий и опасений, он начал себя успокаивать, как мог: «Да, я один, остальные где-то на верхнем горизонте вкалывают, рискуя собой, добывая копейку в этих каменных мешках. Ну и пусть себе... это их выбор, а мне же только ещё какой-то часик продержаться... доски-то какие: семидесятка, на несколько лет их… и дармовые.

Он вспомнил, что много лет назад здесь работали пленные немцы, японцы, претерпевая, может быть, не меньший страх, но они были обязаны, а он нет. Он только наберёт сколько нужно досок и домой.

Было также тихо. На ум ему пришла толстовская метафора: «И такая тишина стояла кругом, что было слышно, как трава растёт». Хорошо сказано, образно, но только не про заброшенную штольню. Здесь, скорее, стояла такая тишина, что было слышно, как шепчутся… покойники, приглашая его поскорее оставить бренный мир и присоединиться к их вечному блаженству.

Прошло ещё полчаса. За ним видно не спешили. Тишина подземелья дрожала натянутой тетивой, чтобы тут же отозваться на любой едва слышимый звук. А он всё пребывал в напряжённом состоянии, выкуривая сигарету за сигаретой и вглядываясь, до рези в глазах, в то что высвечивал фонарь.

Ему было страшно. Он не мог объяснить причину этого страха. Ему казалось, что он вот-вот сойдёт с ума, потом подумалось – если идти навстречу транспорту, то это идти навстречу спасению. Но что он скажет им? Сдрейфил? Сердце у него кроличье? Настоящим бы сердцем, как сердцем Данко, путь людям освещать, или как шахтёрским сердцем стучать уверенно в забое, выполняя трудную и опасную работу. Он пробыл в шахте ровно два часа, но они показались ему вечностью. Когда за ним приехали, то обнаружили подземного труженика постаревшим на несколько лет. Он с трудом узнавал своих товарищей. А с виду он выглядел настоящим шахтёром: спецовка, баклажка с водой на поясе, каска, фонарь во лбу, аккумулятор через плечо, но сердце вот... осиновым листком… за эти доски-семидесятки, которые он свиньям…

Это было не шахтёрское сердце.

Я ПРИШЛА

Поганюк закурил и по-хозяйски оглядел свои десять соток. Это был участок, засаженный ранним картофелем, который на рынке будет продан за ого-го… Оправдан будет труд Поганюка. Правда, донимает колорадский жук: только-только картофель проклюнется, а на ростке уже алчный едок восседает и тут же потомство даёт. Красной смородиной смотрится жук на картофельной ботве – много его окаянного.

Хозяин участка докурил, зло сплюнул и раздавил в ведре с водой две ампулы яда. За полчаса им было обработано сотки две. Потом он сходил домой за новой порцией воды и поставив вёдра в междурядье, отдышался. День был жаркий, душноватый. Со стороны его подворья доносилось куриное кудахтанье и хрюканье свиней. А за селом в общем стаде паслись ещё три коровы и годовалый бык. Устал от такого хозяйства Поганюк. Лет двадцать со своею зазнобой Ксенией он в навозе пурхается. Достаток имеется, да. Но это ведь каждый день… с пяти утра… и до…

А навозом пропах Поганюк основательно – никаким шипром не истребишь, даже после бани – вонял всё равно. Вонял так, что в магазине сельчане отворачивались, когда он в очередь за хлебом пристраивался, но никто не бурчал, понимали, что всё-таки на селе живут. Не понимали только вечной угрюмости да беспредельного зла Поганюка, особенно к кошкам и собакам. Гонял он эту живность чем ни попадя: был молоток в руках – бросал его остервенело в четвероногую тварь с громким матом. Они, эти четвероногие, особенно кошки, грядки ему портят, роются в них, проклятые. С добрый десяток он уложил мяукающих особей, рыжих, чёрных, в полоску, крапинку. Пропадёт у кого-то кот или кошка, всё – Поганюк.

И вот стоял он по пояс в картофельной ботве, худой и чёрный, и двигал желваками в сердцах поругивая заморского жука. Тут одним броском молотка жука не испугаешь, тут надо каждый куст оросить тщательно. Он вновь закурил и вдруг увидел, как в конце его картофельной плантации кто-то ходит. Да, да, человек – женщина в белом, и направляется в его сторону. И женщина не идёт, а плывёт, как будто прямо по ботве, но не колыхнув её нисколько. «Чудеса»,— подумалось Поганюку, залюбовался он даже ею, потом спохватился и пошёл навстречу, готовясь выпроводить непрошенную гостью к чертям собачьим. Встречаются они почти нос к носу. Поганюк злой, пыхтит сигаретой, а та улыбается. С виду баба и баба, красивая даже, не старая, вся в белом до пят и босая.

— Ты кто? – зло пробасил владелец участка.

— Я к тебе, Василий Иванович. – певуче ответила женщина в белом. А взгляд у неё какой-то неприветливый, холодный и пронзительный.

— Ххы-х... – спёрло у того дыхание. – А пошто ты мне картошку топчешь? По дороге не могла к дому прийти?

— А тут нам удобней будет беседовать,— продолжала нараспев гостья,— да и твоя Ксения знать не будет, то есть будет, но позже. А картофель твой я нисколько не попортила, поглянь, даже отпечатков ног не имеется. – Женщина при этом загадочно улыбнулась и заглянула в самое дно души Поганюка.

И точно, никаких следов не наблюдалось, и от этого Поганюка внезапно обдало страшным жаром, потом его зазнобило, как от холода. Ему стало нехорошо, дискомфортно, как говорится, и он прорычал:

— Убирайся! Сгинь! Ты зачем здесь?

— Василий Иванович, я здесь по особо важному делу, поскольку время твоё подошло, потому я…

— Какое такое моё время? – не дал он ей договорить. – Счас я тебя вот этим раствором!.. – И он набрал в насос ядовитой жидкости. – Сгинь, я сказал. Я в сельсовет до главы счас дозвонюсь, ходют тут всякие, как по дороге. – Он похлопал по карманам брюк, но вспомнив, что телефон не с собой, вновь замахнулся опрыскивателем.

Женщина нисколько не испугалась, наоборот, приблизилась к нему почти вплотную.

— Ты болен, Василий Иванович, поэтому я здесь.

— Я не болен! Я здоров! – отступил он от неё на шаг. – Признавайся лучше, кто ты.

— Я смерть твоя, Василий Иванович. – спокойно ответила та и пронзила его с головы и до пят своим ледяным взглядом.

— Ха-ха! А где же тогда твоя коса и чёрное платье?

— А вон у тебя на подворье.

— Дак то ж моя коса у стены.

— А ты приглядись получше, Василий Иванович, и увидишь рядом ещё одну, а платье моё чёрное на бельевой веревке висит, сушится. Хотела я сегодня отдохнуть, да видно не придётся – шибко уж ты строптивый мне попался, Василий Иванович.

Пригляделся Поганюк, и точно: две косы у сарая и что-то чёрное на веревке болтается. В это время из сеней вышла его благоверная.

— Ксю-у-ша! – не своим голосом заорал Поганюк. – Это что там чёрное висит у нас на верёвке?

— Ничего не висит, – послышалось в ответ. – Айда на обед, мой руки.

— Да ви-и-сит же, – почти простонал Поганюк.

— Иди, иди, а то ты спёкся видать уже.

— А женщину ты видишь возле меня?

— Чудной ты сегодня, – хлопнула дверью Ксения.

— Ну вот, видишь, – обернулся он к женщине в белом. – Ничего нет, это мне только всё кажется.

— И я кажусь?

— И ты.

— Ну тогда мне придётся доказать, что это не так. Давай мы сейчас, Василий Иванович, и закончим наше дело. Кошек припомним тобой погубленных, года твои посчитаем. Сколько их у тебя годков-то?

— Шестьдесят пять. Мало ещё. Я до ста лет собираюсь дотянуть, – криво ухмыльнулся Поганюк.

— Не дотянешь.

— Это как же?

— Всё будет очень просто, Василий Иванович. Ты погоди чуточку, я сейчас, – приказало назвавшееся смертью.

— А то, хи-хи. Куда ж ты?

Приосанился Поганюк, заулюлюкал даже ей во след. Наконец-то, думает, наваждение исчезло, что всё это ему от жары показалось. А женщина в белом и не думала исчезать, она лишь уменьшалась в размерах проплывая огород Поганюка в направлении его дома.

— Ксю-у-ша! – вновь заорал он. – Не пускай её к нам! Это она! Это она пришла ко мне!

Жена не слышала его отчаянных воплей, она хлопотала на кухне. А её благоверный с превеликим страхом наблюдал, как незнакомка в белом снимала с себя это белое и облачалась в чёрное. Потом она взяла косу и направилась к Поганюку, который с дрожью в ногах всё стоял и что-то лепетал о кошках, коровах и ценах на молодой картофель.

— А вот и я, Василий Иванович. – подходя к нему улыбнулась белозубо молодка в чёрном.

— Да, это ты. Теперь я верю, – бескровными губами прошептал Поганюк. А как же моё хозяйство без меня? И я ведь вроде здоров.

— Ну вот видишь – вроде. Ты уже и не уверен в своём здоровье. А на самом деле оно у тебя, Василий Иванович, никуда не годное – срок ему пришёл уже. А сегодня как раз магнитные бури разыгрались, а у тебя сосуды… сердечный приступ может случиться – инфаркт, инсульт…

— А-а-а. – взвыл он жалобно приседая на картофельный куст. – Это что ж, наказание за кошек что ли?

— Не только. Ты, Василий Иванович, в прошлом году забор на целый метр перенёс в свою пользу у слепой Гаврилихи.. Не стыдно?

— Не стыдно, представь себе. У меня вон живности сколько, корма много надо, а у неё земля всё равно большей частью пустует.

— А мог ведь и выкупить. Дети её приедут, и всё равно обнаружится твоё хамство. А ещё, Василий Иванович, три года назад ты зарплату чужую так и не передал по назначению, присвоил под шумок, а ещё…

— Всё! Хватит! – простонал Поганюк, – прости меня.

— За это ты не у меня будешь прощения просить. Я лишь направлю тебя к нему. И не бойся так, расслабся, Василий Иванович. И женщина в чёрном начала терять облик красивой молодухи и на глазах начала стареть, морщинясь и плюясь гнилыми зубами. Косу она воткнула косовищем в высокую грядку и потянулась крючковатыми руками к телу Поганюка.

— По-о-длая у тебя душонка, Вася, Васька Поганюк. – И она погрузила руки в грудную клетку своей очередной жертвы, потихоньку сжимая его трепетное сердце.

— Ккак же больно! Как бо…— стонал слабо Поганюк, валясь и выбивая ногами из земли клубни молодой картошки. – Не-уже-ли это со мной. Ой, бля…

Он терял сознание, а когда душа обрывала последние нити с его плотью, то он испытал многократный ярчайший оргазм, неописуемый и ни с чем не сравнимый. Это был последний аккорд его грешного плотского состояния. А потом зазвучала торжествующая небесная мелодия, и он устремился ввысь подальше от жалких земных забот. С высоты он видел себя лежащего в картофельной грядке. Смерти рядом уже не было. Он уже был в бессмертии. Ещё он видел, как его тело обнаружила Ксения. Она заламывала кверху руки и выла по-собачьи.

Хоть и тоскливо было Поганюку, но небесная музыка забирала всё его сознание, обволакивая душу торжеством вечной жизни с её бесконечными радостями, а может и вечной печалью для его души, если она не будет прощена. Как знать.

ВСЯКОЕ БЫВАЕТ

На любой работе бывают казусы, да и не только, по пустякам даже – полез ты в карман, к примеру, а он дырявый. Казус? Ещё какой! А если там ещё что-то лежало, типа – зарплаты, пусть и скромная, то казус вдвойне. Но скажу для уточнения, неприятности, то бишь казусы, по степени воздействия на организм бывают всё-таки разные. Подумаешь – дырка в кармане... а если у тебя что-нибудь посерьёзнее – увели, допустим что-то, ноги приставили, понимаешь, а ты за это ответственный... То-то же.

Обычно по-крупному воруют на работе. Ну про министров и прочих там чиновников – всё понятно, они потому и приставлены к добру, чтобы время от времени греть руки ... Нам, конечно, не до них, но мы по-своему умеем – и тоже неплохо получается.

Вот какой казус вышел у одного мужика на работе.

Устроился он охранником и сидит себе охраняет, ну и лежит, как без этого, чего сидеть на выпучку, когда на объекте спокойно.

В общем охранял он добро молодой буржуазной демократии. Приставили его к этому добру и сказали: «Бди, и за это будешь получать кое- какую зарплату, чтобы ноги не протянуть в ожидании светлого будущего».

А мужик был не один. Их четверо было на этом объекте – через трое суток каждый заступал на смену.

И был там небольшой склад. Складишко. И в нём находилось всякое строительное барахло с лампочками и проводами. Вот такой был объект. Загляни, проверь склад и наблюдай, чтоб со стороны туда никто ненароком не заскочил.

В общем не работа, а малина.

И вот служит этот мужик честно, примет это добро по описи от своего коллеги и несёт службу. Товар весь налицо – беспокоиться нечего. Провода электрические в рулоны скрученные – двадцать штук – бухтами называются. Только стал мужик примечать, что эти бухты терять себя стали в объёме. А может, думает, так кажется. Ведь все двадцать так и лежат.

А когда через месяц пришли электрики за проводами, то очень удивились похудевшим бухтам. Ну не бухты, говорят, а какие-то шнурки в кружочек. А смена была как раз этого мужика. Вот он после этих слов и полез в пузырь:

— Но их же двадцать! Вот гляньте по описи.

— Двадцать-то двадцать, но больно уж они тощие,— говорят электрики. И стали они замерять провода. Замерили и позвали комиссию. Оказалось, если провода вытянуть в одну линию, то не хватает ровно шесть километров. И эту нехватку комиссия подтвердила.

У мужика нашего было такое состояние, что не опишешь словами. В общем он был удивлён и потрясён основательно.

И тогда он побежал к своим коллегам.

— Коллеги,— говорит он. – Как же это так получается: я не взял ни одного метра, а мне приписывают километры. Верните, пожалуйста, что украли.

Зареготали дружно коллеги:

— А тебе передавали двадцать бухт по описи?

— Да,— отвечает мужик,— но какие!?..

— А нас это не волнует, в твою смену это обнаружилось, вот и выкручивайся,— отвечают коллеги дыхнув на него спиртным перегаром.

Вот на этом и заканчивается эта история. Доверяй, как говорится, но проверяй.

Присудили мужику огромную сумму (провода медные трёхжильные – в цене большой)— пришлось ему домишко свой продать, чтобы не загреметь в каталажку. Жена, дети, конечно, воют – как же теперь без своего угла. Хорошо, что мужик тот в реку с горя не бросился, а взял ссуду под строительство и потихоньку вышел из сурового положения. Вот на таких ещё и держится наша земля.

А вот другой казус и тоже произошедший на охраняемом объекте.

Здесь мужик уже имел опыт охраны – был лицензированный и вследствие этого мог даже пальнуть из оружия, если оно полагалось на объекте. Ну, а данный объект особо важным не значился, и оружие, естественно не выдавалось, а ценности на этом объекте имелись, и вот охраняй, как хочешь… можешь голыми руками… а можешь и дубинкой, либо прутом металлическим бить, либо обороняться. Главное ведь всё-таки средство сообщения – телефон, полезли грабители, а ты: «Алё, милиция, сюда проникли подозрительные лица». И всё в порядке – схватят, и «посодют».

Мужик этот вроде не из робкого десятка был. Крепенький такой мужичок, спортивного вида. В армии служил, уже лет семь работал в охране, то есть с опытом человек, можно сказать, бесстрашный человек. А им, видать, уже некоторое время как завладело внутреннее беспокой-

ство. Он сам толком не понимал, что с ним происходит. Из нормального, уверенного в себе человека он становился каким-то нервным, дёрганым именно на работе.

Как приходит он на службу, так и становится нервным. Сменщика своего донимает одним и тем же: а не слышатся ли тому такие-то и такие-то новые звуки по ночам, да и стал придирчивым по всякому пустяку, что вот этот предмет лежал тогда здесь, а этот совсем в другом месте. В общем с мужиком стало твориться что-то неладное. Охранник, конечно, должен быть бдительным и запросто распознавать разные стуки, шорохи и природу их происхождения. Я бы сказал, охранник должен иметь музыкальный слух, ведь впотьмах на зрение шибко рассчитывать не приходится. Ну а наш мужик может как раз и обладал этим самым музыкальным слухом, да плюс ещё воображение богатое имел, вот и стало казаться… Может ему надо было как раз и уйти с охраны и удариться в музыку, но он откуда знал об этом божьем даре, да и мы, конечно, не будем утверждать, что потеряли второго Моцарта, поскольку никогда не услышим его выдающихся произведений. Но давайте откинем в сторону творческое начало и вникнем в суть происходящего.

А суть была прозаической: у этого мужика появилось стойкое навязчивое состояние лёгкого страха, которого у него раньше не наблюдалось. Скорее всего это состояние появилось от чрезмерного напряжения на работе, другие ведь спят, хоть за ноги тащи, а этот нет. И это, естественно, был результат переутомления за несколько лет этой работы. Ответственный он мужик был, ничего не скажешь. И овладевшее им беспокойство постепенно переросло в фобию.

А в последнюю ночь произошло с ним нечто совсем ужасное.

Утром, заступая на смену, он буквально затерроризировал слесаря и сварщика, которые производили ремонт огромных ворот для вывоза товара. Он стоял у них за спиной и беспрестанно нудил, чтобы те не забыли вварить к ночи замок.

— Да как же!? – возмущался поддатый сварной, – мы для этого здесь и находимся, чтобы всё сладить.

Не сладили. Замок так и не поставили к ночи, то ли по размеру он не подошёл, то ли ещё чего… И заподозрилось нашему охраннику, что не зря всё это. Раз не вставили – значит это кому-то нужно. И хотя изнутри рабочие замотали основательно ворота толстой проволокой, ощущение беспокойства у мужика усилилось вдвойне.

Не успело зайти солнце, как ему уже стало казаться, что кто-то готовится к очередной противоправной пакости и уже стоит где-то на углу, ожидая темноты. Но даже если бы это было и так, то всё равно этому нервному охраннику нужно было держать себя в руках. Ведь объект находится в центре шумного и освещенного города. Через витринное стекло вся улица на обозрении: транспорт туда-сюда раскатывает, автоинспекторы палкой машут – деньги зарабатывают.

Нашему мужику вдруг так тошно и боязно стало, что он готов был хоть сейчас переквалифицироваться в инспектора: бросить пост к чёртовой матери, и на освещённую улицу…

Ещё вокруг гуляли пары, и он пристально в них всматривался: эти ли будут взламывать дверь его объекта, или вон те подпитые и крикливые.

Ближе к полуночи его начал бить лёгкий озноб, поскольку он так и не смог внутренне разгрузиться, и всё его внимание, как и прежде, было сконцентрировано на злополучных воротах: прочна ли проволока, и не подмотать ли ещё.

Он хотел подойти к воротам и проверить ещё раз надёжность крепления, но, к своему удивлению, не смог сдвинуться с места, поскольку весь превратился в слуховой орган, а любое его движение вызовет лишние звуки под которые в это время кто-нибудь подстроится для злонамеренных действий (так ему казалось). Он понимал, что бояться в общем-то глупо, что это такая же ночь, как и все предыдущие, и не должно быть места чувству страха, ведь семь лет назад, заступая на своё первое дежурство, он испытывал только лишь лёгкое волнение от новизны работы.

В общем, этот молодой крепенький мужик застыл, словно мешок цемента после дождя, и только ворочает глазами по сторонам да напряженно вслушивается во всевозможные звуки.

Неизвестно, сколько времени он простоял не шелохнувшись. Уже и последние трамваи отгрохотали, лишь иногда шумели шиной запоздалые автомобили. Это было время глубокой ночи, но звуки городской жизни всё же доносились, и они наполняли необъяснимой жутью всё его существо. И вдруг…

Да, для него это было «вдруг»..., а на самом деле ничего особенного, просто неожиданно появилась она, кошечка из соседнего склада. Он знал эту кошечку, подкармливал её. Она приходила регулярно после полуночи и тёрлась о его ноги, выпрашивая съестное. И на этот раз она пришла и как всегда тонко и протяжно мяукнула.

И это «мяу» с огромной тенью животного, упавшей на стену, у которой притаился наш мужик, сделали своё дело: охранник пришёл в движение. Он громко вскрикнул «мамочка!» и бросился к выходу. Через минуту он уже мчался по освещённому проспекту, глубоко вобрав в плечи взлохмаченную голову.

Не знаю точно, где сейчас этот мужик. Скорее всего, в больнице нервишки лечит. В охрану он, конечно, больше никогда не пойдёт, разве что в инспектора дорожного движения, чего там... стой, да, маши палкой… Но это так только на первый взгляд кажется, а вдруг за рулём вооруженный преступник… Вот и опять казус, если нервы не выдержат, и побежит он снова по проспекту, но уже при погонах и с полосатой палкой в руке.

А вот ещё про одного мужика – охранника, то бишь.

Ну, это просто несчастный случай, от которого никто не застрахован, и тоже произошедший на охраняемом объекте.

Нет, не случай – катастрофа.

Но, сначала.

Некто Паркетов С. пошел на пенсию. Рано пошел – шахтёр он – силикоз там и прочее…

Ну пошел он на пенсию и стал попивать. Часто он это делал. Не успеет отойти от очередного запоя, как тут же ударялся в следующий. Жена просто за голову схватилась – хоть опять его туда… в преисподнюю… в шахту. Там, в земном чреве, если он и принимал иногда на грудь, по слухам, но зато она этого не видела. А тут весь он, без прикрас.

Вот жена и говорит этому чрезмерно пьющему пенсионеру:

— Дорогой, а может мы себе машинёшку недорогую купим да и будем по грибы, ягоды ездить, глядишь не так к выпивке тянуть будет.

Паркетов тут же согласился и перестал на какое-то время в стакан заглядывать. Супруженция просто не нарадуется новому его качеству. Месяца два не пил Паркетов, а потом вновь стал водочкой баловаться: жена пока лесным дарам на поляне кланяется, а благоверный в это время в багажник нырял и через какое-то время раздавалась в лесу громкая песня где шумел камыш и гнулись деревья.

Забрала баба у него ключи от автомобиля и опять схватилась за голову. Паркетов же оправдывался, опрокидывая очередной шкалик:

— Ты понимаешь, дорогая, гены у меня ненормальные какие-то. Вот не пью неделю, другую, а потом ка-а-ак засосёт!.. вот тут, – и он тыкал заскорузлым прокуренным пальцем в свою широкую грудь,— ген-ны...

они спиртного требуют… Папанька мой покойный пил, дед пил – ох, и пи-и-ил, говорят, братовья пили – царство им небесное, а вот прадед... не знаю.

В общем, он своей бабе дал понять, что вся беда в этих генах.

Это они, гены, по отцовской, а может и материнской линии, в виде многочисленной давно усопшей родни, стучатся в душу Паркетова и требуют: «Пи-и-ить, пи-и-ить! Ублажи нас, Паркетушка».

И приходилось ублажать. У кого гены вот такого пошиба, тот знает, что это такое – ежели вовремя не зальёшь этот пожар, то растерзает тебя эта родня в виде малюсеньких и зловредных генов. Не ублажи их вовремя – мучиться будешь страшной сухостью во рту, частым сердцебиением и певучими соплями в носу.

И вот решила тогда его дражайшая половина вытурить этого алкоголика вновь на работу, чтоб остепенился.

И так оказался Паркетов в охране. А почему бы и нет. Мужик при теле, крупный. В космонавты он уже по возрасту не годится и по профзаболеванию, а в сторожа можно, тем более эта работа не физическая.

И до того понравилась Паркетову эта работа, что он стал очень часто на ней задерживаться, аж до следующей своей смены. Руководство охранного предприятия как-то особо не проверяло этот объект и не принюхивалось к сторожам, потому Паркетов и не был долгое время уличён в своем грехопадении, мало того, он попросился работать в две смены, а по мере того, как дома стали назревать скандалы вплоть до развода, то он и вовсе перестал домой ходить, а жил в буквальном смысле на работе.

Жена, видя сложившуюся ситуацию, махнула на это рукой и появлялась у своего муженька исключительно в дни выдачи его заработной платы… Но когда она обнаружила в его каморке дамские принадлежности, то тут же подала на развод.

Вот так и покатилась жизнь Паркетова под уклон, но его это, видать, вполне устраивало, да настолько, что он перестал мыться и бриться.

Но однажды…

Конечно же, начальство вскоре обратило своё пристальное внимание на этого странного охранника, грязного, обросшего и дурно пахнущего. Как ни божился Паркетов, как ни умолял руководство охранной фирмы, что непременно бросит пить и будет регулярно умывать свою физию, а также и брить её – ему не поверили.

Не поверила ему и бывшая супруга, у которой он слёзно просил прощения.

Болтается где-то теперь Паркетов, а может, и в охране пристроился опять, но это же временно, с испытательным сроком, которого он не выдержит, ведь репутация вот она – вся на морде «не пьян, как говорится, но водкою разит.»

Так что охрана, с одной стороны, сильно расхолаживает человека, но с другой стороны – дисциплинирует. И всё-таки, как ни крути – это работа, хотя вроде и ничего не делаешь. Попробуйте и убедитесь сами, только не наступайте на горячие следы Паркетова.

ТРИ ТОПОЛЯ

Кто не бывал в тайге, тот может её представить. Собственно чего там особенного? Ёлки-палки, грибочки, ягоды, мох и опрелости. Ну ты, брат, даёшь! – скажут. Да это же просто лес! Да и не лес вовсе, а так – три тополя на Плющихе. Про лес говорить даже не пристало, как будто деревьев никто не видел, а вот тайга…

Тайга – это отдельно взятый материк. Через лес может кто-то пробежать ненароком, пошастать слегка и, убедившись, что делать там абсолютно нечего, опять уйти в необозримые просторы, то бишь в голубую тайгу.

Тайга – это, во-первых, дом для всякой живности. Это особый мир со своей иерархией в фауне и флоре. Там полное ощущение свободы и безответственности для существа разумного, по крайней мере, так ему кажется. Попадая в тайгу умышленным образом, ты хозяин положения. Ты президент этой огромной кладовой природы. Тебе нет дела до любимой конституции и мудрого правительства. Тебе самому хочется поруководить. Походить по тем местам, где ещё никто не бывал – не проходил, не проползал, не пролетал. Не наступал своею грязной ногою на первозданную землю и не ломал наглой рукою ветку рябины, калины, черёмухи, боярышника.

В тайге всё интересно, и чем дальше, тем таинственней, любопытней. Тяжело тому, кто случайно попал в тайгу. Сбросили, представьте, легкомысленного француза в сибирскую тайгу… На парашюте его сбросили, да ещё с мешком провизии. Он ещё в воздухе орать начнёт, француз этот. Орать будет не оттого, что парашют вдруг не раскроется, хотя и запасной, допустим, у него имеется, а оттого, что под ногами у него безбрежное море тайги и ни одного населённого пункта, только тайга от края и да края.

Одинаково тяжело и тому, кто заблудился нечаянно. Ходил, ходил человек по знакомым местам и вдруг на тебе: где же отчий дом? В какой стороне?

Страшновато становится такому гражданину, но в отличие от истеричного француза начнёт сразу же ориентироваться по каким-то особым приметам. Блуждает тот человек долго, организм истощается, хорошо, если сезон ягоды и грибов, к примеру, – то ещё можно блуждать, пока не помрёшь от старости, или зверь лютый не задерёт. Но такой коренной сибиряк, в отличие от вышеупомянутого иностранца дольше протянет, больше красот таёжных насмотрится. А француз, что? Француз как приземлится на парашюте, слава Богу, если на полянку, так и отключится сердечный, пока его мешок, за ним же летящий, не приведёт его в чувство.

Очнувшись, он начнёт озираться, компас тупо будет рассматривать. Поест, поспит и опять орать начнёт. И так до тех пор, пока его геологи не обнаружат, или опять же лютый зверь…

Да, тайга шибко не расположена к тем, кто в её лоно бесцеремонно вторгается, особенно если индивид там пакостить начнёт… Тайгу понимать надо, любить. И всяк, кто погуливает в ней, должен помнить об этом.

Некто Гусынин из деревни Дрёмовка любил шастать по таёжным тропкам: грибочки, клюкву, бруснику собирать. А иногда просто так побродить – душу отвести – морду соседскую пьяную чтоб не видеть, да и не только – бывает просто на душе, беспричинно, вдруг станет настолько отвратительно, что удавился бы... вот и лечит тайга своим лесным бальзамом и человек радуется, разговаривая с птичками, цветочками.

Да не только Гусынин: вся деревня от мала и до велика бродила по лесным окрестностям. Пропадали, бывало. Кого отыскивали еле живого, а кого и по сей день ищут. В самые дебри никто из спасателей не решался проникать – дело это не шутейное. Да и человек местный, абориген, то бишь, не должен далече забираться: как-то должен он «дым отечества» по нюху опознавать – с какой стороны он тянет. Ан нет, отказывало чутьё аборигену иногда, вот и того… Про француза, конечно, мы уже речи и не ведём. Мы теперь поговорим о том, как же это наш Гусынин, местный человек, знаток зелёного шума, мог заблудиться. Да, честно сказать, он и сам в это не поверил.

А дело было так: собирает он, значит, костянику и в пластиковую бутылку проталкивает по ягодке. Быстро, разумеется, не наполнишь по-

луторалитровую ёмкость, поскольку ягода эта маленькая, но полезная – от анемии она. Есть ли анемия у Гусынина, он не знал, но дело всё же не в медицине, а в том, что любая лесная ягода привлекательна своей халявостью, наклоняйся только и бери сколько сможешь. Вот и брал потихоньку Гусынин, а через какое-то время взопрел: духота потому что, да и мошка одолевает – в глаза, нос, уши норовит попасть, а чего ей там надо – неизвестно.

Сидит Гусынин на пне отмахивается от мелкой твари веточкой смородины и размышляет о бренности всего сущего.

Размышляет о том, что хорошо бы ему, Гусынину, побыть птичкой после смерти, к примеру, клестом там, дятлом и прочим пернатым, полетать, поглядеть, что и почему, или вон опёнком на пне поторчать, или той же мошкой… Нет, нет, только не мошкой!..

А может он, Гусынин, после смерти вон в этот мощный кедр преобразуется. Конечно же, лучше быть кедром, чем опёнком или птичкой – кедр он долго живёт. Как долго он живёт, Гусынин не знал, но предполагал, что дольше жизни человеческой. Даже вздохнул тяжко Гусынин – взгрустнулось по годам уходящим. Не должен же он, однако, бесследно исчезнуть, и лучше всё-таки быть деревом, чем вообще не быть. Не быть, не существовать, это страшно.

Вот, думает он так, и вдруг краем глаза замечает, что мимо него проходит стадо бизонов. Пригляделся – вовсе не бизоны, откуда им здесь быть, а просто три домашних телка бредут, смачно поедаючи на ходу буйную растительность.

Видит он, значит, их и тут же переключает своё размышление на этих телят. Вот, думает, на глазах существенное отличие от кедра: с ногами, головой, туловищем. Оно передвигается туда, куда ему надо, не то, что дерево. Дерево стоит и многого не видит, да у дерева и глаз-то нет… Не захотелось Гусынину после смерти быть деревом, лучше, конечно, вон тем бычком, молодым и здоровым. Природа, она умна, думалось ему, и не позволит дважды быть человеком. «Уж лучше ты, Гусынин,— скажет она,— побудь бычком или лошадью, выбирай».

После некоторых раздумий он всё же выбрал бычка, но потом спохватился, поскольку долгожительство по его понятию является самым главным, тем более неизвестно, сколько бычок, будучи уже быком, сможет протянуть. Если он будет быком-производителем, то это очень даже сносно: значит он проживёт достаточно долго, сытно и в любовных утехах. А ежели он будет обыкновенным быком, то ему скорее всего через

год, полтора, выдадут путёвку на мясокомбинат. Вот так размышлял Гусынин. И пока он размышлял, то двое бычков и маленькая тёлочка уже прошли мимо него, шумно хватая влажными губами аппетитную зелень. Гусынин отметил, что телята неплохо выглядят и что к осени наберут хороший вес. И ещё он обрадовался, что сейчас встретится с пастухом и попросит у того папироску.

Но пастух не появлялся, и Гусынин даже расстроился. Потом у него начало появляться какое-то странное ощущение по поводу этих телят. Ощущения постепенно превратились в чёткую мысль. Нехорошую мысль. Примерно такую: «Возьми, да и того... коль они бесхозные». Он даже испугался такой мысли, потом пришел в страшное волнение и ноги его сами последовали за стадом. Гусынин прикинул, что находится в километрах трёх от деревни и живность чья-нибудь довольно редко забредала в такие места. В основном деревенское стадо паслось на открытых местах у реки.

«А может, эти телята вовсе не из нашего села, а из ближайшего Подонино,— засверлило в голове у него. – И куда ж эта божья тварь прётся? Не заблудилась ли? Надо бы завернуть их к трассе да и крикнуть там. Крикнуть громко: Эй, мужики, бабы, чьи это…» А голос ему внутренний: «Ду-у-рак, ду-у-рак ты, Гусынин…»

Остановился тут он, головой повертел и на всякий случай громко прокричал:

— Эй, здесь есть кто-нибудь?

Тишина, только мухва бзыкает, да где-то дятел дробно урабатывается. А стадо всё глубже в тайгу проникает. Напрягся Гусынин, стал соображать быстро: «Ухайдокаю, однако, одного, не убудет… что ж я не чело… Да что это со мной происходит? Как же это… Нет, нет!» А рука у него уже сама за голенище сапога залезла, нож складной нащупала.

Никогда ещё в жизни не пакостил Гусынин. Жил мирно, помогал даже, кто в беде оказывался. Сочувствовал. А тут что-то нашло…

Побежал он за телятами, словно зверь какой, и стал внимательно присматриваться к животине. Двум бычкам было, по его прикиду, месяцев по семь, а тёлочке пять, шесть. Все они были белыми с чёрными пятнами, а может и чёрными, но с белыми пятнами – Гусынин не определял это. Он определял свои физические возможности: справится ли он с бычком своим небольшим ножом и небольшим здоровьем? Навряд ли. А вот с тёлочкой, да. Он её схватит левой рукой за морду, зажмёт голову

под мышку и будет поворачивать её набок клоня к земле, а правой перережет горло.

Выбор пал. Он уже представлял, как положит в рюкзак ляжку, а может и две и по тёмному придёт домой, а если ещё будут силы, то вернётся и за остальным мясом. «Ведь ничейное, ничейное…— стучало у него в мозгу,— всё равно ведь пропадут в тайге. Не волки, так другой кто…»

Всё вроде было продумано и взвешено, но он почему-то всё не решался на отчаянный поступок, а всё шел и шел за пасущимися животными. То ли он всё прислушивался к своему внутреннему голосу, чтобы окончательно убедиться в принятом решении. Но голос молчал. А стадо всё глубже и глубже забиралось в тайгу.

Наконец, Гусынин, набравшись храбрости, зашёл сбоку к телушке и до боли в суставах сжал свой узенький нож складень. Но когда он сделал резкое движение к молоденькой пеструшке, та вдруг резко отпрянула в сторону и, оббежав Гусынина, пристроилась к бычкам с другой стороны. Гусынин подумал, что лучше всего для начала отбить тёлочку от её крепеньких друзей, а то вдруг бычки из чувства солидарности набросятся на него своими короткими, но крепкими рожками.

«Отбить от ос-таль-ных», — повторял он членораздельно, твёрдо и стал попавшеюся под руку корягой отгонять тёлку в сторону. Но та с завидным упрямством, несмотря на побои, рвалась к своим собратьям, словно ища у них защиты.

Гусынина била дрожь от гнева и страха. Он не знал, что последний уже полностью завладевал им. Страх был перед исполнением преступления, а также уже неведомого ему таёжного места. Полчаса назад он ещё улавливал краем уха шум машин, пробегающих по шоссе в стороне от деревни, но тот вскоре исчез, и место нахождения его жилища было уже неизвестным. «Ничего, ничего»,— подбадривал он себя, шагая уже не столь твёрдой поступью за животными.

Совершить задуманное он так и не решался. Но он продолжал всё же идти за ними, не зная почему. Он осознавал, что стадо бредёт просто так – без цели. К ночи они пресытятся и лягут отдыхать. А Гусынин? Гусынин же будет маяться. Он существо разумное – ему свойственно дрожать от страха, который уже забирался в его плоть и заявлял о себе всё больше и больше.

Гусынин отстал от стада, решаясь по следам вернуться назад, и к его радости, какое-то время он достаточно уверенно шагал в обратном на-

правлении, но ближе к вечеру в тёмном и сыром логу, с трудом раздвигая плотную стену кипрея и таволги, он сбился со следа.

Растительность казалась нетронутой, но опытный взгляд Гусынина определил, что следы животных пересекались со множеством других похожих следов. Это обстоятельство сильно взволновало его. Определяя количество веток на соснах, дабы опознать стороны света, он быстро пришел к великому разочарованию, поскольку веток было в одинаковом количестве со всех сторон, даже попадавшиеся муравейники у стволов деревьев находились, казалось ему, не с южной стороны, а где им заблагорассудится «Не может такого быть!»— восклицал он в сердцах. Но природа, видать, взбунтовалась, не давая ему никаких шансов на выживание. Она сурово смотрела в испуганные глаза Гусынина и мертвяще холодным опахалом под скрип вековых сосен и кедров леденила ему душу.

Всю ночь метался Гусынин по заросшему высокой травой логу и не мог оттуда выбраться. Иногда ему удавалось видеть луну сквозь густую крону деревьев, она скалила зубы и обливала его холодным зелёным светом.

Ещё много дней и ночей, питаясь ягодой и чёрт знает чем, блуждал Гусынин в сырой и тёмной тайге, распугивая дикими воплями всё живое. Он так и не выбрался. Исчез. Пропал Гусынин: не вышел к своей деревне, да и не к своей тоже. Заблудился основательно – жадность погубила. Но ведь абориген он – вроде бы знал, что такое тайга… И отец его аборигеном был, и дед, может и прадед. Но что поделаешь, на то она и тайга. Вот когда её всю повырубят... а пока – нет…

Она, кстати, не имеет абсолютно никакого отношения к человеку. Она сама по себе, а человек сам по себе… но коль надумал «царь природы» посетить таёжную красавицу, запоминай, которой дорожкой в гости ходишь.

Всё.

ГАСТРОЛИ

Он зашел в свой номер и тут же заперся изнутри. Хотелось упасть на кровать и ничего не слышать, не видеть. Но не тут-то было… Тяжелая серая портьера вдруг глуховато, по-старчески кашлянула.

Хозяин номера, высокий, лобастый и сильный мужчина, вздрогнул:

— Кто здесь?

— Портьера молчала.

Лобастый присел на скрипучую кровать.

— Здесь кто-то есть? – переспросил он строго.

Портьера шевельнулась.

— Есть.

— Кто есть?

— Иван Егорыч,— задвигалась портьера.

— Ха-ха!.. Забавно! – лобастому стало смешно. Он откинулся на тощую подушку, заломив сильные руки за голову. – Иван Егорыч, говоришь? Ну здравствуй, Иван Егорыч, коль не шутишь.

— Здравствуйте, Семен Васильевич,— глухо донеслось от окна.

— Да, да, не мудрено, что ты знаешь моё имя. Ты, небось, был на моём творческом вечере, а потом прибежал сюда первым. А как ты попал в номер? И зачем ты это сделал?

— У меня не было другой возможности поговорить с вами.

— Ну, давай тогда и поговорим. Но для начала нужно показаться, Иван Егорыч.

Он показался.

Это был плюгавенький мужичок, росточком, что называется, метр с кепкой в прыжке. У него была длинная белая борода, почти до пояса, лежащая широкой лопатой на сером поношенном пальто. Обут он был в огромные кирзовые сапоги, которые, по всей видимости, ему ног не жали, даже если представить, что они раз на шесть обмотаны портянкой.

Лицо его было маленьким, с крупным вздёрнутым носом и глубоко сидящими глазками-пуговицами.

Представившийся Иваном Егоровичем, виновато улыбнулся, потом, спохватившись, резко содрал с головы старую кроличью шапку.

Лобастый, он же Семён Васильевич, и он же заезжая знаменитость эстрадного жанра, привстал с кровати, с изумлением разглядывая чудо-незнакомца. Он был поражен несуразностью его общего вида, но когда с того слетела шапка и нервно затеребилась в коротких и узловатых пальцах, то знаменитость была поражена окончательно. То, что скрадывала под собой шапка, трудно было назвать какой-либо причёской: на плечи и лицо упала копна рыжих, свалявшихся волос, что сделало незнакомца совсем непривлекательным, даже страшным.

— Го-о-осподи!.. – прошептал Семён Васильевич. – Да откуда ты такой взялся?

— Из Лопатниково я,— растерянно прошамкал тот и разгрёб на лице рыжие пряди.

Знаменитость смотрела неотрывно в его маленькие глазки и не знала, что предпринять: выпроводить из номера или продолжать глупый разговор. Хозяин номера подошел к раковине и, шумно сполоснув лицо, присел снова на кровать. Ему казалось, что он спит, и наваждение в виде мужичка-боровичка не более как сон.

— Так, так,— Семён Васильевич растёр полотенцем до бордового цвета лицо, потом, швырнув его на тумбочку, продолжил. – Говоришь из Лопатниково ты. И зовут тебя Иваном Егоровичем, да?

— Да,— уже смелее и твёрже ответил нежданный гость. – Я того... скульптор, местный.

— Ха-ха-ха! – разразился гомерическим смехом Семён Васильевич. – Это что же ты ваяешь в своём захолустье? И почему-то я в вашем райцентре не видел ни одной скульптуры.

— А я их в Лопатниково ставлю. – невозмутимо ответил Иван Егорович и, подойдя к стоящему у двери стулу, вопрошающе посмотрел на артиста.

— Валяй, валяй. Падай. В ногах правды нет. – Знаменитость вытащила из кармана пиджака огромную чёрную трубку и, ловко набив её табаком, запыхтела. Взглянув через завесу табачного дыма, Семён Васильевич заметил, как у скульптора вдруг загорелись глаза.

Мужичок привстал со стула и, грохоча сапогами, забегал вокруг артиста, разглядывая его в анфас и в профиль.

— Ну точно, точно я схватил вас! — Заверещал от радости местный плюгавенький ваятель. – Именно вот так! С этой большой трубкой у рта, которая сейчас в левой руке у вас и с поднятым указательным пальцем!

Семён Васильевич удивлённо рассматривал снующего вокруг него маленького волосатого человечка, потом резко поднялся с кровати и подошел к окну. Там вечерело и шел густой снег. Потом он так же резко повернулся к беспокойному маленькому созданию, которое почуяв недоброе в нему отношение, стояло растерянно у двери. Рыжему ваятелю, видать, было совсем неловко, и потому его рваная шапчонка задёргалась в руках с новой силой, готовая вот-вот превратиться в пух и прах.

— Вам пора в Лопатниково,— тихо вымолвил артист, исподлобья расстреливая своим тяжелым взглядом мужичка. Потом видя его полное замешательство, так же тихо добавил,— темнеет, да и я устал.

Иван Егорович на полусогнутых, как бы крадучись, подошел к окну и кивнул косматой головой в сторону входа в гостиницу, где что-то темнело под пышной шапкой снега:

— А у меня свой транспорт, я завсегда успею.

Хозяин номера прищурил глаза, высматривая вид транспорта, хотя ему было всё равно, на чём уберётся этот назойливый человек.

— «Москвич?» – равнодушно спросил он.

— «Запорожец»,— поправил ваятель.

— М-да... Ну и с богом! – Семён Васильевич подал ему сильную руку,— в такой снегопад и занесло ведь тебя.

— Се-мён Василь-е-евич! – почти простонал вечерний посетитель,— поехали со мной! У меня и переночуешь. Покажу с утра твою скульптуру. – Он затараторил, боясь, что ему не дадут договорить. – Я с большим уважением отношусь к вашему творчеству, да и все в нашем селе очень… очень уважают вас!

Артист, Семён Васильевич, не ожидал такого оборота и обалдело, с непониманием и недоверием смотрел на Ивана Егоровича.

— Мне? Мне ехать в Лопатниково?

— Да, да. Я обещал сельчанам, что обязательно вас привезу. Вы же не откажете, да?

— Да как вы могли обещать такое, не спросивши у меня! Тем более в ночь. В снегопад. На «запорожце» в какое-то Лопатниково!? Нет-нет, оставьте меня в покое! Я попрошу... попрошу вас немедленно покинуть мой номер!

Он отвернулся от навязчивого скульптора, нервно посасывая свою уже потухшую трубку. Он чувствовал разочарование мужичка-боровичка по его частому и шумному дыханию. Потом раздался грохот кирзовых сапог и скрип закрываемой двери номера.

Артист не обернулся. Он смотрел в окно, надеясь увидеть свего позднего гостя отъезжавшим на своем допотопном авто. Но прошло около пяти минут, а Иван Егорович не появился в белом мареве снегопада.

Прикурив опять трубку, он попыхтел ею и, накинув на плечи толстую сентипоновую куртку, прошел мимо сонной вахтёрши.

На крыльце, притулившись к деревянной стойке, чадил козьей ножкой Иван Егорович. Артист не удивился этому. Иван Егорович молчал и даже не повернулся в его сторону.

— А бензина-то хватит до Лопатниково? – спросил как бы между прочим Семён Васильевич.

— Ещё как хватит! – радостно воскликнул загрустивший было мужичок-боровичок. – Тут всего-то пятнадцать километров до нас. А у меня почти полный бак.

— Ну тогда подожди меня,— улыбаясь, сказал Семён Васильевич и крепко хлопнул по плечу зануду.

Вскоре они пробивались на тесном «запорожце» сквозь густые ослепительно белые хлопья снега, высвечиваемые глазами машины. Семён Васильевич ничего не видел перед собой, кроме этих густых хлопьев, и поражался, как этот пигалица-скульптор что-то ещё пытается рассмотреть за стеклом, кроме летящих кусков снежной ваты. Иногда казалось, что автомобиль стоит на месте, а снег налетает на него с яростью, но только надрывный гул мотора да подбрасывание на ухабах подтверждали, что транспорт всё-таки передвигается.

Они ехали уже около получаса почти в никуда, так, по крайней мере, казалось Семёну Васильевичу, и вдруг «запорожец» начал чихать и громоподобно выстреливать. Иван Егорович залез под капот и, подсвечивая переноской, отвинтил карбюратор. Вскоре он вновь его привинтил и потирая озябшие ладошки, заскочил в чрево старенького авто.

Они не доехали до Лопатниково: ветер всё усиливался и снег просто захлёстывал белой плетью самоходный аппарат Ивана Егоровича, норовя его опрокинуть, а то и размочалить вкрай, и в итоге они залетели в огромный вал снега, который проглотил их полностью.

Первым выбрался Семён Васильевич, и только благодаря своей недюжинной силе, буквально с мясом выдрал двери «запорожца» и разгрёб проход в толстой стене снега. Через это отверстие он выволок и Ивана Егоровича. Тот охал и бесконечно оправдывался:

— Я ж сколько лет по этой трассе, и ни разу… Нам бы раскопать его, вытащить.

Артист встревожился не на шутку.

— Мы его, Иван Егорыч, не сможем вытащить. Давай-ка лучше будем определяться, где твоя деревня.

— Да до неё рукой подать! Вот тут она – в той стороне, а может…— он натянул поглубже кроличью шапку,— а может и в этой... стороне.

Их задувал ветер. Холодало, и снег уже не был липким. Он был колючим и больно стегал по лицу и рукам.

— Да-а, ситуация! – воскликнул удручённо Семён Васильевич. – Так что же мы будем делать, господин скульптор, а? Охранять твою машину или всё-таки идти?

— Идти? – растерянно переспросил водитель «запорожца».

— Да, идти.

— Щас... щас я прикину... Вы, Семен Васильевич, маленько погодьте, а я отойду немного: разберусь что и куда.

— Давай, давай! Только недолго! – прокричал ему вослед артист. – Я здесь буду ждать.

Несчастный и уже озябший Семен Васильевич завертелся вокруг себя, притопывая ногами, чтобы взбодриться, кровь разогнать.

Он видел краем глаза удаляющуюся тёмную фигуру деревенского скульптора, которая быстро утонула в белой пучине.

Прошло минут пятнадцать, а Иван Егорович всё не возвращался, и артист смело шагнул за ним в подвывающую пустоту. Вскоре он уже потерял всякие ориентиры и мог положиться только на свою физическую силу и выносливость, отыскивая своего незадачливого напарника. Выбиваясь из сил, он уже целый час бороздил белые просторы, увязая порой по самый пояс, но ничего не находил: ни человека, ни дерева, ни даже одинокой былинки.

Каким-то чудом Семен Васильевич вышел опять к месту аварии. Запорожец появился внезапно, вернее его задняя часть, торчащая из сугроба. Он взволнованно ощупал его до мелких деталей, словно это было что-то самое дорогое, долгожданное, и ахнул: из-под задних колёс торчали кирзовые сапоги, а сам хозяин сапог был под машиной. Он забрался туда видать от ветра и потихоньку замерзал.

Вытащив за ноги Ивана Егоровича, артист взял его в охапку, как куль, и пошёл не разбирая дороги.

Рано утром в дверь крайней избы села Лопатниково кто-то громко, требовательно постучал. Хозяева испуганно отворили дверь и вместе с яростным порывом ветра в избу тяжело ввалилась заиндевевшая масса двух человеческих тел.

Прошло несколько дней. Семен Васильевич не торопился отъезжать. Он с тревогой посматривал на забинтованные руки ещё температурящего ваятеля и нервно покуривал свою трубку.

— Зря я так... – кряхтел лежащий,— не надо было тогда вас беспокоить, и ничего не вышло б.

— Ну, ну, не будем. Ничего страшного – выжили. А раз выжили, то значит будем и дальше жить. – Семен Васильевич улыбался при этом. – Я вот еще немного побуду с тобой и домой тогда.

Иван Егорович прослезился.

— Хватит, хватит мокроту разводить. Давай-ка лучше я тебе дам свою трубку пососать. – И он совал в рот несчастному свою огромную черную трубку. Тот улыбаясь затягивался и покашливая спрашивал:

— А скульптуру-то надо будет посмотреть. Это здесь недалеко, у реки.

— Непременно посмотрим. Ты давай выздоравливай, а потом ко мне в Москву погостить приедешь. Ведь приедешь,а?

— Обязательно – цвёл больной.

— Только смотри не на «запорожце».

— Да ну его к бесу. – И Иван Егорович опять сладко затягивался дымом из знаменитой трубки. – А как вы думаете, Семен Васильевич, его не растащат до весны.

— Кого это?

— Да запорожца.

— Не бойся. Председатель с утра выехал за ним. Разгребут, пригонят. Ты не волнуйся, лежи. А я тебе сейчас чайку согрею.

КРЕПКОЕ КРЫЛО

Я летел в стае последним. Быть последним меня в общем-то не устраивало, но мои силы да и мой ничтожный опыт в преодолении огромных пространств не позволяли быть фаворитом. Я слаб здоровьем, и оно было у меня таковым от природы. Я, конечно же, смирился с тем, что кто-то должен быть слабее всех, но одновременно с этим внутри меня постоянно что-то протестовало: почему же я? Почему не кто-то другой? И раз мне выпала такая судьба – быть слабее кого-то, то я постоянно упражнялся, уделяя тренировкам всё своё время, отрывая его даже от сна. Может быть, я и неправильно поступал, насилуя свой организм, в то время, когда другие собратья предавались праздному ничегонеделанию.

Я вставал на заре и на час пропадал в прохладном молочном тумане, бегая на длинные дистанции и взбивая крыльями веера бодрящей росы с прибрежных трав. Я не пытался при этом подниматься вверх, поскольку считал, что одновременная работа ног и крыльев даёт мне лучшие результаты для укрепления здоровья. Я далеко убегал от места ночлега моей семьи, чтобы не мешать им видеть сладкие утренние сны, ведь хлопанье моих крыльев слышно было далеко окрест, а когда я переходил к

тренировкам на водной поверхности, то к обычному свистящему звуку крыльев добавлялось ещё звонкое, как пощечина, шлепанье лап о водную гладь озера.

Мне нравилась эта водная процедура. Я обычно откладывал её на десерт, потому что эти звуки ощущались мною аккордами, кульминацией моих утренних тренировок. Потом я встречал зарю, которая лениво окрашивала розовостью всё, что было мило моей душе и глазу. Природа трепетно радовалась встрече с солнцем и раскрывала бездонную синь неба, в которое уже давно заныривали всевозможные мелкие пташки, купаясь беспечно в этой лазури, и громко провозглашали начало дня . Выше всех забирался жаворонок и, зависая неподвижно, своею песнью проникал в душу всего живущего в этом подлунном мире.

Конечной процедурой утреннего моциона была чистка обмундирования, ведь не разложи по порядку каждое перо, даже самое маленькое, невозможно и надеяться на грациозность полёта перед той, которую я в нашей стае выделял особо. Но о ней чуть позже, хотя, забегая немного наперёд , скажу, что кто его знает, вёл бы я это повествование не будь в моей жизни этого нежного, великолепного по своей красоте создания.

И вот я спешу к своим собратьям, чтобы предстать перед их взором готовым к работе, связанной пусть пока и с небольшими перелётами. Спешу обратить ваше внимание на то, что наша жизнь ежедневно пополняется яркими впечатлениями от казалось бы привычного ландшафта. Я ещё молод, но мой взгляд отмечает множество изменений в растительном мире – это постепенное отмирание старого и появление нового, чему я постоянно удивляюсь – насколько же мудра природа. Очевидно это же и происходит с нами, ведь не зря наш вожак твердит, что он стар и что он обязательно передаст свою должность кому-нибудь из нас, кто помоложе, а значит и покрепче.

На роль вожака я, конечно, не гожусь по известной причине, хотя мой глаз довольно зоркий, и я легко распознаю местность, виденную мной раннее, как говорится, с птичьего полёта. Но что меня особенно отличает от остальных сородичей, то это моя способность чувствовать направление даже тогда, когда земля под нами устлана облаками. И это моё чутьё не раз отмечалось вожаком, но тем не менее я был обречён быть всегда последним, замыкающим. Моя неспособность держаться в воздухе так долго, сколько необходимо быть всей стае во время длительного перелёта, основательно подорвала доверие ко мне, как к чему-то путному.

Но меня никто и никогда не оставлял одиноким – ощущали боковым зрением, а то и обычным поворотом гибкой шеи, узревая мою состоятельность двигаться ещё, либо дать незапланированную передышку всей стае ради меня одного. Такое случалось... и тогда вся стая, видя, что я основательно выдохся, решала опускаться вниз, теряя драгоценную высоту, чтобы отдохнув, вновь двигаться дальше. А когда случались посадки для действительного отдыха или подкрепления пищей, то я всё равно нервничал и воспринимал это поблажкой для себя. Не сказать, что меня окружали лишь косые взгляды сородичей – все довольно нежно относились друг к другу, понимая нелёгкость кочевой жизни, но тем не менее я уязвлял сам себя, чувствуя свою физическую слабость. И вот однажды я решил изменить себя ежедневными, порой изматывающими тренировками, о чём я уже достаточно достоверно изложил. Очевидно, это дало определённый результат, поскольку в этом перелёте я чувствовал более уверенно, хотя как всегда летел последним.

Мы поднялись на заре и начали оглашать всё окрест своими возгласами и хлопаньем крыльев. Мы были страшно возбуждены от предстоящего перелёта, и наша громкая песнь была гимном, призывом, перекличкой: «Всё ли в порядке? Все ли здесь? Вперёд, друзья, вперёд!» Вожак оглядел нас строгим взглядом и, широко расправив крылья, оббежал нас, удостоверяясь в готовности к полёту, и, на секунду замерев, сделался гордым. Глаза его возбуждённо блестели, в них отражалась непоколебимая твёрдость принятого решения. Мы тоже замерли в тревожном ожидании, но через мгновение раздался его торжествующий клич, и он, разбежавшись по мелкой прибрежной гальке, легко, как и в молодости, оторвался от земли. Мы с криком последовали его примеру и, едва поднявшись над речным туманом, начали выстраиваться клином.

Я не спешил занимать место, в любом случае оно оставалось за мной, главное, чтобы в начале не отстать, выдерживая дистанцию. Здесь я хочу сделать некоторое уточнение: с правой стороны клина выстраивалась наша слабая и прекрасная половина, те, которым мы и посвящали свои песни, и благодаря которым ещё существует наше крылатое племя. Так было заведено, чтобы мы, летящие в левой части, постоянно держали их в поле зрения, чтобы в случае какой-либо неприятности быстро отреагировать на это. На левой стороне нас было шестеро, включая и вожака, а справа – пять. Поэтому наш клин выглядел несколько скособоченным и не представлялось бы это так странно, если бы в конце не было меня.

Я был как ненужный довесок к строгой симметрии, а порой и просто балласт, когда ради меня делали вынужденную посадку.

Я, рассекая грудью утренний туман, вынырнул наконец-то на божий свет и обнаружил, что немного задержался со взлётом, потому как до моего места в строю было метров пятнадцать, которые я не без труда тут же наверстал. В этом случае на меня сильного внимания не обращали – все тоже были небезгрешными – двое, следовавшие за вожаком, даже несколько раз задевая друг друга крылом, с трудом определились в строю, да и то потому, что первый ведомый, больно ущипнул другого, чтобы тот знал своё место.

Небо было удивительно чистым, оно тут же напоило наши глаза бездонной голубизной, и мы, дыша в полную грудь, радостно устремились за вожаком.

Я видел её. Она, вытянув шею и торопливо махая изящными крыльями, тоже заняла своё место в строю. Она летела последней в цепочке, и догляд за ней по приказу вожака осуществлял летящий передо мной широкозадый лимпопо. Правда, его вовсе не так кличут – это я окрестил его, первое что взбрело мне в голову из ревности к моей очаровашке. И я, пожалуй, чаще, чем он, держал её в поле зрения и даже невольно нарушал общий рисунок строя, всё больше прижимаясь к другой стороне. А когда меня основательно заносило к ней, то я слышал громкое шипение широкозадого и тут же возвращался на своё место.

Мне всё нравилось в ней, включая даже небольшое, как родинка, пятнышко на её длинной шее. Мне хотелось позвать её с собой, улететь совершенно в другое направление, а куда, я не имел никакого понятия на данный момент. Но она не баловала меня своим вниманием, всё больше посматривая на своего опекуна. Лишь один раз, когда я чуть не задел её своим крылом, она удивлённо обернулась, взглянув на меня, как на полоумного, слегка сбиваясь с ритма. На этот раз меня грозно окликнул вожак, и вся стая неодобрительно покосилась в мою сторону. Вожак ещё несколько раз оборачивался и, гневно сверля меня взглядом, упрекал: «Не вольничай, береги силы, которых у тебя…» И я, пристыженный, следовал за хвостом лимпопо, изучая основательно его зад. А ведь, действительно, он тяжеловат на эту часть – вон она как заныривает вниз, придавая всему телу продольную качку. Конечно же, он не самый сильный из моих собратьев, поскольку тоже тащится почти последним. Я мысленно представил широкозадого вожаком и то, как все остальные, из-за его медлительности наталкиваются на него, и что вместо десятид-

невного перелёта мы летим целый месяц, потому что «лимпопо» не задаёт нужного темпа в движении, и что все дела нашего семейства плачевны. Ведь на новом месте нам необходимо в срок вырастить детей, потом вновь отправиться в путь к тому месту откуда мы взяли этот старт.

При мысли о потомстве я печально посмотрел на свою избранницу, которая, вовсе не замечая меня, летела, о чем-то изредка перекликаясь с подругами. К сожалению, до этого я тоже не мог наладить с ней контакта, поскольку был занят своими тренировками, да и своё внимание, она, видать, предпочитала отдавать «лимпопо», а, может быть, мне так казалось, но, во всяком случае, я не сомневался, что мой соперник дышит к ней неровно.

Вспоминаю, как после вечерней кормёжки я отдыхал, покачиваясь на лёгкой речной волне, внезапно услышал лёгкий свист крыльев, и как кто-то мягко опустился впереди меня. Это была она. Я хотел к ней приблизиться, чтобы поболтать о погоде, но через мгновение к ней буквально свалился широкозадый, выписывая вокруг неё круги, напевая при этом что-то сердечное. И хотя они не видели меня в вечерней мгле, но всё равно поспешил удалиться, дабы не быть свидетелем чужих воздыханий. Мне было противно видеть широкозадого «лимпопо», как вроде только я имел исключительное право на её любовь. Но отдавала ли она ему своё предпочтение – неизвестно. Может, она ко всем равнодушна, включая и меня? И почему, собственно, она вошла в моё сердце? Своими печальными глазами? А, может они вовсе и не печальные – мне так кажется? Зачем ей печалиться в молодые годы, когда кругом столько неизведанных земных красот, да и лаской старших она не обделена. Эти и другие мысли занимали меня во время полёта.

Часов через шесть лёта вожак всё чаще оборачивался, оглядывая нас, как бы спрашивая: «Как вы себя чувствуете? Не пора ли отдохнуть?» Я же волновался, как дурак, хотя пока не ощущал признаков усталости,— видать, сказались мои утренние тренировки. Вот «лимпопо»— другое дело. Все видят, как он разорвал дистанцию между собой и ведущим, а я же стараюсь ни на метр не отстать, и то пространство впереди широкозадого по праву, я уверен, принадлежит теперь мне. И я не замедлил показать свои большие способности, обгоняя «лимпопо» виляя своим хвостом – подразнивая того. Он же пыхтел, злился, но я, зная своё место, отступил назад. Я показал ему, кто я такой, на что я способен. И я не ошибся в своих силах.

Когда наш отдых на сонном озере (мы так назвали его за необычайную тишину) подходил к концу, вожак громко объявил о том, что теперь я, в силу своих ярких возможностей, становлюсь в строй предпоследним. Я ликовал! Теперь последний «лимпопо»! А это значит, что и догляд за моей зазнобушкой полностью теперь ляжет на меня. Теперь я напротив неё, и вся её драгоценная жизнь принадлежит мне. За каждый вздох, за каждый взмах её крыла я несу ответственность. Я сильный!.. Соперник мой повержен! Теперь он будет в качестве балласта. Теперь на него с укоризной все будут глядеть.

Я торжествовал. Я летел и любовался своей избранницей, а она со скрытой благодарностью уже не печально (так мне казалось) посматривала на меня. А широкозадый «лимпопо» где-то пыхтел сзади. Я даже несколько раз помахал ему хвостом, на что тот отреагировал шипением. А ему больше ничего не оставалось, как шипеть и болтаться поплавком в небесах. Впрочем, я его теперь буду называть поплавком.

Но потихоньку у меня к нему начала проходить злоба. Я знал, каково быть последним – я это не раз испытывал во время полёта и полагаю, что и у других отношение к нему тоже не злобное, хотя жалость тоже не лучшее чувство.

Мы летели к намеченной цели уже четвёртые сутки, как вдруг с нами произошла беда. Неожиданно со стороны зарослей какого-то болота раздались гулкие хлопки и взвились струйки белого дыма. Мы ещё не успели набрать должной высоты, и потому наше нахождение в столь малом расстоянии от земли было чревато для жизни. Вожак что-то прокричал нам, но за бесперебойными и беспорядочными хлопками мы не поняли, что нам нужно предпринять. Я видел, как впереди летящий меня товарищ, вздрогнул от сильного удара снизу, потом его перевернуло и он, окрасившись в красный цвет, начал стремительно падать. В стае был переполох: наша слабая половина заметалась из стороны в сторону, да и левая сторона не знала, что делать, но строй ещё как-то поддерживала. Вожак тоже был в смятении. Он круто забирал вверх, насколько позволяли силы, и тут же пикировал уходя в сторону. Мы тоже пытались проделывать всевозможные финты, чтобы то убийственное, идущее снизу, не могло нас порешить в одночасье. Я краем глаза видел, как моя возлюбленная рванулась книзу, вроде там её ожидало спасение.

Я бросился ей наперерез, чтобы резко поднырнуть снизу и остановить её безумное падение. У меня это получилось. Мы вновь, напрягая силы, поднялись ввысь, и у меня мелькнула дерзкая мысль: забраться в

кучерявое облако. Хлопки всё также настойчиво продолжались, и я увидел, как ещё двое, поникнув головами и разбрасывая далеко в стороны пух, упали в болото.

Мы летели с ней, кружа в небольшом молочном пространстве облака, скрываясь от глаз наших убийц. Наверное, во всё облако было глупо стрелять, потому-то мы и были в относительной безопасности. Мы слышали между выстрелами голоса наших собратьев, и я, стараясь им помочь, неожиданно вылетал из облака, зазывая их к себе. Правда, за это мне пришлось лишиться части оперения хвоста. Вскоре всё стихло, и мы, вынырнув из облака, устремились ввысь зазывая всех. Нас осталось немного – добрая половина погибла. Вожак высоко оценил мою смекалку и храбрость. Он дал мне понять, что меня ожидает хорошее будущее и что он готов, буквально сейчас же передать мне бразды правления, если бы не мой пока ещё слабый опыт в навигации. Меня распирало от гордости, от похвалы, но я не подавал вида, и как можно было говорить о каком-то успехе, если пятеро из нас ушли в царство небытия.

Мы ночевали на высоком утёсе, грустя об ушедших. Море величаво вздымало свои волны, а потом безжалостно разбивало их о скалы. Я находился рядом со своей желанной и, легко касаясь её крылом, рассказывал ей о том, как я год назад, будучи на этой же скале, поранил грудь, упав во сне со скользкого камня. К нам подошёл поплавок(он остался в живых) и, с грустью выслушав мою смешную историю, сказал, что у него плохое предчувствие в связи с этим перелётом.. Мы как могли успокаивали его, говоря, что самое страшное уже позади.

Но мы ошибались.

Вечером, на исходе восьмых суток перелёта мы, изрядно подустав, решили опуститься до небольшой высоты над океаном, чтобы, таким образом, отдохнув немного, вновь устремиться дальше. Садиться на волны было бессмысленно – они яростно шумели от надвигающегося шторма и захлёстывали со злостью одна другую. Они были свирепы, как стая голодных псов, и поглотили бы любого из нас, вздумай только опуститься на кипящую гневом волну. Мы слишком поздно поняли, что наверху нам было гораздо спокойнее, но здесь…

Здесь было страшно. Стихия разыгралась в своём безумстве и мы слишком поздно поняли всю опасность своего поступка. Слишком поздно вожак заметил ревущую и бегущую на нас, словно сама смерть, огромную грозовую тучу.

Внезапно всё померкло перед глазами, и хлёсткий ливень с порывами ветра и раскатами грома обрушился на нас, обрекая на безысходность. Я видел, как впереди летящие птицы внезапно из больно стегающего ливня попали под выстрелы крупных градин. Они были настолько крупны, что, попадая на голову, насмерть могли убить любого. Это было ужасное зрелище. Вожак с криком заметался в яростных раскатах грома и ослепительных вспышках молний, как тут же исчез из поля зрения. Я знал что его поглотила морская пучина – чувствовал. Ещё некоторые из нас были поражены градом и окровавленные сброшены в океан, который рычал раненым зверем и требовал новых жертв.

Я же успел сориентироваться, подталкивая грудью свою ненаглядную, которая натерпелась такого ужаса, что его хватило бы даже с излишком на всех, живущих на земле и в небе. Я никогда не забуду её глаз в этот страшный предсмертный миг, которого, к счастью, не произошло, благодаря нашей счастливой судьбе. Мы выходили из этого ада огромным усилием воли. Я оглянулся на какой-то момент и обрадовался – за нами следовал поплавок. Его также терзала своим алчным желанием чёрно-сизая туча, но он, вытворяя всевозможные сальто, казалось, благополучно выходил из неё. Но это только казалось… В момент, когда ему оставались какие-то метры (крылом подать до спасения) блеснула молния, и бедолага на моих глазах превратился в пылающий факел, который тут же поглотил ливень, и обугленное чёрное тело камнем упало вниз.

Я был теперь вожаком. Я был теперь первым и последним. Она летела рядом. Я не имел право оставить её за мной. Мы летели крыло в крыло, туда, где нас ожидала новая и счастливая жизнь.

ДЕВОЧКИ С ЧЁРНОЙ ГОРЫ

Декабрьские дни коротки и холодны. Солнце встаёт поздно и нехотя. Оно вызревает на морозном горизонте долго, как чирей, и, брызнув багряным по заиндевевшим стёклам многоэтажек, катится, не успев подняться, вновь к горизонту.

В такие дни неуютно. Хочется много есть, спать и не ходить в школу. А школ целых две в этом посёлке, который взгромоздился на чёрной горе. А гора вовсе и не чёрная, кто-то брякнул не подумавши, окрестил, так сказать. Да и вовсе это не гора — опушка небольшая на возвышенности. И вот обустроился этот посёлочек на небольшом пятачке, чтобы

потом шагнуть вниз к Томи, да не шагнул, потому что строящаяся плотина для будущей ГЭС застыла немым укором для окружающих: «А зачем же, люди, вы меня строили да бросили? Экология нарушится, говорите, то-то!.. А ведь надо было сначала думать».

Конечно же, кто-то думал вначале, взвешивал, но дело вовсе не в экологии (научились люди пакостить и потом оправдываться). А в том, что поменялся уклад жизни и «кончились деньги». Вот и живут люди на чёртовой горе и чертыхаются, отправляясь, кто в город на работу, а кто и подальше, за Кудыкину гору, чтобы детишки могли учиться, а закончив школу, бежали прочь от этого несчастливого места.

А мои герои, о коих здесь пойдёт речь, как раз и учились в этих двух школах: общеобразовательной и дополнительной — школе искусств. «Дополняшка», — называли её. А кто-то обозвал «искусственной», но это уж слишком, согласитесь. Искусство никогда не бывает искусственным, то бишь поддельным — оно естественное, как хлеб.

И вот держит на своём темени чёрная гора чудный белый посёлочек из стекла и бетона среди необозримой сибирской тайги. И любят люди это место и вздыхают глубоко от наступившей безработицы. И боль эта детям передаётся. Но жить надо — и в короткое жаркое лето, и в трескучие зимние морозы. Да не такие они уж и трескучие, ведь на горе теплее – всего минус тридцать, когда в низине, в Занюхляево – все сорок.

Наверно, первой в посёлке просыпается восьмиклассница Сима, потому что по утрам, до школы, она моет голову. Странная привычка, не правда ли? Ведь это можно сделать вечером или на ночь. Но увы, девочка смотрит допоздна бесконечные сериалы (особенно любит страшилки), перед этим кое-как приготовив уроки, и засыпает у телевизора. И как бы рано она не вставала – всё равно опаздывала на «дополняшку», что не очень нравилось преподавателю.

Другие девочки, Катя и Яна (ещё две наших героини) приходили в школу искусств практически без опоздания. Разве что тринадцатилетняя Катя, выглядевшая взрослее, буквально вваливалась в класс в две-три минуты девятого, запыхавшаяся и раскрасневшаяся от мороза, в то время как Яна уже сидела за мольбертом и пристально всматривалась в натюрморт, стоявший на натурном столике. И так было всегда: сначала Яна, потом Катя, чуть припоздавши, и наконец, через полчаса – Сима.

Автор хотел бы здесь немного разрисовать детали, уточняя характеры наших героинь: поскольку предстоящие события выглядели бы

совсем иначе, если бы не темперамент и склонность к фантазиям этих девочек.

Итак: Катя. Нет, Сима. А лучше — Яна. Яна? Да, конечно же, потому что она приходила самой первой. Яна-жаворонок, Сима-сова, Катя-…на ваше усмотрение.

Яна была очень трудолюбива и больше молчала, в то время как Сима и Катя громко, взахлёб пересказывали друг дружке очередную прочитанную книгу, непременно фантастическую. Яна тоже много читала, но больше реалистического плана, хотя, признаться, роман «Сердца трёх» Джека Лондона оставил глубочайший след в её юной душе. Она хотела таких приключений, такой любви. Ах, эта любовь!.. Она уже с десятилетнего возраста волнует юное создание, если не раньше, и хрупкая с виду художница, с большими зелёными глазами, рисовала море с восходящим солнцем и непременно с парусом вдалеке, а на берегу влюблённую парочку. На берегу была ещё берёзка…

В общем-то Яна натура была романтическая, и какая бы тема ни шла по уроку композиции, Яна всегда сворачивала к морю, парусу…

Сима же была эмоциональной девочкой, ещё гибкой и стройной. В таких, как говорят, бесята вселились, и не дают ей покоя, «ни минуты покоя», как поётся в известной песне. Эти бесята выводили её в полнолуние через балкон и водосточную трубу на крышу девятиэтажного дома, где она, словно цирковой артист, ходила по самому краю крыши и даже перебегала на соседнее здание по тонкому телефонному кабелю, а, впрочем, может, это враки?.. но тем не менее, немного пообщавшись с нашей Серафимой, понимаешь, что от неё можно ожидать что-то авантюрное, то есть не совсем взвешенное решение, от чего её всегда предостерегала наша третья героиня — Катя.

Катюша была прагматик. Она могла легко осадить эксцентричную Серафиму весомыми и основательными доводами, даже седеющего преподавателя художественного отделения Афанасия Ивановича Защёлкина, могла запросто поставить на место, строго посмотрев на него поверх своих очков в розовой оправе.

И причём тут собственно Афанасий Иванович? Да всё потому, что и он, под стать неугомонной Серафиме, невзирая на свои года, с юношеским максимализмом пытался поколебать весьма серьёзный и незыблимый закон – закон всемирного тяготения.

Вот чудак – замахивается на самого Ньютона! Когда девочки впервые услышали с его стороны сомнения о теории дяди Исаака, то Сима, страшно округлив глаза, выпалила:

— Вот это да! Обал-деть! Вот бы этот закон переделать! Знаете, девочки, надо всегда что-нибудь переделывать, а то уже неинтересно жить!

Но начнём всё сначала. Итак, 28 декабря 20.. года, поутру, когда солнце ещё не лизало своим сиреневым языком замороженные окна немногочисленных домов посёлка, да и вообще была ещё непроглядная темень, из дома №5 по улице Кривохлёбова вышла тоненькая фигурка художницы Яны и, капустно хрустя морозным снегом, заспешила на «дополняшку». Проходя мимо девятого дома, она слегка поёжилась от неприятных ощущений. Она всегда нехорошо себя чувствовала именно в данное время и в конкретном месте. И этому странному ощущению она, конечно, не придавала особого значения.

Она часто пыталась разглядеть высотное здание, откуда, с самого верха, доносилось какое-то уханье и визжание, и что-то тёмное отрывалось от балкона и, прошумев, словно птица крыльями, затихало. «Чёрная кошка в тёмной комнате», — отмечала про себя художница и, нервно зажимая полиэтиленовый пакет с красками, ускоряла шаг.

Ближе к школе Яна всегда чувствовала себя немного уютнее – было больше огней на улице да больше прохожих, спешащих кто куда, а сама «дополняшка»уже приветливо светилась большими умытыми стёклами. На вахте, как всегда, её приветливо встречала Пирожкова Елена Гавриловна, она же тётя Лена, она же Красная шапочка. Здесь уместно отметить, что у Елены Гавриловны не было и в помине шапочки конкретного цвета, которая имела бы всё-таки косвенное отношение к её служебному долгу, а носила она в зимний период головной убор из непонятного зверя, которого, очевидно, убили прямо у неё на голове (до того всё было бесформенно), а что касается её фамилии, то тут ей обижаться вовсе не следует. Тётя Лена к десяти утра приносила из ближайшей столовой горячие пирожки с капустой по рубль пятьдесят и потчевала учащихся по той же закупочной цене .

Когда Елена Гавриловна заносила в школу корзину горячих и ароматных пирожков, то этот запах уже через пять минут проникал в самые дальние кабинеты и щекотал ноздри детишек и даже самой Лавры Николаевны – строгой и требовательной директрисы этой школы искусств.

Автор боится быть назойливым по поводу этих пирожков, но согласись, уважаемый читатель, как можно представить нашу огромную страну без горячего пирожка, который всегда в нужный момент оказывался в нужном месте, а в итоге – в желудке, придавая тем самым дополни-

тельные силы человеку для свершения ратных дел. Да и вообще, съесть что-нибудь по цене производителя – великое удовольствие, тем более, что подобные пирожки на автовокзале стоят аж семь пятьдесят. Вот потому, буквально, каждый человек, закончив любое дело, взглянет на него оценивающе и скажет: «Вот такие пирожки!» Ну, да ладно об этом, а то упустим из вида нашу героиню. Да, кстати, где же она? Где наша Яночка?

А Яна уже сидит за мольбертом в пятом кабинете и, позёвывая, раскрывает гуашевые краски, а Афанасий Иванович, заложив руки за спину, задумчиво вглядывался в едва-едва сереющий горизонт. Он знает, что сейчас через минуту-две в кабинет ввалится Катя Снегова и, сонно шатаясь из стороны в сторону, с маху опустится на ближайший к ней стул и, опустив руки и голову, ещё некоторое время будет приходить в себя. Так случилось и на этот раз. Дверь вскоре распахнулась.

— Здравствуйте, Афанасий Иванович! – выдохнула Катя и, бросив пакет на стол, тут же присела у двери.

— Привет, Катюша, — ответил учитель и с любопытством посмотрел на раскрасневшийся нос и щёки девочки. – Что, морозец сегодня?

— Ах, Афанасий Иванович, на то она и зима. А мне зима больше нравится, чем лето.

— Да ты что? – удивился учитель. – Ведь цвета меньше, колорита. Преобладание одних холодных оттенков. Хотя, как к этому подойти… Вон, Грабарь – такие краски на снегу видел!.. А, собственно, о чём это я? Александр Сергеевич – тот осень страстно любил.

— Вот именно, — вздохнула Катя и начала готовиться к уроку. ...

— А какое время года нравится Яне? – продолжил тему Афанасий Иванович.

Яна мечтательно посмотрела на него своими зелёными, как морские водоросли, глазами и широко заулыбалась.

— Ах, да, конечно же лето. Море, солнышко…

— Вы угадали, — звонко засмеялась девочка, и, вглядываясь в Катю поверх мольберта, отметила. – А Катерина что-то сегодня не в духе.

— Да и мне это кажется. Не иначе, как двойку схватила у Антонины Семёновны.

— Вы угадали, Афанасий Иванович, — зашмыгала носом Катя. – А задачу-то я правильно решила, и это уже не первый случай. Я теперь стала сохранять черновики, и, когда сравниваю с решением в тетради, то к своему ужасу обнаруживаю, что там у меня стоят совершенно другие числа, как будто кто-то моей рукой всё исправил.

— Да, мистика просто, — почесал затылок Афанасий Иванович.

— У неё, знаете Афанасий Иванович, глаза какие-то нехорошие. Смотришь, вроде бы как голубые, но потом начинают отдавать металлическим оттенком, или может мне кажется.

— Это, девочки, уже очень серьёзно, — опять поскрёб затылок учитель. – А вдруг, ха-ха, это ведьма?!

Тут Яна выронила кисточку и, округлив и без того огромные глаза, начала опасливо озираться, а когда резко распахнулась дверь в класс, то она чуть не взвизгнула от страха.

— Фу-у-х... а вот и я! – весело воскликнула Сима, впорхнув продрогшим воробышком в тёплое помещение.

— Вижу, вижу, что ты. Было бы удивительным, если бы Серафима хотя б разок не опоздала, — пробурчал седеющий художник.

— Ну, Афанасий Иванович, я и так рано встаю, а чтобы мне не опаздывать, надо тогда на шесть утра будильник ставить или даже на пять.

— Ну и поднимайся тогда в пять утра.

— Ага, я и так не высыпаюсь!

Воцарилась относительная тишина: Яна шуршала кистью по бумаге, Катя и Сима двигали осторожно мольбертами, выбирая позицию, а Афанасий Иванович что-то всё искал в уже розовеющем горизонте, словно там была написана вся отгадка человеческого бытия. И если бы девочки обратили внимание на его лицо, то непременно заметили, что он чем-то глубоко взволнован. А он часто бывал таким. Дело в том, что любимый нашими девочками преподаватель, не был равнодушен к судьбе даже самого мелкого насекомого, а уж если говорить о заброшенной плотине, то он уже лет пять прилагает немало усилий по преобразованию её в место развлечений для любителей острых ощущений. «Будем привязывать туристов за ногу резинкой и сбрасывать их с плотины! – кричал он в лицо главе администрации посёлка, — глядишь и местный бюджет пополним за счёт этого. А дорогу с нашей чёрной горы надо отдать под международные автогонки! Вон она какая кручёная!..»

Глава посёлка морщился, как от зубной боли, под напором его убеждений: «А вот ты первый и прыгни с этой плотины!» — «А вот и прыгну! Вы только купите мне эту резинку, метров в двадцать пять!» — горячился Афанасий Иванович. «Нет денег!» — кричал в ответ глава.

Но вот уже года два неугомонный Афанасий Иванович был полностью поглощён физикой, а именно – законом о всемирном тяготении. А всё потому, что появилась как-то информация о том, что Америка ста-

вит под глубокое сомнение теорию Дарвина о происхождении видов, и наш герой, недолго думая, подверг сомнению вышеобозначенный закон, рассуждая примерно так: «Если нет притяжения, то что есть? Ага, есть атмосферное давление и благодаря последнему, мы привязаны к земле. Если это действительно так, то остаётся только выяснить благодаря чему луна болтается вокруг земли, а всё вместе взятое вокруг – солнца, где, собственно, и отсутствует это давление – вакуум…» Но сколько ни бился несчастный учитель, он не смог побороть Ньютона, а наоборот, случайным соединением каких-то веществ (он проводил ночами опыты) блестяще подтвердил пресловутый закон, и это подтверждение в данный момент находилось в кармане Афанасия Ивановича.

Это было изобретение в виде небольшого предмета, и он его ещё никому не показывал.

— Эх, скорей бы пирожки принесли, — мечтательно вздохнула Сима.

— Ты что, ради пирожков сюда ходишь? – упрекнула её Катя.

— Да ради всего, и ради пирожков тоже, — не обиделась подруга. – А может, я вовсе художником и не буду. Я, может, как раз высококлассным кулинаром буду. Как испеку пирожок от Москвы и до Хабаровска, представляете… — Она вскочила и, бегая по классу, размахивала руками, — это такой пи-ро-жи-ще..

— Ага, и вся Россия его ест, — засмеялась Яна.

— Конечно, Россия, а ты что думаешь, я его американцам отдам!? Нет, мы его сами съедим!

— Ну, ладно, девочки, давайте пирожковую тему закроем. Время уже девять часов, а у нас пока нет никакого процесса, — заявил Афанасий Иванович.

— А где же он? Где процесс? – залилась звонким смехом Серафима и начала заглядывать под стол, мольберты. – Про-о-цесс, выходи! Ты где?

Все дружно захохотали над выходкой Симы.

— Ну тебе, Серафима, не в кулинары надо, а в комики, — сквозь смех резюмировал учитель. – Ты вот лучше, Сима, скажи, как к тебе относится Антонина Семёновна? Небось, одни пятёрки тебе ставит?

— Ага, пятёрки, да она весь класс терроризирует! Все от неё плачут. Она, Афанасий Иванович, кажется совсем не любит детей.

— Это уж точно, — подключилась Катя. – Она даже обзывает нас нехорошими словами.

— Правда, правда, Афанасий Иванович, мы даже жаловались на неё, но она как будто всю школу заколдовала – никто нас не слышит.

— Да, — тяжело вздохнул Афанасий Иванович, — таким учителям не место в школе. Пусть она будет и отличным специалистом, но не любить детей… А может, она действительно ведьма? Кстати, где она живёт?

— В девятом доме и, кажется, на девятом этаже, – ответила Яна. – А что, это разве имеет значение? Что-то вы, вы, вы,- Яна всегда заикалась, когда начинала волноваться, — вы пугаете нас. Ка, ка, какие в наши времена ве, ведьмы?.. – И она вспомнила вдруг, как, проходя мимо этого дома, слышала странные звуки, и вновь выронила кисточку. – Ой, мне страшно!..

— Не боись, подруга! Я сама кого хочешь запугаю! – взвизгнула Сима и, сорвав с головы резинку, распустила длинные волосы. – У-у-у... я вам сейчас покажу! Дайте мне метлу! Ну, где метла?

— Сима, успокойся, — строго осадила её Катя. Хватит дурачиться.

Солнце уже взошло. Оно было огромным и по-зимнему неласковым. В такие моменты вся небольшая группа учащихся любила смотреть, как оно отражалось кроваво на стёклах домов. В этом было что-то завораживающее и зловещее. Все несколько минут помолчали.

— А знаете, мои дорогие, — тихо вымолвил Афанасий Иванович, неотрывно глядя в одну точку сквозь ледяные узоры на стекле, — мне, правда, не хотелось бы вас вновь тревожить по этому поводу, но у меня есть к этому весомое основание.

— Вы о чём это? – равнодушно и почти хором спросили девочки.

— Да всё о том же Ньютоне, — спокойно ответил он и украдчиво взглянул на своих учениц.

— На его заявление реакция была бурной, поскольку эта тема у всех, как говорится, навязла на зубах: Сима, округлив глаза и вытянув шею, словно хотела вылезть из себя, набрала полную грудь воздуха, но Катя опередила её. У неё от возмущения даже очки сползли на кончик носа.

— Афанасий Иванович, вы что издеваетесь над нами? Ну, сколько можно вам доказывать, что ничего у вас не получится.

— Вот именно! – подхватила Сима. – Ничего у вас без притяжения не выйдет! Это несерьёзно, вы же взрослый человек!

— А я, девочки, и не собираюсь доказывать обратное. Я как раз хочу подтвердить, что притяжение зависит от массы тел.

— Но это же и так давно известно, — в том же тоне продолжила Катя. – Давайте лучше будем живописью заниматься.

— К сожалению, мои хорошие, уроки у нас, считай, не состоялись. Через полчаса Елена Гавриловна принесёт пирожки, а там и домой.

— Но это же целых тридцать минут! Мы что, опять будем перемывать косточки этому Ньютону? – не унималась Сима. – Может быть, вы, действительно, подтвердите этот закон, о чём только что заявили, хотя, признаться, это уже совсем неинтересно. Давайте, давайте, Афанасий Иванович, подтверждайте!..

— Да, да, я в принципе готов. Я сейчас вам скажу, нет я вам покажу нечто…

— Вот это да! Ха-ха-ха! – громко засмеялась Сима.

Недолго думая, Афанасий Иванович извлёк из внутреннего кармана пиджака нечто напоминающее мобильный телефон. При этом его глаза загорелись яростным огнём.

— Что это? – не выдержала Катя.

— Это – «Касиян первый!» Я его назвал в вашу честь, мои дорогие девчонки. Первые две буквы взял у имени Катя, вторые две у Симы, и последние у Яны. Вот такие дела!.. – Афанасий Иванович промакнул свой высокий лоб платочком. – Это, девочки, потрясающая вещь, она у меня получилась совершенно случайно, и она, надо полагать, при включении и создаёт в себе страшную силу, отталкивающую всё, что угодно, от земли. Я сам точно не знаю, что изобрёл, но предполагаю, что этот прибор создаёт в себе огромную массу, заметьте, при его лёгкости, гораздо превышающую массу земли и способным улететь в бесконечность, чтобы где-то определиться во вселенной.

— Если это правда, то это просто ужасно. Такое в голове никак не укладывается, — бледнея, произнесла Катя.

— Враки! Этого не может быть! – воскликнула Сима.

— Может, Серафима, может, — твёрдо произнёс учитель.

У девочек одновременно промелькнула мысль, что их уважаемый учитель просто болен – съехал с катушек, и решили потихоньку покинуть класс. Им было жутковато глядеть на лихорадочные глаза Афанасия Ивановича и его дрожащие руки, но он первым подбежал к двери и закрылся изнутри.

— Девочки, это никто не должен видеть. Вдруг зайдёт сюда Лавра Николаевна. – И он начал пощёлкивать переключателем на своём изобретении.

— Афанасий Иванович, не смешите нас. Это не реально, — выкрикнула Яна.

Изобретатель поднял кверху указательный палец, и все замерли в тревожном ожидании.

— Всё внимание на мои ноги! Я сейчас буду легковесным и оторвусь от пола. Ну давай «Касиян», ты это можешь!

Девочки во все глаза смотрели на его ноги, которые постепенно отделялись от пола, но только пятками. Легко можно было поверить, что их учитель сам приподнимается на носочки, если бы не его тело: оно завалилось градусов под сорок пять по отношению к полу, от чего он должен быть уже упасть, но этого не происходило, и вот он уже качается, как на волнах, едва-едва касаясь своими башмаками потёртого жёлтого линолеума. И вдруг резко между его ногами и полом появилось пространство в целую ладонь, потом в две, три…

Юные художницы ахнули и со смешанным чувством радости, удивления и ужаса замерли с открытыми ртами.

Тело Афанасия Ивановича постепенно продолжало переходить в горизонтальное положение и потом подброшенное, словно катапультой, прилипло к потолку.

Яна громко вскрикнула и закрыла лицо руками. Сима радостно завизжала и захлопала в ладоши: «Получилось, получилось! Ура!»

— Я в шо-о-ке. – пролепетала Катя. – Эт-то настоящая сенса…

Тут в дверь громко постучали.

— Афанасий Иванович, в чём дело? Почему вы заперлись?

— Это Лавра Николаевна, — пуще прежнего испугалась Яна. – Делайте же что-нибудь, Афанасий Иванович, крутите ваш реостат в обратную сторону!

— Да,да, — глупо улыбался учитель приклеенный к потолку неведомой силой, и вертел на своём приборе красную штуковину. – Ой,ой, меня плющит!

Девочки видели, изобретатель-экстремал буквально был размазан по потолку, аж местами вокруг него пошли трещины.

— Я вам говорю в обратную сторону! А то вы и школу так поднимите!

Наконец-то несчастный сообразил и, отключив совсем прибор, с грохотом рухнул на пол.

В дверь начали стучать оглушительно, и когда девочки её открыли, в класс зашла страшно возмущённая директриса и начала, словно элек-

тродрелью, сверлить глазами лежащего среди мольбертов учителя изобразительной грамоты. Убедившись, что он был достаточно просверлен, членораздельно спросила:

Вы по-че-му за-пер-лись? А это что? – показала она пальцем в потолок. – Я вижу там глубокие трещины и следы чьих-то башмаков.

— Я, я, Лавра Николаевна, я потом объясню. Я, знаете, не виноват. Нет, я виноват, конечно, но я больше не буду, – словно ученик оправдывался он.

— Странное поведение. Оч-чень странное!.. Ладно, мы с вами потом поговорим, – потёрла виски директриса и вышла из класса. «Оч-чень странно», — донеслось из коридора вместе с удаляющимися шагами.

— Вот такие пирожки, — вздохнул тяжело Афанасий Иванович, отряхиваясь от извести.

Девочки заворожено глядели на своего необычного учителя. Они просто пожирали его глазами, а у Симы на губах заиграла загадочная улыбка:

— А что, если мы вместе, благодаря нашему «Касияну» поднимемся вечерком к девятому этажу и понаблюдаем через окно за Антониной Семёновной?

— Сима, ты – авантюристка, — упрекнула её Катя. – Хотя я, в принципе, и не против.

— Да, идея неплохая, — оживилась Яна. – И я не против. Но на чём мы полетим? Не на метле же, как ведьмы.

— А на натурном столике! – сверкнула глазами Серафима.

Афанасий Иванович одобрительно закивал головой и тут же взгромоздился на деревянный столик с невысокой спинкой.

— Вполне подходит. Я, значит, нахожусь в середине, Катя и Яна по бокам от меня, и мы втроём держимся вот так за спинку столика.

— А я? — возмутилась Сима, – мне, что, места не остаётся?

В коридоре вновь послышались громкие шаги.

— Всё, всё, – объявляю перерыв, – воскликнул испуганно Афанасий Иванович, и девочки спрыгнув со столика, бросились к выходу. – После пирожков все в класс на пятиминутку.

Пока девочки трапезничали на диванчике у вахты, бедный Афанасий Иванович как мог оправдывался перед директрисой за своё столь необычное поведение. Он не только ловко всё запутал, а даже выпросил домой натурный столик, якобы для срочного ремонта.

— Потолок побелите, — напоследок сказала она.

Пирожки в этот день были необыкновенно хороши. Красная шапочка ловко отсчитывала сдачу и нежно, как ребёнка, вынимала горячий продукт из корзины и передавала его в маленькие ребячьи ладони.

Перекусив, девочки дружно побежали в класс, где их с нетерпением ожидал Афанасий Иванович. Обсуждение предстоящего мероприятия длилось недолго. Всем было ясно, что прежде, чем установить наблюдение за Антониной Семёновной, нужно сначала научиться летать на таком необычном аппарате, как натурный столик. Все быстро сошлись во мнении, что необходимо сегодня же вечером или ближе к ночи собраться где-нибудь на окраине посёлка и провести тренировочные полёты.

— Ну, всё, до вечера, — озираясь на дверь, прошептал Афанасий Иванович. – «Место и время встречи?...

— Изменить нельзя!» — хором ответили девочки.

2

Итак, вечером 28 декабря 20… года… хотя подождите – днём тоже было кое-что… Это «кое-что» выражалось в неважном самочувствии Афанасия Ивановича, так как сменилась погода, а вместе с ней и атмосферное давление, к чему был очень чувствителен стареющий организм учителя. Но к вечеру он был всё-таки в форме и предвкушал удивительный полёт на своём «Касияне».

А девочки? А девочки на уроке Антонины Семёновны пристально изучали её. Они следили за каждым её движением и тихонько перебрасывали друг дружке записки. Катя писала Симе: «Сегодня у неё изменился цвет глаз – они с красноватым оттенком». Сима писала Яне, что заметила как у Антонины Семёновны на мгновение вырастают когти, и от того она так много искрошила мела.

Может быть, это нашим девчонкам и казалось, но одно было неоспоримым – поведение Антонины Семёновны вызывало подозрение. Она нервничала и, действительно, искрошила много мела, посылая за ним кого-нибудь буквально через каждые пять минут, ещё она часто почёсывала лицо и шею, а к концу урока сломала обе шпильки на своих чёрных туфлях.

После урока, к большому удивлению наших девчонок, она попросила их задержаться, и когда остальные покидали класс, то было видно, что Антонина Семёновна едва сдерживает свой гнев.

— Вы, девочки, сегодня вели себя просто отвратительно!

— Мы, мы... – возмутилась Яна, — вели себя очень тихо, Антонина Семёновна.

— А записки? Их содержание?

— Вы знаете их содержание? – вырвалось у девчонок.

— Ха-ха-ха! – закатилась истерично пожилая учительница. Она запрокинула назад голову и растребушила на ней огромную копну смоляных волос. – Вы там пишите о моём внешнем виде... о моих стареньких туфлях!.. Ии-и-и – она, тоненько подвывая, выронила слезу. Да, да, у меня не хватает средств одеваться приличнее, но смеяться надо мной я никому не позволю! Ах, идите, я не хочу вас видеть!

— Она не догадывается, — шепнула подружкам Катя.

Они вышли из класса и, громко обсуждая этот инцидент, весело застучали каблучками по длинному школьному коридору. Вдруг до их слуха донеслось страшное звериное рычание, и они вихрем залетели в раздевалку. Там, немного придя в себя, они оделись и вышли на улицу.

— Я боюсь, — сказала Яна.

— И я немного, — прошептала Катя и украдкой оглянулась на школу. – Вы её видите?

— Где? – втянула голову в плечи Серафима.

— В окне нашего класса. Только сильно не оборачивайтесь. Видите? Она следит за нами.

— Ха! Ну и пусть! – расхрабрилась вдруг Сима. – Не дрейфить, у нас есть Афанасий Иванович и его бесподобный «Касиян». Мы же не отменяем намеченных планов? А раз нет, то до вечера.

А к вечеру немного потеплело. Падал огромными хлопьями густой снег, будто дорвался до чего-то запретного, но такого желаемого, потому и дружно, снежинка за снежинкой, заваливал пушисто всё подряд. Даже самые престарелые, а потому и ленивые собаки угорело носились по посёлку и беззубой пастью ловили нежную небесную вату. Радовались снегу и жители этого небольшого посёлка, ожидая новогодних праздников. В центре, на площади, уже стояла десятиметровая красавица-ёлка, и тут же примостились снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

В общем, всё было знакомым и естественным, кроме предстоящих событий, которые должны произойти в эту ночь.

И вот наконец-то поздним вечером на пустыре за общежитием, к большой и заснеженной ели добирались гуськом три тёмных девчоночьих фигуры. У дерева их уже ждал немолодой мужчина с деревянным столиком. Завидя девочек, он ласково пробурчал:

— Надо же, Сима первый раз пришла без опоздания.

— Ну, ради такого дела, Афанасий Иванович, я готова даже жить под этой елью. Я и домашнее задание успела сделать.

— Как родители? Вы что им сказали?

— Я сказала, что иду к Симе, — засмеялась Катя, — а Сима сказала, что идёт к Яне, а Яна, что идёт ко мне. В общем здесь всё в порядке.

— Ну и хорошо.

Афанасий Иванович сгрёб рукавом дублёнки снег с натурного столика.

— Итак, мои дорогие, вы теперь – команда моего воздушного корабля. А сей корабль состоит, хе-хе... сами видите… но с единственным дополнением. А дополнение представляет из себя руль поворота в виде обыкновенной… — вот именно знакомый вам художественный инструмент, — добавил он.

— А как же мы этим будем пользоваться? – удивилась Сима. – Краску на палитре мешать – это понятно. А вот в полёте она для чего?

— А как раз эта палитра и будет рулём поворота. Вы все, конечно, видели, что у самолёта на хвосте устроен стабилизатор, а в нём руль поворота. Он плоский, и потоки воздуха, ударяясь об эту плоскость, разворачивает самолёт куда угодно. У нас, конечно, примитив в управлении и нет тёплой кабины, но наш «Касиян» не имеет аналогов. В общем, я задаю высоту и скорость, а направление полёта будет задавать Сима, но по моей команде.

— Ура! – захлопала в ладоши Сима.

— Итак, сейчас мы проведём тренировочные полёты, а вы выполняйте все мои требования. Сначала мы попробуем просто повисеть на одном месте, а там будет видно. В общем я становлюсь в середине, теперь Катя слева от меня – держись за спинку крепко. Справа Яна, а Сима сзади за мной. Да, да, садись, Серафима, прямо на рабочую поверхность столика, задом наперёд получается, но ничего... и держись крепче за меня, а другой рукой за руль поворота – я его сейчас вставлю в нужное место.

Столик тут же был загружен донельзя волнующимися пассажирами, и сердца их так стучали, что старая ель задрожала лапами и уронила на них целые охапки снега.

— Ух, ты! Вот тебе, Сима, вечерний душ! – засмеялась Катя.

Отойдя подальше от дерева, все вновь взгромоздились на столик и приготовились к старту. Наконец, прозвучала команда «От винта!», и ко-

мандир экипажа защёлкал переключателями «Касияна». Столик слегка вздрогнул, потом жалобно скрипнув своими деревянными членами, начал, медленно покачиваясь, подниматься.

Девчонки тихонько повизгивали от восторга, а Афанасий Иванович слегка дрожа от волнения, поглядывал на верхушку ели с которой они вот-вот должны сравняться.

— Я в шоке! – прокричала весело Катя.

— Та-а-щусь! – визжала Сима, глядя вниз.

— Обал-деть! Ни фига себе! – схватилась за голову Яна.

— Ну, а я, не владеючи современным сленгом, скажу, что весьма и весьма растроган, — смахнул счастливую слезу Афанасий Иванович.

Они зависли на пару минут у заснеженной ели, чтобы немного придти в себя и определиться с дальнейшими действиями, как вдруг заметили метрах в двадцати человеческую фигуру с рюкзаком за спиной, которая двигалась по узкой тропинке в сторону общежития.

— Тихо, тихо, — приложила палец к губам Сима. – По-моему это Вася – по кличке «Слюнявый». Он обычно по чужим погребам шныряет, картошку с соленьями тыбзит. Щас я его шугану!..

— Симочка, не надо. – в страхе прошептал Афанасий Иванович, но было поздно.

— Ваше сиятельство, не скажете, который час? – смеясь закричала она.

— Хто здесь? – прохрипел пьяно Слюнявый. Он ошарашено начал озираться и остановил свой взгляд на ели, решив что это она с ним разговаривает.

— А вы, девочки, знаете, чем люди отличаются от свиней? – громко заговорил Афанасий Иванович. – А тем, что они иногда поднимают голову вверх – на звёзды. А этот экземпляр, видать, далеко не ушёл от хавроньи... гляньте, гляньте, как он головой вертит – слышит звон, да не знает где он.

— Да тут мы, тут! – швырнула в него снежком Катя.

Тут Слюнявый задрал вверх голову и, увидев явление, заблеял, словно потерянная овца, и рухнул навзничь.

— Яна, звони в милицию по своему мобильнику, чтобы забрали его с поличным, а мы двинемся дальше, — приказал командир летающего столика и защёлкал переключателем на своём изобретении.

Они поднялись ещё выше, и смышленая Серафима, точно выполняя команды, направляла немудрёный деревянный аппарат, куда требова-

лось. Всё получалось отлично. Они видели с высоты птичьего полёта необъятную сибирскую тайгу, заснеженную и величавую, и в стороне – светящийся огнями родной посёлок.

— Давайте полетим к плотине, — предложил кормчий.

Вскоре отряд воздухоплавателей опустился на бетонное пятидесятиметровое сооружение, вырастающее из огромного котлована.

— Ну, вот она – наша матушка. Ведь ради неё и построили наш посёлок. Сколько рабочих мест здесь было бы. Эх-х, — тяжело вздохнул Афанасий Иванович. – А ведь эту плотину, действительно, можно использовать для прыжков, но для этого нужна хорошая резина и реклама на всю страну, и тогда здесь туристов бу-у-дет!..

— Вы правы, Афанасий Иванович, — подхватила Яна. – Да сюда даже из Африки будут ездить, Австралии, да и других стран, места-то вон какие красивые.

— Ну что, девчонки-экстремалки, пролетим над нашим посёлком? Благодаря густому снегопаду нас не должны заметить, да и возьмёмся за Антонину Семёновну, посмотрим, чем она по ночам занимается.

— От винта! – хором крикнули девчонки и приготовились к старту.

— Право руля! – скомандовал учитель, едва они оторвались от плотины.

Они летели с небольшой скоростью, чтобы не продрогнуть, несмотря на относительно тёплую погоду. Летели с улыбающимися лицами и ловили ртами проносящиеся мимо хлопья снега. Сима даже пыталась запеть от счастья, но Катя прикрыла ей рот варежкой: «Нас могут услышать», — сказала строго она.

Подлетая к месту своего первого старта, внизу, возле ели, обнаружили небольшую группу людей в погонах. Они кого-то тащили под руки, тот упирался и кричал, что рюкзак с картошкой ему подбросили сверху ангелы: сначала, мол, они закидали его снежками. А потом оглоушили рюкзаком с картошкой: «Знаете как больно было!» — вырывался он.

— Это Вася Слюнявый. – обрадовалась Сима. – Здорово мы его разыграли, а?

— Тише, девочки, тише, нас могут услышать. Кроме того и увидеть. Держитесь лучше крепче, я набираю высоту. Серафима – руль прямо!

Аппарат пошёл резко вверх, но с большой косиной в сторону уже знакомой ели.

— Сима, руль прямо! – в ужасе прохрипел Афанасий Иванович.

Столик накренился круто вправо и с размаху налетел на верхушку высоченного хвойного дерева. Все громко ахнули, судорожно цепляясь за спинку столика.

— Я падаю! – истошно закричала Сима. – Ма-моч-ка!..

Через мгновение допотопный небесный вездеход был уже высоко и только тут группа лётчиков заметила, что с ними нет рулевого.

А внизу, на земле, все испуганно смотрели на огромную ель, верхушка которой раскачивалась, как маятник.

— Ой, — сказала ель и уронила вниз целый грузовик снега.

— Хлопцы, тикать надо, — пролепетал в страхе милиционер-хохол и перекрестился.

Они быстро завели снегоход и, бросив в санки связанного чистильщика погребов, рванули к посёлку.

— Всё, уехали. Опускаемся, — сказал Афанасий Иванович, зорко наблюдавший за процессом. – Будем искать Симу.

— Сима, Сима, ты где? – кричали подруги.

— Она где- нибудь глубоко в сугробе. Мы её не найдём, — заплакала Катя.

— Си- и- ма! Се- ра- фи- ма!- складывая ладони рупором, кричал Афанасий Иванович.

— Апп- чхи!- закачалась верхушка ели. – Я туточки, Афанасий Иванович, снимите меня.

— Ах ты, лягушка-путешественница. Всем на коня!

Подлетев к верхушке ели, все увидели изрядно напуганную Серафиму. Она крепко держалась, словно клещ, за колкую верхушку дерева и никак не хотела отцепляться. Ситуацию разрядил звонкий смех подружек, и Сима, наконец- то поменяла неудобную ветку лесной красавицы на летающий натурный столик.

— Ну, ничего страшного,- утешал её учитель,- всё хорошо, что хорошо кончается, и, несмотря на твою оплошность, я снова доверяю тебе руль.

— Спасибо,- засияла Серафима. – Но я хочу полетать стоя на месте Кати. Катюша, ты не против?

— Но у Кати нет никаких навыков, хотя… пусть и попробует, но только до посёлка.

Лучше бы Екатерине не давали руль… Подлетая к посёлку, аппарат долго маневрировал у котельной, чья высокая дымящаяся труба преградила путь по прямой, и Катя, выслушивая команды Афанасия Ивановича

по обходу огромного облака дыма, всё же запутались в управлении и влетела в чёрный клубящийся смог…

Когда же они вышли они из этого смрадного облака, чихая и отплёвываясь, то перестали узнавать друг друга. Все члены экипажа были чернее самой ночи — лишь светились белки глаз да сверкали зубы. Они хватались за животы, чуть не свалившись вниз.

— Теперь, друзья, — хохотал Афанасий Иванович, — нас любая ведьма десятой дорогой обходить будет. Да и вообще можно в Африку податься — никакого паспорта не потребуется, а на фоне тёмного неба мы точно не видны будем. Но большая просьба, девочки: разговаривать вполголоса, а то мы в данном случае представляем из себя больше нечистую силу, чем добрых ангелов.

Время было ещё не позднее, и всюду в свете уличных фонарей и иллюминаций была видна предпраздничная суета. Люди спешили в торговый центр и сметали с прилавков всё, что было подешевле и повкуснее. На площади переливались разноцветными огнями ёлка, а снежное изваяние Деда Мороза и Снегурочки было окружено плотным кольцом людей. Они почему-то яростно набрасывались на хрупкое ваяние и дико визжали.

— Афанасий Иванович, давайте чуть пониже, там что-то неладное происходит, — попросили девочки.

Чуть опустившись, они, к своему ужасу, обнаружили, что скульптура Деда Мороза вот-вот упадёт под каратистскими ударами вандалов-подростков.

— Пошто дедушку обижаете? — рявкнул неожиданно Афанасий Иванович.

— Козлы, сейчас милицию вызову! — звонко добавила Сима, а Катя и Яна заулюлюкали, как дикое племя зулусов.

Вандалы, от мала и до велика, так рванули с места преступления, что, будь они на самом деле козлами, то точно порастеряли бы свои рога. Ночной экипаж тут же взмыл вверх, и все несколько минут давились от смеха.

— Тихо, тихо, — прикладывал палец к губам командир корабля и сам хватался за живот.

— Вы того, Афанасий Иванович, «Касияна» не уроните, а то нам крышка будет, — смеясь дёргала его за рукав Катя, — свалимся точно на Снегурочку и добьём то, что пацаны не добили.

— О, тут неизвестно кто больше пострадает,- стала уже серьёзной Яна.

— Вон, гляньте лучше в ту сторону- там нам кто- то машет.

— Разве кто- то ещё знает о нашей тайне?- сурово спросил Афанасий Иванович.

— Никто, — хором ответили ему.

— Ой, да это моя одноклассница — Наташа Фокина машет Зайцевой Ане. Вон догоняет её!

— Ну, у тебя и гла- а- з! — пропела Сима.

— Всё, вперёд, друзья, к девятому дому. Сима, лево руля! — и командир защёлкал реостатом.

Они тихо проплыли над небольшим посёлком, любуясь сказочным видом, от чего захватывало дыхание: откуда-то неслась эстрадная музыка, слышался громкий смех, лай собак и причудливые тени от домов, деревьев, щедро осыпаемых хлопьями снега.

При подлёте к высотному зданию у всех учащённо забились сердца, словно они посягнули на чью- то собственность: то же самое, что лезть в чужой огород — в кровь забрасывается приличная доза адреналина для того, чтобы активно действовать, но осторожно при этом.

— Мне жутковато, — сказала Яна.

— Для храбрости люди в таких случаях поют песню, — шмыгнула носом Катя.

— Песню нельзя, а стихи можно, — разрешил командир.

— Я прочту. Стих называется «Накануне совершеннолетия», не помню автора. А вы, Афанасий Иванович, можете не слушать.

Я кричу по ночам от ужаса,
Я от ужаса днём молчу:
Я боюсь, я боюсь замужества —
Не хочу, не хочу, не хочу!

Я хочу жить у папы с мамою,
Грызть морковку, вести дневник,
А мне снится всё то же самое:
Пучеглазый чужой мужик.

Снятся комнаты неуютные
И большая кровать у стены —
Извели меня эти мутные,
Беспощадно дурные сны.

— Да, — подёргал кончик седого уса Афанасий Иванович, — актуально для вашего возраста, и если это придало вам храбрости, то я рад за вас. А зовут этого автора Екатерина Горбовская. Но о поэзии, девочки, потом. Сейчас мы находимся как раз над девятым домом. Ну что, спустимся на крышу? А потом подумаем, как мы сможем подобраться к её окошку.

— Давайте высадимся прямо у неё на балконе! — воскликнула Серафима. — Что тут мудрить. За этим домом лес — кто нас увидит?

— А вдруг она вовсе и не ведьма? — напряглась внутренне Катя.

— Вот и разберёмся. А по мне — точно ведьма.

— Ну ты, Симка, вечно во всём уверена.

— По-моему, подруга, ты раскисаешь, как вареник, ну-ка возьми себя в руки. Видать, стих не взбодрил тебя.

— Он совсем неуместен. Яночка, не обижайся, но ты прочла то, что тебе первое вспомнилось.

— Прекратить разговоры! — прервал их руководитель полёта. — Мы у цели, и я лично не могу упустить такой возможности, чтобы не разузнать, как ваша уважаемая Антонина Семёновна выглядит в родных пенатах. Тем более, девочки, ваш рассказ о её поведении сегодня на уроке даёт мне основание заподозрить в этом нечистую силу.

— Я с вами, Афанасий Иванович, — расправила плечи Яна.

— И я! — воскликнула Сима.

— Катя?

— Да куда ж мне деваться.

Воздушные сыщики медленно пролетели над стройным лесом телеантенн и зависли в тёмной торцевой части здания.

— Её квартира угловая, — шепнула Яна.

— И до её балкона рукой подать, — тихо в нос проговорил командир чудо-столика. Он, как гусь, вытягивал шею из-за угла, разглядывая неказистый балкон предполагаемой ведьмы. — Поскольку у нас нет другого выхода, — продолжил он, — то мы попробуем пристроиться к её балкону. Все ведут себя тихо. Мы с вами, хе-хе, ночная строительная бригада-мойщики окон.

— Да, да, бригада негров, — прыснула в ладони Сима.

Они аккуратно «прилипли» сбоку балкона и, навалившись на него грудью, заглянули в комнату через широкую полосу незадёрнутой шторы. Там никого не было. В свете слабой лампочки-сотки, печально-одиноко болтающейся под давно небеленным потолком, наши герои обнаружили

необычную картину: мебели в однокомнатной квартире Антонины Семёновны практически не было. Справа у стены стоял допотопный диван из кожзаменителя, весь изодранный вдоль и поперёк, рядом — железная кровать времён царя Гороха, ближе к балкону письменный стол, в углу — синий облезлый сундук, а в центре на паласе — огромная деревянная кадка, из которой, очевидно, и доносился сквозь щели балконной двери противный кислый запах.

— Фухх- х, — зажимая нос, выдохнул Афанасий Иванович, — обстановочка в стиле «Вампир». Всё здесь говорит о том, что с хозяйкой этого жилища не всё в порядке. А где же она сама? Где же дражайшая Антонина Семёновна?

Девочки настолько были потрясены этим видом, что просто лишились дара речи. Лишь через некоторое время первой пришла в себя Сима. Она подтолкнула в бок своих подруг:

— Круто, а?

— Да, очень круто, — с трудом пошевелила губами Катя.

— Она, наверно, в го-го-гостях, — прошептала тревожно Яна.

— Глубоко сомневаюсь, чтобы такой уникум, как Антонина Семёновна, могла ходить по гостям. Тихо, тихо, она всё-таки должна быть дома. Так оно и есть… я слышу шум воды, не иначе она в ванной комнате.

И точно, через пару минут в комнате появилась хозяйка. Она была в халате, тапочках и с мокрыми волосами, перетянутыми на затылке и спускающимися хвостом до самых ягодиц. На вид это была обыкновенная женщина, озабоченная своей немолодостью и неустроенным бытом. Глаза её были очень печальны и даже полны слёз, как показалось нашим героям.

— Её печаль нам неведома, — констатировал тихо Афанасий Иванович.

Не успел он это сказать, как Антонина Семёновна резко побледнела и, зажав уши ладонями, дико закричала, раскачиваясь торсом из стороны в сторону, потом упала на диван и, задрав худые ноги, начала быстро крутить невидимые педали, словно хотела придти первой на престижных велогонках. Изо рта шла зеленоватая пена, а лицо приняло синюшный оттенок.

— Какой ужас! — ахнули за окном. — Это, девочки, похоже на эпилепсию. Надо вызывать «скорую помощь». Нет, нет, это что-то другое. Невероятно, вы только гляньте!.. От неё отделяется вторая Антонина Семёновна!

И эта вторая натужно кряхтела, опираясь руками на плечи первой, и скулила, как голодная собака. Глаза её были выпучены и постепенно наливались кровью. Видно было, что это отделение стоит ей огромных усилий. Она роняла хлопья пены и чего-то мерзкого желеобразного, которое, как ртуть, раскатывалось по всей комнате и тут же испарялось, поднимаясь белым облаком к потолку.

Наконец стоны первой и дикий скулёж второй Антонины Семёновны прекратились, и ведьма, полностью отделившись, присела на край дивана и зло посмотрела на, казалось, уже бездыханную Антонину Семёновну первую.

— Проблематично мне с тобой, — прохрипела ведьма. — Ведёшь себя, как неродная.

— Ах, оставь меня навсегда, моя мучительница, слабо простонала та, — я могу обходиться и без тебя.

— Ха- ха- ха! — засмеялась утробно ведьма. — Ты без меня не сможешь. Я твоё второе лицо.

— Я не нуждаюсь в этом лице, оно приносит мне страдание.

— Ну и ладно, пострадай немного, а я проверю домашнее задание твоих учеников.

— Сволочь.

— Вперёд, за работу! — заверещала ведьма и, поцарапав диван длинными когтями, вихрем описала пару кругов вокруг деревянной бочки.

Пока ведьма совершала свой ритуал, очевидцы этой потрясающей воображения сцены, от ужаса жались друг к дружке и с трудом верили происходящему, хотя своим видом тоже могли напугать кого угодно.

— Не фига себе! — вытаращила глаза Екатерина. — Мы с нашим «Касияном» такие пируэты не выделываем…

— На то она и ведьма, — вымолвил Афанасий Иванович. — Давайте будем смотреть дальше.

И их взору предстало вообще тошнотворное действо: ведьма сняла с бочки деревянную крышку, скользкую и заплесневелую, и начала вытаскивать своей когтистой рукой пучки непонятной бледной массы и закидывать в рот. Она громко причмокивала и обсасывала пальцы, каждый по отдельности, и вновь ныряла в кадку.

Кислую капусту жрёт! — искривился лицом Афанасий Иванович, — какая гадость!..

— Девочки, надо было видеокамеру прихватить, ведь никто нам не поверит, — заволновалась Сима. — Или хотя бы фотоаппарат. Слетать бы за ним.

— Об этом раньше надо было думать, а сейчас смотрим и сопим потихоньку, — срезал её командир. — Лучше подумайте, как уничтожить ведьму.

— И как бы самим уцелеть, — зашмыгала носом Катюша.

— Будь спок! Я её своими руками!.. — сжала кулаки Сима.

Тем временем ведьма всё глотала пригоршнями вонючую капусту и, наконец, громко икнув и крякнув, подошла к письменному столу. Вытерев о бёдра липкие руки, она вынула из ящика стола школьные тетради.

— Культурная, сволочь, — прошептала Яна.

Ведьма уселась за стол на шаткий некрашеный табурет и, открыв первую тетрадь, поводила острым ногтём по странице. Потом, найдя нужное ей место, капнула туда розовой слюной.

Сима ахнула:

— Она вытравливает цифры и потом подставит другие, чтобы не сошёлся ответ.

Серафима как в воду глядела: в каждой тетради вторая Антонина Семёновна в лице нечистой силы, проделывала одинаковые процедуры, а когда закончила своё мерзкое дело, то захрюкала от удовольствия, как свинья, и принялась царапать стену, швыряя штукатурку в лежащую Антонину Семёновну первую. Та слабо простонала посиневшими губами:

— Прочь, мерзость! Ах, лучше бы мне умереть.

— Я тебе не позволю умереть. Ты — моя, — зарычала на неё ведьма.

— Ты пока отдыхай, дорогуша, а у меня как всегда, вечерняя прогулка — полетаю, крови свеженькой человечьей поищу, вчера я заприметила одного мужичка у мусорного бака… Ха- ха- ха!

— Девочки, спускаемся быстро вниз и за угол,- заволновался Афанасий Иванович и, нервно потеребив кончики усов, взялся за реостат.- Кстати, у кого-нибудь есть нательный крестик?

— У меня, — выпалила Катя.

— Возьмись за него, это нам поможет.

Они быстро удалились на прежнее место и с превеликим волнением наблюдали оттуда, как растрёпанная Антонина Семёновна вторая с рычанием выскочила на балкон и, завертевшись юлой, ушла в бездонное ночное небо.

— Кошмарики! — вырвалось у Яны.

— Нам срочно надо спасать настоящую Антонину Семёновну!- закричала Сима.

— Вперёд! — была дана команда.

Они дружно ввалились через балкон в квартиру учительницы. Бедняга лежала, сложив руки на груди, и никак не реагировала на пришельцев. Афанасий Иванович похлопал её по щекам. Она вздрогнула и открыла глаза.

— Вы откуда? — слабым голосом спросила она.

— Оттуда, — показала рукой на балкон Сима.

— Наверно, скоро все будут через балкон заходить, — простонала Антонина Семёновна. — Перевелись нормальные люди совсем. Все стали ведьмами.

— Мы нормальные, Антонина Семёновна!- горячо заговорили девочки. — Мы вас хотим спасти!

— Вы меня не спасёте, — приподнялась на локте учительница. — Вы меня просто погубите и себя не убережёте. Лучше уходите, вернее — улетайте, а впрочем — как вам угодно.

— Ситуация сложнейшая, девочки, — потрепал усы Афанасий Иванович. — Чтобы спасти нашу учительницу — нужно убить ведьму. А как — я пока не знаю, но надо думать… У кого есть интересные предложения? — И он обвёл всех взглядом. — Если нет, то снова летим за угол, поскольку ведьма может в любую минуту возвратиться.

И едва они успели скрыться в своём укромном местечке, как на балкон, гудя, опустилась ведьма. Помахав руками, словно птица крыльями, она замерла и долго шарила глазами вокруг и принюхивалась.

— Чует, проклятая, — бурчал Афанасий Иванович. — Надо срочно что-то делать, но что?

— Надо улепётывать. Мы ничего не сможем сделать, — возмутилась Катя.

— А я придумала! — воскликнула Сима и вовремя зажала рот варежкой.

Ведьма бросилась с балкона в их сторону.

— Катя, крестик!

Ведьма с шумом вертелась рядом, но так и не могла никого увидеть, видно крестик действительно имел чудодейственную силу. Ночные путешественники молчали, тесно прижавшись друг к другу, и в ужасе наблюдали, как ведьма, роняя слюни, растопыривала когтистые пальцы, пытаясь схватить что-то ей невидимое. Но перед ней стояла как будто непроходимая стена, и она, покуражившись, вновь улетела на балкон.

— Фу-у! — радостно вырвалось у всех.

— Так что ты, Сима, придумала?- спросил Афанасий Иванович.

— Может быть это глупо, но я бы ведьме подарила нашего «Касияна», чтобы она улетела так далеко, так далеко!..

Все на мгновение опешили от такого предложения.

— Это моё детище, — гордо заявил изобретатель,- я ночей не спал… — и, немного помолчав, добавил, — хотя… если только это поможет Антонине Семёновне, то я готов... — он смахнул слезу, — пожертвовать своим величайшим изобретением.

— А сделаем мы вот что, — запальчиво продолжила Серафима, — мы подкинем ей на балкон «Касияна», и вдруг она покрутит его. А мы посмотрим, что будет, ведь её энергия, помноженная на энергию нашего «Касияна»…

— В этом что-то есть, — поскрёб затылок Афанасий Иванович.

Они поднялись к балкону и увидели, что ведьма, успокоившись, подсела на диван и, ухмыляясь, уставилась своими кровяными глазищами на свою жертву.

— Я иду к тебе, — проскрежетала зубами ведьма.

— Она сейчас войдёт в неё, — засуетилась Сима.

— Мы опускаемся вниз, и я вас высажу, — сказал родитель «Касияна», — а я дальше буду сам действовать.

Высадив девочек в пушистый сугроб, Афанасий Иванович поднялся вновь к балкону. Схватившись одной рукой за решётку балкона, другой он отключил «Касияна» и подкинул его под дверь. Тут же натурный столик полетел, кувыркаясь, вниз, а за ним Афанасий Иванович с криком: «Эх, старость не Ра-а-дость!», прежде запустив сосулькой в стекло ведьме.

Девочки бросились к месту падения отчаянного изобретателя и быстро выгребли его из-под снега.

— Бежим скорее под стену дома! – скомандовал он.

Сердца героев бешено бились.

— Вон она, красавица наша, а как же... – теребил мокрый ус Афанасий Иванович, — нагнулась, видать, видать, «Касиян» привлёк её внимание. А как же не заметить его – лампочки-то мигают. О-о, по-моему, она им увлеклась…

Он не успел договорить. Послышался резкий свист, и ведьма новогодней петардой рванула ввысь, прочертив высоко в небе длинную белую полосу.

— Сгорела наша красавица в плотных слоях атмосферы, — облегчённо вздохнул Афанасий Иванович. – Эх, жаль «Касияна», но ничего

у меня остались чертежи и записи опытов. – И он, счастливый, оглядел своих улыбающихся чумазых учениц. – Ну что, навестим Антонину Семёновну?

Они дружно побежали к подъезду, где на голову Кати свалился обгоревший тапочек ведьмы. Все весело засмеялись и поспешили в злосчастную квартиру на девятом этаже.

Когда все, запыхавшись, ввалились в комнату Антонины Семёновны, то она уже приподнималась с дивана, порозовевшая и счастливая. Она навсегда избавилась от зла и ненависти к детям.

Девочки кричали: «Ура!». Они помогли учительнице навести порядок в её квартире. И самым первым делом — вниз полетела бочка с прокисшей капустой, а потом и вся страшная мебель.

Вот такая вышла предновогодня история. «Вот такие пирожки!» А они действительно отменные и, если хотите в этом убедиться, то приходите в школу искусств №... впрочем, это секрет. Учитесь их печь сами, а то нашим девчонкам не хватит, которые уже с нетерпением ждут новых приключений и с улыбкой поглядывают на Афанасия Ивановича. А наш учитель рисования сразу же после этого происшествия занялся проблемой окультуривания родного посёлка, стараясь привлечь в средствах массовой информации туристов со всего света, чтобы показать, конечно не за бесплатно, красоты его родного края.

АЛЛЕРГИЯ

И жил Иван Васильевич Гулькинос в эпоху, так называемых, Великих перемен. Жил и боялся, что его могут когда-нибудь лишить работы. А работал он долгие годы в совхозной конторе, которая уже перешла в частные руки и имела аббревиатуру в виде какого-то общества с ограниченной ответственностью перед государством и физическим лицом, работал так долго, что и позабыл даже, как его должность называется.

Перекладывал он бесконечные стопы бумаг, которые приносили ему в кабинет то из бухгалтерии, то от множественных заведующих корпусами местной птицефабрики. Иные бумаги нужно было проверять на наличие подписей, другие просто нумеровать и сдавать в архив до очередной проверки контролирующими органами.

Боялся потерять работу не только Иван Васильевич. Многие служащие потихоньку осваивали компьютеры, дабы это техническое новше-

ство не застало их врасплох. А Гулькинос просто махнул на это рукой: «Будь, что будет! Авось не выгонят, дадут доработать до пенсии пяток лет.» Но когда в бухгалтерии появился новенький чудо-аппарат, то наш герой встревожился не на шутку.

Он частенько забегал в бухгалтерию и со смешанным чувством страха, любопытства и ненависти поглядывал как главбух Подотчётнова Раиса осторожно нажимала на кнопочки, а там… на голубом экране, как солдаты по команде строгого сержанта, выстраивались в стройный ряд циферки.

У Гулькиноса ныло в груди. Он почёсывал затылок, потом его внезапно тянуло на зевоту, но её не происходило. Сослуживцы видели, как он широко раскрывал свой рот, показывая издержки советского периода – разрушенные кариесом зубы, непонятно для чего и, смущённо моргая, похлопывал ладошкой по губам. Компьютер, видно, вызывал в нём аллергию, и Иван Васильевич старался по возможности не смотреть на него.

Но смотреть приходилось. Главбух всё чаще и чаще стала приглашать к себе Гулькиноса и непременно с кипами его бумаг, которые он так усердно перекладывал с места на место.

Иван Васильевич осторожно присаживался возле Подотчётновой и глядел, как электронная машина лист за листом проглатывала и запоминала всю бывшую совхозную информацию. Гулькинос потел и зевал, уверяя бухгалтера, что всё в бумагах проверено им тысячу раз, в чём она не должна сомневаться. Но старая конторская крыса, морща рябое лицо, долгое время не отпускала его от себя, пытаясь разобраться в той или иной загогулине на уже пожелтевших от времени бумагах.

На третий день, видя, что Гулькиноса раздирает бесконечная зевота, отпустила его и порекомендовала обратиться к врачу или взять внеочередной отпуск и съездить куда-нибудь отдохнуть. Но как только Иван Васильевич уходил в свой кабинет, то зевота сразу же прекращалась и он облегчённо вздыхал. «Ишь ты, — думал он, – возьмите отпуск!.. фигушки вам, Раиса Михайловна! Пока я буду где-нибудь... а они раз… и сократят меня. Нет, нет, подвох тут!..»

И он продолжал работать, принося в бухгалтерию всё новые и новые кипы бумаг и тут же, не поднимая головы, убирался восвояси, успев, правда, пару раз при этом шумно зевнуть. Подотчётнова переглядывалась при этом недоумённо с плановиками и пожимала плечами. А Ивана Васильевича это очень даже устраивало, что нет особой нужды находиться с ней рядом, и он успокоился на какое-то время.

Каждый день, с утра и до вечера, он носил и носил Подотчётновой пыльные бумаги. Одни были перевязаны бечёвкой, другие были в папках, иные же просто валялись бесформенной кучей, до которых ещё не дошли руки дотошного Гулькиноса, дабы хоть как-то их систематизировать и отнести прожорливому компьютеру.

И вдруг однажды он с ужасом обнаружил, что горы бумаг, заполонившие его кабинет и небольшую подсобку, начали катастрофически таять. Иван Васильевич очень заволновался и мысли, одна страшнее другой, начали сверлить его плешивую голову: «Это что же получается, — почёсывал он темя, — получается, что я сам себя скоро лишу работы, а это что?.. это…» И его прошиб холодный пот по спине, под мышками, промеж ягодиц и даже за ушами: «А мне ведь всего каких-то пяток лет до заслуженного отдыха.»

Он, трясясь внутренне, осмотрел своё рабочее место. Гулькинос прикидывал, что если оставшиеся бумаги очень медленно перебирать, несмотря на злопыхательство Раисы Михайловны, то этой работы всё равно не растянуть на пять лет. Этой работы ему хватит от силы лишь на пять недель.

Вскоре Иван Васильевич основательно потерял покой, а вместе с ним аппетит и сон. Он резко сбросил в весе, потеряв своё брюшко и полные щёки. Сослуживцы с нескрываемым любопытством разглядывали своего коллегу, словно видели его впервые и смеясь осыпали его комплиментами по поводу этих внезапных перемен. Он же отшучивался и как можно быстрее убегал в свой кабинет. Но самым неприятным для него была проклятая зевота, которая в одно прекрасное утро посетила Гулькиноса и теперь не расставалась с ним. Он вынужден был прикрывать рот, но по глазам было видно, что с ним происходит что-то неладное: они слезились и закатывались далеко под лоб.

Иван Васильевич был вне себя от отчаяния. Зевота его страшно раздражала. Кое-как высидев на работе положенное время, он бежал домой, избегая прохожих, и без острой необходимости не выходил на улицу до следующего утра. Жена его, дебелая Вера Степановна, встревожена была не на шутку. Она всё-таки убедила его срочно сходить в поликлинику.

В кабинете у врача он широко раскрывал рот, после чего медработник резюмировал, что в горле не имеются инородные предметы, и оно не вспухло, а есть только положенная мокрость и осклизлость ротовой полости. И что бедняге скорее всего нужно обратиться к невропатологу.

Домой Иван Васильевич возвращался в прекрасном расположении духа: присвистывал и мурлыкал под нос «Зачем вы девушки красивых любите…». Невропатолог успокоил Гулькиноса, выписав ему желтенькие таблетки, после принятия которых якобы всё нормализуется, и по выходу из поликлиники зевота также внезапно, как и началась, прекратилась.

Следующим утром Гулькинос радостный пошёл на работу. День был по весеннему тёплым и ярким: чирикали весело воробьи и порхали разноцветные бабочки, да черёмуха набирала цвет, дурманя запахом всё живое. Подходя к конторе, Иван Васильевич обнаружил знакомую ноющую боль в груди, а когда зашёл в кабинет, то шумно зевнул. Он обвёл взглядом помещение – нигде не было ни единой бумажки. Получается, что за время его отсутствия кто-то вынес оставшиеся накладные и прочие документы и забросил их в чрево ненасытной электронной машины.

Ивана Васильевича мелко затрясло, как от озноба, и он широко открыл рот для очередного зевка. Но тут случилось нечто странное и страшное: нижняя челюсть выскочила суставчиками с положенного ей места и застыла низко отвисшей и свернувшейся набок.

Гулькинос громко вскрикнул от резкой боли и, выкатив от страха глаза, заметался по своему кабинету. Он не мог понять, что с ним произошло. И вновь громко закричав Гулькинос выскочил в длинный и слабоосвещённый коридор. Впереди, по курсу, ярко светилась открытая дверь бухгалтерии. Иван Васильевич подвывая здоровым басом заскочил туда и заметался среди сослуживцев, хватаясь за челюсть.

Все испуганно наблюдали, как он бегал между столов, смахивая с них всевозможную канцелярскую утварь. Его глаза были выпучены до предела, а с нижней губы разбрызгивалась обильная слюна. Наконец-то он сшиб со стола злополучный компьютер и, свалив с ног входящую Подотчётнову Раису, выбежал на улицу.

Через какое-то время Гулькиноса поймали, и кто-то знающий и умеющий, вставил ему челюсть на её прежнее место.

Ночью у него была высокая температура, и он бредил. А на утро умер. Он так и не узнал, что его приказом директора за день до этого происшествия сократили за ненадобностью должности, которой он посвятил почти всю свою сознательную жизнь.

ДВА ХАРАКТЕРА

Костя Незговоров стоял в длиннющей очереди за билетами в свою Калиновку. Был июль и сверху палило по-июльски щедро, бескорыстно, под сорок. Он без конца протирал мятой кепкой лицо, шею и тихо матерился. Жара всегда раздражала его до чёртиков, потому как он исходил влагой основательно – до жил и костей, и сколько бы он не пил жидкости она тут же в три ручья выходила из пор. Мокрели в очереди и толстяки с толстушками, и им, пожалуй, было ещё хуже носить своё тулово, сопя одышливо и отфукиваясь.

Вентиляции в помещении не было и после нескольких минут стояния Косте показалось это не иначе, как кошмаром, а через полчаса – сущим адом. И он решил добираться домой на «пешкомобиле». «Кто нибудь подберёт. Тут-то всего двенадцать киллометров, не ждать же автобуса целых три часа».

На улице тоже было противно от уничтожающей духоты. Он купил бутылку тёплой минералки и немного отхлебнув, выплюнул. Доехав на местном автобусе в конец райцентра, он выскочил и бодро зашагал в нужном направлении. «Кто-нибудь подберёт», — твердил он себе под нос, отмахиваясь от назойливой мошки и гнуса.

Подобрали его не сразу. Константин уже изрядно подустал, глаза без конца заливал пот, словно на голове находился кран с солёной жидкостью и кто-то специально, назло ему, открыл вентиль. А под ногами плавился покачиваясь асфальт, местами прилипая к подошве его сандалий. Он пыхтел паровозом и ловил себя на мысли: «Жара – плохо, дожди тоже. А когда же хорошо? Наверно зимой». Обернувшись на шум мотора Незговоров поднял руку. Пискнув жалобно тормозами остановились старенькие «Жигули» и путник опознал в водителе Зотова Ивана Ивановича, бывшего директора школы, где он когда-то учился.

— Домой? – весело спросили из машины.

— А куда же ещё, – засопел тяжело Костя, протискиваясь на переднее сиденье.

Они поручкались. Зотов улыбался всё той же неотразимой улыбкой, что так располагает к себе буквально каждого. Было ему далеко за пятьдесят, но выглядел он на сорок с небольшим. Он был крепок телом с правильными чертами лица и всегда с хорошим расположением духа. Ничто его, видать не брало: ни нервная работа в школе, которой он отдал сорок лет жизни, ни нагрянувшая перестройка, разорившая духовно и

финансово гражданина некогда большой страны. Он всё также сиял бездонными голубыми глазами и широко улыбался каждому. Зубов крепких полон рот, спереди два сверкающих золотом, да широкий высокий лоб без единой морщины.

— А ты всё растёшь?! – хохотнул Зотов глядя, как пассажир, словно нож-складень, приводит свои члены в нужный порядок.

— Да куда там, хватит, — Костя тоже разулыбался вытирая ладошкой пот со лба. – Метр девяносто – это не шутка, Иван Иванович.

— В баскетболисты нужно было идти. – всё также хитровато улыбнулся Зотов, включая первую передачу. Автомобиль нехотя, рывками сдвинулся с места, жалуясь на своё здоровье. – А ты, я слышал на лесника выучился?

— Да, не всем же в математики, – язвительно выскочило у пассажира и ему самому стало неловко от этого. Он не хотел обидеть своего директора и учителя – так получилось, и тому было основание. Вот уже лет двенадцать, как Незговоров не может забыть одну неприятную школьную историю. Вроде и пустяковый был момент, о котором можно бы и позабыть давно, но легла под сердце обида, зацементировалась и не рассасывается никак.

— Математика, мой друг, — Зотов стал серьёзным, — это как ароматная роза среди прочих наук.

— Да уж, Иван Иванович, я вот до сих пор только не могу понять зачем «А» прибавляют к «Б»? Цифры, это ладно, это понятно, но буквы?!..

— А чтобы получилось «АБ».

— Не понимаю. Чушь какая-то.

— И не поймёшь. – Зотов насупился и легко задвигал желваками. – Каждому своё. А я вот знаю, что ты увлекаешься литературой, о природе пишешь, о красоте то бишь. – Он поддал газу выходя на крутой подъём. – Но ведь и твоя красота,- продолжил он, — отлично укладывается в математические расчёты.

— Ещё чего?! – Костя с явным недоверием покосился на Зотова.

— В мире нет ничего, кроме красоты! Правильно? – выспренне заявил бывший директор бывшему ученику.

— Ещё как правильно.

— А в красоте нет ничего, кроме формы. Так? – Зотов вновь заставил тормоза издавать мышиные звуки, притормаживая с бугра. Асфальт уже закончился и в днище легковушки дробно застучал гравий.

— В общем-то, да, – не усомнился Костя.

— А в форме нет ничего, кроме пропорций. – Зотов повернул к нему довольное лицо всё с той же неотразимой улыбкой.

— Ну и?.. – передёрнул плечами Костя. Для него эта логика стала принимать уже издевательский оттенок. Он внутренне напрягся.

— А в пропорциях, ха-ха, нет ничего, кроме чисел! – от души реготнул Зотов, похлопав по спине своего оппонента.

— Тормози! – взбешенно закричал тот и вцепился пальцами в плечо водителя.

— Ты что! Ты что!

Было это давно, ещё в школьные годы. Запустил Костя математику с младших классов. Не пошла она у него. Не почувствовал он того аромата, о котором так вдохновенно только что заявил Зотов. Часто сбегал Незговоров с этого предмета, и до того невзлюбил всевозможные уравнения, что это казалось ему страшнее самой атомной войны.

Зотов (он же директор школы), взялся вести с девятого класса алгебру и геометрию, и был чрезвычайно удивлён «способностям» Константина в этих науках. Поудивлявшись некоторое время, плюнул и стал выставлять в журнале после очередных двоек такое же количество трояков, чтобы к концу четверти у горемычного Незговорова не выходило неуда. Жалел почему-то он Костю, но как после утверждал с пеною у рта, что зря это делал, упрекая в чёрной неблагодарности этого нерадивого школяра.

А случай был до банального прост. Обыкновенная контрольная работа по математике шла, на которой по обыкновению Костя списывал у других, вытягивая и без того свою длинную и тонкую, как у гусака, шею. Но на этой контрольной был другой учитель ввиду простуды Зотова. Это была физичка Граева, толстомясая и некрасивая, по мнению учеников. Её широкий зад резко вздымался после короткой талии, за что её прозвали «Седланом» по кличке совхозного коня.

Разместила эта Седланка учащихся на своё усмотрение, и, зная Костины не менее «блестящие» успехи по физике, посадила его на первую парту одного. А на вторую парту определила таких же «преуспевающих» в решении задачек Дубова Романа и Лындина Виктора. В общем разделила она класс на умных и дураков и написала на доске уравнение.

Костя сделал грустно-задумчивое лицо и минут десять поскорбев им, повернулся к задним. Те испуганно вертели головами, но за их партой было пустое пространство – Седланка хорошо всё рассчитала…

Урок близился к концу и шансов на списывание практически никаких не было. И тут Костя от нечего делать, запустил руки под парту и начал листать тетрадь с домашними заданиями по математике, которые он тоже заранее усердно списывал до предстоящего урока. И, о счастье!.. Он обнаружил эту же задачку в решенном виде. Быстренько переписав её, Костя с гулким сердцем начал торжественно оглядываться на остальных. Остальные морщили лбы, решали клюя тетрадки носами, только Дубов и Лындин были в беспредельной мировой печали и тоскливо, как лодочник в дырявой лодке ожидающий скорого потопа, осматривали всё окрест в надежде на спасение.

— Капец нам троим, — чесночно дыхнул Дубов в лицо Кости.

— А я решил, — шепнул довольный Незговоров.

— Да ну, на фиг! – чуть ли не хором воскликнули лодочники.

И Костя исподишка показал страдальцам спасательный круг в виде решённой задачи. Страждущие шумно засопев носами, моментом, быстрее чем ксерокс, скопировали цифирки.

Костя сидел окрылённый: он не только спасся сам, но и помог другим остаться на плаву в бурном океане алгебраических выкладок. Он чувствовал себя героем, а о том, что он сам списал эту задачку он никому не признался, даже Зотову, несмотря на прошествие многих послешкольных лет. В глазах других он решил это задание самостоятельно. И этот урок со временем, конечно бы, забылся, если бы не печальные последствия.

На следующем уроке Граева объявила оценки и потрясённый Константин не поверил своим ушам – у него двойка! А у Дубова с Лындиным по тройке.

Незговоров опустил глаза под парту и до боли сжал кулаки. В висках стучало и сердце норовило выскочить горлом.

— Кто недоволен своей оценкой? – спросила некрасивая физичка.

— Я. – поднялся Костя.

— Ты получил заслуженную оценку. – отпарировала седланка.

— Я сам решил. – зло прошептал бескровными губами Костя.

— Ха-ха-ха! Он сам решил!.. – и толстомясая учительница затрясла огромными титьками, потом вдруг резко став серьёзной, выбросила в лицо Кости руку с пухлым указательным пальцем. – Ты списал!

— У кого? – затрясся в гневе Незговоров.

— У Дубова и Лындина.

— Я сам решил! – уже зарычал Костя и с сжатыми кулаками двинулся на Граеву. Та не на шутку испугавшись, сделала неловкий шаг назад и наткнувшись на стул, рухнула широкой задницей на сиденье, после чего у стула подломились ножки, и толстая физичка с грохотом завалилась на пол, взвизгнув по-поросячьи. Весь класс смеялся долго, с надрывом.

Через неделю Зотов выздоровел и Костю пригласили к нему в кабинет.

— Ты почему наглеешь? – багровея спросил директор. Глаза его колюче смотрели на Костю, а пальцы рук нервно подрагивали.

— Иван Иванович, я сам решил эту задачу. – смело глядя ему в глаза сказал старшеклассник Незговоров, чувствующий свою правоту, хотя где-то в глубине себя отмечал, что всё происходящее тянет только на полуправду и не более. Но Костя считал, что стоять есть за что, тем более у него списали, а не он у тех двоих.

— Ну, это слишком! – взорвался вулкан внутри директора, и Зотов с силой опустил свой тяжёлый кулак на стол с канцпренадлежностями. Мраморная чернильница при этом высоко подпрыгнула и выплеснула своё содержимое на светлый костюм главного школьного судьи и на белую рубаху подсудимого.

— Я сам решил! – воскликнул Костя зло уставившись на Зотова.

— Вон! Вон! Вон из кабинета! Мерзавец! Ах, какой мерзавец! – и директор, резко встав из-за стола, показал пальцем на дверь. Ученик, вобрав голову в плечи, покорно покинул кабинет директора. Он зашёл в класс и тяжело опустился за парту. Класс выжидающе глядел на Костю ожидая информации, но тут дверь резко распахнулась и в помещение влетел взбешённый Зотов.

— Вон! Вон из школы!

— Для Кости это был удар ниже пояса. Он дрожащими руками собрал учебники и, горбясь, вышел из класса. Но к его великому удивлению Зотов шёл за ним по длинному школьному коридору и продолжал кричать своё «Вон!» Когда же Незговоров вышел из школы и уже собрался перевести дух, как вновь послышалось громкое и истеричное «Вон!» вместе с тяжелыми шагами директора.

Костю выгнали буквально за территорию школы, где удивлённые бегуны школьного стадиона так и замерли от такой весёлой картинки. Уже за покосившемся деревянным туалетом стоящим на краю школьной

территории, яростный гонитель наконец-то отстал от преследуемого, напоследок выкрикнув ещё что-то злое.

Костя неделю не появлялся в школе. Он думал, что это всё… — крышка среднему образованию. Вот так, думалось ему, за правду… будь она неладная. Он целыми днями пропадал на рыбалке с книжками, чтобы не заподозрили родители. Чувствовал он себя последним человеком. Изгоем.

Но вскоре родители всё узнали: Зотов извинился перед ними за свою горячность и попросил, чтобы их сын продолжил учёбу.

Вот такая у Незговорова незабываемая история с этой математикой. И вот теперь после стольких лет…

— Ты что? Ты что? – продолжал лепетать в страхе Зотов бешено вертя баранкой, объезжая огромный валун у пыльной обочины.

Не объехал. Не сумел. Автомобиль наскочив передним колесом на препятствие подпрыгнула и от неумелых действий водителя завалился плавно и мягко на кучу глины у разрытого придорожного холма.

— Ну вот и приехали. – прохрипел Зотов выкарабкиваясь последним на божий свет. – Вроде не помяли…если бы не ты…

— Водить машину не умеете, Иван Иванович. Я вас попросил остановиться, а вы аварию учинили.

Они стояли друг против друга у ещё вертящегося колеса и казалось готовы были подраться, если бы не пласт глины внезапно съехавший с самого верха кручи, тяжко охнувший и щедро обдавший их пылью.

— А вот если эта часть отойдёт, то глядишь как раз и накроет ваше средство передвижения, – указал Костя пальцем на верх кручи.

— Да, это будет ещё один сюрприз, – заволновался Зотов, оценивая ситуацию. – А в принципе, если вот тут немного подрыть под задним крылом… поможешь, Константин... как тебя по батюшке?

— Сергеич.

— Давай, Константин Сергеич, из беды вызволяться будем.

— Не буду. Вызволяйтесь сами, – зло отрезал бывший ученик бывшему учителю, — не помогу пока не поверите, что ту задачу я решил самостоятельно.

— А, всё забыть не можешь. Ты видать тогда сильнейший стресс получил, но я ведь просил тогда извинения у твоих родителей за гру-

бость. Могу в конце-концов и у тебя попросить, чтобы на этом точку поставить.

— Я хочу, Иван Иванович, единственного, чтобы вы признали факт моего самостоятельного решения за-да-чи. Я по-моему ясно выражаюсь, — взял ещё более высокую ноту Незговоров.

— Ясно-то, ясно. Только вот математикой нужно систематически заниматься. Нельзя вот так, чисто случайно найти правильное решение. Это тебе не цветочки с ягодками описывать, понимаешь.

— Так вы мне не верите?!

— Не верю.

— Ну и прощевайте. Покукуйте здесь, кто-нибудь да появится, поможет, поди.

— Да ты! Да ты!.. – задыхался красным лицом Зотов. – Пришвин мне тоже новоявленный!

Незговоров был уже далеко под палящим солнцем, а до него всё доносилось: «Ты не мог сам решить!» Костя обернулся и скрутив кукиш помахал им ревностному служителю царицы наук.

А у пыльной обочины безумолчно стрекотали кузнечики. До Калиновки было ещё километров пять.

КОРОТКО О ...

Человеку, испытавшему настоящую любовь, отвратно видеть и слышать всё, что связано с похотью и сладострастием.

* * *

Каждый человек – актёр, но не каждый желает раскрыться в силу различных причин.

* * *

Талантливый человек раздражает всех, поскольку в нём видят не солнце, а мрачную тень упавшую на остальных.

* * *

Человек пришел на землю, чтобы всё забрать у неё, и в этом он преуспел.

* * *

Говорить открыто о сексе – пошлость, поскольку человек изначально наделён природным стыдом.

* * *

Что есть привилегия, — небытие? Или эта короткая жизнь?

* * *

Идея вынашивается, сюжет рождается, форма помогает выжить.

* * *

На безумные поступки нас толкает безумный мир.

* * *

Сводить концы с концами – любимое занятие россиян.

* * *

Любая должность заманчива прежде всего тем, что позволяет что-то украсть.

* * *

Есть люди, сияющие словно солнце, а есть мрачные, как ненастный день. Благодаря первым, ещё живёт в нас надежда.

* * *

Умный смеётся, дурак хихикает.

* * *

Редко кто прошагает по жизни с открытым сердцем и чистой душой.

* * *

Чувство красоты в нас заложила природа, но чувство это не глубинное, а чтобы оно было таковым – должна потрудиться душа.

* * *

Ложь всегда носит маску правды.

* * *

Насколько же истинно то, что называют истиной.

* * *

Правда нелюбима, как падчерица, но она очень необходима для дома, чтобы в нём был порядок.

* * *

У учителя должно быть умное одухотворённое лицо, но, к сожалению, это зачастую не так, и особенно в сельских школах.

* * *

Взгляды на жизнь, на её ценности могут меняться, но только не со сменой власти или общественного строя, в противном случае это фарисейство.

* * *

Основная масса людей состоит из приспособленцев, лишь некоторые могут убить в себе конформиста.

* * *

Всякая власть раздражает, поскольку личные неудачи относишь на счёт её несовершенства.

* * *

Всегда робею перед людьми, умеющими красиво говорить, хотя знаю, что это не всегда является признаком ума.

* * *

Хочется крикнуть: «О, сколько же вас, подлецов!..» но боюсь их гневного взора: «А ты?..»

* * *

Нет деда с бабкой, и образ их уже стёрся в памяти. Нет родителей, и хотя помнятся ещё их лица и голоса, но тебе уже пора собираться в дорогу.

* * *

Суровая проза жизни – есть оборотная сторона мечты.

* * *

Ему, в молодости весело идущему по улице, встречалось множество всяких лиц, и он был счастлив, разглядывая каждое, но с возрастом вдруг обнаружилось, что это всего лишь рожи, в которые теперь хотелось наплевать.

* * *

Те к кому судьба благоволит – её заложники.

* * *

Страшно видеть пятидесятилетнего дядю с мозгами тинейджера… Говорят, что такие зато имеют житейскую мудрость, дай-то Бог – дважды на горячую плиту не сядут…

* * *

Мертвец и упившийся зельем – протягивают друг другу руки.

* * *

Предрассудки – меч над головой человека, занесённый им же.

* * *

Жизнь – магия и колдовство.

* * *

Всегда найдётся повод печалиться, для осознания радости добавить нужно немного ума.

* * *

Она умела говорить долго и сладко, и её слушали, затаив дыхание. Когда же заканчивалась речь, то все морщили лбы, вспоминая, о чём же собственно говорилось.

* * *

Она была огромной и неуклюжей, к тому же громкоголосой, ни дать ни взять – гаубица.

* * *

Всем хороша бабёнка, вот если бы не козюли в носу, да сера в ушах.

* * *

Если женщина на тебя не смотрит – внимательно, посмотри сам на себя…

* * *

Ко всему можно привыкнуть, но только не к женщине — матерщиннице.

* * *

Присутствующие среди нас в огромном количестве негодяи призывно зазывают: «Ну-ну, спускайтесь же к нам, это гораздо проще, нежели нам подниматься к вам».

* * *

Основное занятие русского – питие. Через это он ясно видит, «как обустроить Россию».

* * *

В России пьют, чтобы не сойти с ума. На западе – для ощущения ритма жизни.

* * *

Если гусь поднимает лапу – к морозу, если баба поднимает подол – к позору.

* * *

Русской бабе пора уже ставить памятник: она в фартуке, поза боевая, в правой руке крепко зажата скалка... и взор горящий.

* * *

Наличие всевозможных услуг и изобилие товаров могло бы радовать душу, если бы за этим не скрывалась чья-то корысть.

* * *

Мы семьдесят лет были товарищами, но свои господские тросточки и цилиндры надёжно прятали до поры.

* * *

Когда нет правды – это тоже правда.

* * *

Ложь – обольстительная штучка.

* * *

Глупее моды пока ничего не придумано.

* * *

Россия богатая страна по числу нищих граждан.

* * *

Мозг – насильник тела.

* * *

Половое влечение – козырная карта Создателя.

* * *

Она не ходила – она носила себя, носила осторожно, высоко задрав голову, словно в ней было нечто такое, что при неловком движении могло расплескаться и потечь по лицу, шее…

* * *

Раньше хама предупреждали, чтобы тот не хамил. Теперь он предупреждает нас…

* * *

Она надела маску лицемера и удачно мимикрировала. Потом надела вторую, третью… – маски срослись между собой и с лицом – это был уже характер.

* * *

Жизнь по своей сути абсурдна, и наличие смерти заявляет об этом недвусмысленно.

* * *

Люди творят беды, чтобы не зачерстветь душой.

* * *

Добро — антибиотик против зла.

* * *

Книга – это лучшее что придумано человечеством.

* * *

Если у вас нет домашней библиотеки, то вы даже не полчеловека, а гораздо меньше.

* * *

Хорошо, что сейчас зажигается столько «звёзд»... иначе нам совсем было бы неуютно в «чёрных дырах».

* * *

На планете Земля ежедневно и еженощно гремят кастрюли и скрипят кровати – эту симфонию жизни написал Великий и Неизвестный автор.

* * *

Когда торгаши кричат об огромных скидках, то невольно думается: «А каковы же были накидки?..»

* * *

Люди не любят думать – от этого у них болит голова.

* * *

Любые творческие объединения привлекательны для бездарности, и в итоге их там оказывается в большинстве.

* * *

Власть – грязная ноша. И не от того, что она таковой является, а от того, что ей, как правило, завладевают порочные люди.

* * *

Она была не столько женственной, сколько дамственной.

* * *

Встречаются двое знакомых. Один другому: «Слышал ты на филфак воткнулся?» — «Да». «Ну и как?» — «Чижало учиться», — отвечает.

* * *

Выпало три дня выходных. Делать нечего. Смотрю, и другим тоже. Шляются, где попало. Выпивают. В подъездах мочатся. Сквернословят. Смотрел я, смотрел на это – с тоски удавиться можно от такой картинки... все шляются, выпивают, в подъездах того… эх, не сбегать ли за бутылкой!

* * *

Я робко зашёл в приёмную. Волнуюсь страшно, к начальству ведь – крупному. Спрашиваю у секретарши:

— А начальник тута?

А она:

— Не тута, а у себя. Проходите.

Зашёл, Стою. Губы пересохли. Шнурки на ботинках развязались от страха. Смотрю, действительно, он того… у себя, да только, видать, не в себе – дутый какой-то, ещё хмурый и важный. С лысиной по всей голове.

Я покашлял. Он посмотрел на меня так, словно я ещё год назад был приговорён к расстрелу, но почему-то оказался живым.

— Вам чего? – строго спросил он.

— Я, — говорю, — Вам, Вами… того… тут… с Вами… — и от страха отбил два поклона.

— Ну-ну, — сказал начальник, — не стоит. Вы лучше идите, идите на фиг. Ходят тут всякие.

— Я, — говорю, — не всякий. Мместный я… Ваше... Вашими…

Смотрю: начальник начал постепенно выходить из себя, а когда полностью вышел, то заорал по-страшному.

— Во-о-он! Во-о-он!

Я стал бормоча пятиться к двери:

— Вам!.. Ваше… Васи… Вас… Вас…

* * *

Это нужно было видеть: дело в Сибири – мороз и ветер, а Гаврилов Иван в стельку пьяный, аж из ноздри горячая сопля течёт. Она могла бы самостоятельно, харизматически капнуть на башмак хозяина, но ветер-подлец и мороз-мерзавец выбили её из привычной колеи. Они хлёстко разметали её голубыми росчерками по необъятной и красной физии Гаврилова. И всё бы ничего, но он лез ко всем целоваться, по-русски – троекратно…

* * *

Он считал, что в детстве был обделённым вниманием ребёнком. Ну что стоило родителям пригласить в новогоднюю ночь Деда Мороза?.. Ан нет, не приглашали! Может, просто не считали это обязательным, да и он не просил об этого, хотя и страстно желал. И вот уже будучи человеком не первой свежести, он взгрустнул, и именно в новогоднюю ночь, потому что Дед Мороз-красный нос опять обойдёт его квартиру, как всегда. А он надеялся на чудо, которого так и не произошло. Часы били, а в дверь не стучали. Тогда он крепко напился, а потом ещё и ещё…

Однажды в середине марта он забрёл в ванную комнату и, случайно взглянув в зеркало, возликовал. Там отражался грязный и нечесаный старик с великолепным красным носом. «Ну вот и дождался!.. – радостно прослезился он. – Главное, сильно, очень сильно захотеть!»

* * *

Врач-невропатолог был не лучшим специалистом. Принимая одного беднягу, он засомневался в определении диагноза и, не рискнув брать на себя ответственность, направил его к психиатру. Тот, в свою очередь, направил того ещё подальше, где больной, смирившись, уже через год потихоньку сошёл с ума.

* * *

У одной сварливой женщины неожиданно до чудовищных размеров распух язык. Будучи не состоянии произносить длинные нравоучительные тирады своему неразумному мужу, она быстро научилась сначала громко шипеть и тут же наливать кровью свои выпученные глаза. Эффект был потрясающим – у мужа надолго отнималась речь, и она вновь была на высоте.

* * *

У унитаза было своё представление о лицах.

* * *

Телевизор насмотрелся порнухи и сгорел от стыда.

* * *

Топор немало повидал на своём веку. Очень долго он проработал главным мясником на городском рынке. Потом, когда изрядно поизносился, то оказался на хозяйском подворье, лишая жизни мелкую пернатую тварь. Но он и этому радовался, потому что без запаха крови он уже не мыслил себя.

По мере же истачивания и старения его превратили в обыкновенный колун. Он долго не мог смириться с этим предназначением, жалуясь на то, что огромная кувалда уж очень больно ударяет его по голове, а своим коротким лицом он с трудом раскалывал огромные сучковатые чурки. Когда же от него остался только обух, то он безжалостной рукой был брошен под забор. Покрываясь алчной ржавчиной, он сетовал: «А ведь

мой ресурс далеко не исчерпан. Я мог бы, к примеру, висеть раскачиваясь на верёвке и размозжать чьи-нибудь подвернувшиеся головы».

* * *

Трагический актёр решил, что у него неограниченные способности и предстал перед публикой в комедийном жанре. До конца пьесы зрители так и не спрятали свои слёзные платочки, удивлённо и серьёзно взирая на своего любимого трагика. Когда же он, переусердствовав в новом амплуа, лопнул от смеха, то зал тяжело вздохнул от великой утраты и вновь, как всегда, замелькал белыми платочками, промокая обильную слезу.

* * *

Он страдал от неразделённой любви. Страдал всю жизнь. У него выросли дети, у неё тоже. Но как-то он узнал, что она, оказывается, его любит и также страдает, и он умер в глубокой скорби и печали на восемьдесят пятом году своей жизни.

* * *

Давно это было. А что именно, не помню. Но знаю, что это было очень значительным. Но что же именно? Неужели день рожденья?!

* * *

Она любила смотреть телесериалы. Спала у телевизора. Рожала тоже. Она была даже тёщей и свекровью, но как-то не заметила этого. Какие-то дети называли её бабушкой, а она улыбалась снисходительно такой милой шалости. Но однажды с головы её прямо на руки упал седой волос, и она очень оскорбилась и в слепом негодовании разбила все имеющиеся в доме часы.

* * *

Художник давно не писал картин, презрев своё ремесло. Но в душе его что-то постоянно саднило, а от чего – он не знал. Но как-то наткнув-

шись на свой этюдник, рассохшийся и пыльный, он заплакал вспомнив о своём предназначении, но было поздно – душа уже не могла трудиться.

* * *

Седеющий писатель волновался не на шутку: «Ведь мной для народа написано около десятка романов, сотня повестей и рассказов, несколько пьес и бесчисленное количество статей о том, как нужно писать. Так почему же до сих пор нет признания?! Велико невежество народа!»

* * *

Он презирал деньги. Но когда их не хватало даже на хлеб, то он с большой любовью за ночь рисовал новую купюру, но в лавке подавал её опять с великим презрением.

* * *

Кукушка в механических часах всегда ликовала, когда открывалась дверца в её тесном и тёмном домике. Она высовывалась в светлый, светлый и свободный мир и, радостно прокуковав, готова была выпорхнуть, но дверца тут же закрывалась. И так было всегда. Но часы постепенно состарились и однажды, с трудом распахнув дверцу, остановились. Кукушка прокуковав в очередной раз, очень удивилась, что дверца не закрывается. Удивление её было столь велико, что она не могла сделать выбора: вновь куковать или попытаться выпорхнуть, да так и замерла навсегда в своей нерешительности.

* * *

Он подобрал в подвале котёнка. К его разочарованию это была кошечка. Но жалость не имела границ. Через три года мяукающая орда заполонила его квартиру. Он знал, что котят нужно топить, так делают все. А он не мог. Тогда он взял и утопился сам.

* * *

Бизнесмен был очень доволен прошедшим днём: дельце было удачным – наваристым. Он смог обвести вокруг пальца почти всех, кроме одного – киллера, который поджидал его в тёмном подъезде.

Закат в тот вечер был багряным.

* * *

Старик болел очень долго. Когда все узнали, что он жалуется на холод в ногах, то облегчённо вздохнули и начали бурно обсуждать размеры его тела. Досок подкупать не пришлось.

* * *

Дверной глазок исправно выполнял своё предназначение. Он неустанно следил из квартиры хозяев за происходящим в тёмном и загаженном подъезде. Работа у него была нетрудная, но он часто жаловался на судьбу: «Глаз бы мой этого не видел!» Он мечтал хоть разок взглянуть на луну. Он был романтиком.

* * *

Он был доволен своей новой избранницей, хотя она никак не реагировала на его ласки и нежные слова. Она также не убиралась в доме и не варила обед. Но он всё равно любил её, любил по-своему, часто давая ей новые имена, а порой и клички, на что она не обижалась, потому что была великой молчуньей. А молчание, по его мнению, было одним из самых главных достоинств слабого пола. Она молчала даже тогда, когда он грубо заталкивал её под диван, чтобы кто-нибудь из вошедших не обнаружил его странной привязанности к холодному и немому существу, поскольку та была попросту резиновой куклой.

* * *

На окраине села из мчавшегося грузовика выпала бочка с какой-то вонючей чёрной жидкостью. По запаху все определили, что это креозот. Но кто-то допустил мнение, что мёд, хотя и густоватая, но тоже жид-

кость. Все дружно посмеялись, а когда стемнело, то многие всё-таки попробовали на вкус… Да, это был креозот.

* * *

Её за глаза называли дурой. Когда же до неё доползли эти слухи, то она решила показать им кузькину мать и поступила учиться в институт. Получив диплом, она надеялась, что её новое качество оценится по достоинству, и она не ошиблась. Теперь её стали называть дурой с высшим образованием.

* * *

«Нам, учителям, — продолжал он, — во все времена давали мизерную зарплату, и при коммунистах, и при демократах, но ведь выжили... живём, не подохли-с…»

* * *

Его душа жутко требовала сцены, где он был бы и чтец, и певец, и… и когда он трезвел, то зло плевался и шёл убираться в свинарник.

* * *

У неё был свой бизнес: она варила самогонку и щедро разбавляла её собственной мочой из ненависти к алкашам.

* * *

Многие полагают, что в своей прошлой жизни были знатными и уважаемыми людьми, но только не прохвостами и свинопасами.

* * *

У одного человека была совесть. Родился он с ней, или она по жизни уже прилепилась – неведомо это. Да и стоит ли размышлять по этому поводу – главное, она была, в то время как другие не имели о ней абсолютно никакого представления. И человеку этому постоянно было неловко,

постоянно он мучился: а правильно ли он поступил в том или ином случае, ведь совесть всегда контролировала его поведение и заставляла думать, краснеть при любой оплошности. А может, оплошности никакой не было, может это казалось так другим, и они громко смеялись над беднягой.

Этот человек часто сетовал на несправедливую природу: «Как же так всё получается?.. Ведь я постоянно подвергаю свои поступки глубокому анализу и убеждаюсь в правильности принятия решения, так почему же все смеются надо мной? Да к тому же я материально живу хуже их, хотя и не ленив».

В конце концов, он догадался о наличии такой тонкой материи, как совесть, и в негодовании бросил окружающим:

— Вы бессовестные!..

В ответ послышалось громкое ржанье и хрюканье – это были приступы смеха толпы…

Тогда он покончил с жизнью.

На его могиле сделали надпись: «Здесь покоится человек, страдавший комплексом неполноценности».

* * *

Он был стар, но страшно грезил о полёте. Я чувствовал, что ему больше не подняться в небо. Но он был одержим в своём стремлении… Он говорил горячо, убеждал, что нужно просто уйти от этой проклятой духоты и поймать свежий ветер надежды, и что тогда он…

И мы ушли, вернее – он повёл меня через огромную пустыню человеческого лицемерия и невежества к морю, чтобы почувствовать своим измождённым от страданий телом солоноватый бриз.

И мы пришли к морю.

Мы долго стояли на высокой скале, жадно ловя иссохшимися губами морской влажный ветер.

Я искоса поглядывал на своего безумного старца. Мне хотелось ему сказать, чтобы он не спешил расправлять свои слежавшиеся от старости и долгого безделья крылья. Хотел сказать, но смолчал: он бы не услышал – он от всего был отрешён, в его глазах сверкала неземная страсть. Взмыть в небо он готов был в любую секунду… и он поторопился…

У него это вышло неловко: расправив одно из крыльев, он тут же был сбит потоком воздуха и полетел камнем вниз с пронзительным криком

восторженности. Я с содроганием видел, как он выстрелил в сторону вторым своим слабым крылом, но было слишком поздно…

Он упал на острый выступ скалы и что-то пытался мне сказать посиневшими губами, но я не расслышал его слов, поскольку внизу яростно шумело море.

Он умирал.

Мне ничего не оставалось делать, как повторить его безумный поступок. И судьба ко мне оказалась благосклонной: я, закрыв глаза, решительно шагнул вниз, инстинктивно выбросив два, ещё не окрепших крыла, и… завис над морской волнующейся рябью.

Я был страшно удивлён и несказанно обрадован. Потом, окончательно расправив крылья, я начал производить несложные манёвры, ставя их под разным углом к бризу. О, это было непередаваемое ощущение!.. У меня получалось!.. Я мог стремительно взмывать вверх и опускаться вниз, едва не касаясь грудью пенной волны. А когда я достаточно наупражнялся, то, не раздумывая, решительно, ушёл ввысь на небывалое расстояние от земной тверди.

Вокруг были голубые безбрежные дали, а где-то внизу шумно дышало и тяжело ходило большое море. И я, помня наставления своего старого друга, смело взял курс в ту благодатную страну, о которой мы так долго с ним говорили и мечтали.

* * *

Муж её называл ласково: «Кроха. Крошка. Крохотулька». На самом же деле ей далеко было до этого состояния: рос живот, расширялись бёдра, тяжелели щёки.

Вечерами садились у телевизора, и если не было боевика – смотрели балет. Она видела, как у него загорались глаза на стройных балерин. Она краснела и тайно мечтала стать действительно крошкой, пушинкой, чтобы её кто-то поднимал за талию и нёс, нёс…

Но её поднимал только будильник по утру, в пять часов, и она, гремя подойником, спешила к бурёнкам. А их было три. Днём также была работа по хозяйству, а вечером они вновь садились у телевизора, и если не было боевика – смотрели балет. Она вздыхала, и, выходя перед сном во двор, потихоньку приподнималась на цыпочки и взмахивала руками, потом воровато оглядывалась и с обильно прилившей к щекам кровью шла в спальню.

Во сне она летала, взбрыкивая ногами и мыча от радости. Днём же страдала и теряла понемногу в весе. Но каждую ночь, перед сном, она также выходила во двор и повторяла движения балерин, подсмотренные по телевизору. У неё это очень плохо получалось. Она часто с грохотом падала и набивала огромные синяки. Собака, не понимая странных действий хозяйки, громко подвывала и пряталась за будку. А муж всё не замечал её душевных треволнений и того, что она стала худеть.

Вскоре она потеряла всякий сон, и чтобы не мешать мужу спать, выходила на ночную деревенскую улицу и, набирая огромную скорость, выполняла заученные движения. Она знала, что её некому поддерживать, и потому стремилась, как можно мягче опускаться на грешную землю. Но увы… та притягивала её с той же силой…

Время шло, и она, полная нестерпимого желания стать именно той, которой её называют, каждую ночь трудилась в поте лица, уменьшаясь в весе и выполняя самые сложные «па» из очередного балета. Она уже забросила утренние дойки, ссылаясь на слабость рук и легковесность тела, поскольку в последний раз, отмахнутая хвостом бурёнки, взлетела выше сарая – еле успел её муж поймать… за талию.

В связи со странностью её быстрого похудания был приглашен местный врач, который, осмотрев её и ощупав почти невидимое тело, только качал головой и разводил руками. И в тот же вечер у неё получилось… — она подхваченная сквозняком, вылетела в форточку и зависла над деревней, исполняя главную партию из балета «Лебединое озеро».

Да, она была крошкой и была балериной! Какое счастье! Вся деревня смотрела на это представление. В толпе стояла местная хореографичка из Дома культуры и возбужденно восклицала: «Ну надо же, как здорово, только переборщила слегка!» В толпе стоял и муж необыкновенной балерины. Он был растроган и растерян до крайности: «Крошка! Крошечка, вернись!» — кричал он.

* * *

На автобусной остановке стояла женщина. Молодая, ядрёная, с большой высокой грудью и румяными тугими щёчками.

Вот стоит она, цветёт, автобуса дожидаючись, но тут на неё упал взгляд алкоголика. Он сидел на скамеечке и допивая бутылку пива, долго и пристально всматривался в её лицо. Допил, подошел к дебелой красавице и, заикаясь, произнёс:

— А п-правда, что у тебя щё… щёки не накрашены?

Молодая не зарделась, она просто заполыхала своим и без того алыми щеками.

— Не может быть! – нагло разглядывал её горький пьяница и поплевав на свой грязный палец, начал растирать пылающий румянец молодухи.

Женщина настолько была потрясена хамским поведением негодяя, что не долго думая отвесила ему звонкую оплеуху, потом вторую.

— Н-настоящая женщина! – растерянно бормотал алкоголик, — и щё… щеки тоже.

Когда же она начала наступать, свалив его с ног своей мощной грудью, то в подлинности последней у него тоже не было никаких сомнений.

* * *

Я самоубийца – это моё предназначение. Я сделан мягкими и тёплыми руками, чтобы разрывать своей чудовищной мощью такие же тёплые и мягкие человеческие тела.

Я уже не помню, сколько я пролежал в земле, бездействуя. А мне так хочется взорваться – освободиться от своей сокрушительной силы, принося страдания любому, будь то взрослый или ребёнок. Я так жду к себе прикосновения… неосторожного, чтобы разнести в клочья того, кто это сделает.

Меня поедает алчная и противная ржа, и мне тоскливо от этого. У меня большой калибр, а это значит, что я могу натворить много бед, меня после этого будут долго помнить. Мой желудок начинён взрывоопасной смесью и всевозможной железной мелкой дрянью, чтобы сечь, сечь в своём слепом и яростном порыве всё вокруг себя, создавая горы трупов и море крови. Да, я кровожаден. Я так запрограммирован человеком, чтобы уничтожить собой всех, и даже моего создателя.

Взрыв – моя жизнь, пусть и короткая, но яркая и с великолепным последствием. Я наслаждаюсь этим мигом. Ну хоть кто-нибудь, приласкайте меня!..

* * *

Маленькая девочка Надя стояла у вырытого котлована под строительство жилого дома, но дом по каким-то причинам не строился, и огромная яма превратилась в свалку для бытовых отходов. Надя глубоко вздохнула и сказала:

— А говорили, здесь будет фабрика звёзд.

А ночью в котловане кто-то страшно душераздирающе кричал, наводя ужас на случайных прохожих. Это умирал местный бомж Вася парализованный в своей постели на дне этой мусорной ямы. Его тело без конца корёжило и тянуло конечности кверху, к звёздам, которые бессовестно взирали на его предсмертные муки.

Надя стояла у окна и смотрела задумчиво на ночное небо. Вдруг одна звезда оборвалась и покатилась, прочертив длинный путь, прямо в котлован. Девочка радостно захлопала в ладоши:

— Ура! У нас построят фабрику звёзд!

Жаль, что об этом не знал сам «прораб», лежащий на дне котлована. В его широко раскрытых стеклянных глазах отражались яркие звёзды, небрежно рассыпанные по бездонному ночному куполу. Они были холодны и далеки. А одна упавшая – была его. Он её унесёт с собой, без которой никогда и никакой фабрики не построишь.

* * *

Он учил детей игре на гитаре. Музыкант, преподаватель отличный. По виду же мужик от сохи. Громаден – высок, плечист. Его бы ручищами ночные вино-водочные ларьки с корнем выдирать, а он с гитарой… Возьмёт её, сердечную, в часы досуга, и… потонула она в его лапах, только бреньканье жалобное из-под рукава…, а у самого глаза влажные – душа улетает – плачет душа, требуя чего-то большего, настоящего, как сама мать земля. И так было всегда.

Много лет он разбирался в своих чувствах и, наконец, не выдержав, бросил всё, стал бродяжничать в поисках своей неуёмной души, которая часто пропадала где-то. И он нашёл её, потому что шел в правильном направлении – сердце подсказывало.

Он был несказанно обрадован и потрясён от увиденного: его душа, чумазая, счастливо улыбаясь, сидела за рычагами трактора и боронила свежевспаханную землю. Он был так удивлён, что не мог сдвинуться

с места да так и остался там навсегда, превратившись в могучий разлапистый дуб, на котором отдыхали ветра и птицы, а внизу, под густой кроной, пели песни деревенские девчата под незатейливые аккорды семиструнной гитары.

* * *

Мы возвращались с прогулки, и каждый занялся своим делом: я уткнулся в чистый лист бумаги и задумался, а Джек, положив голову на лапы, умно стал глядеть на меня.

— Ты не хочешь быть собакой? – спросил он.

— Ещё чего! – возмутился я. – Кто тогда нас кормить будет. Нет, я хочу быть самим собой.

— Ты писатель?

— Да как тебе сказать. Когда пишется – то писатель, а когда нет – то просто как…

— Как собака?

— Пожалуй, да. Вы же собаки не сочиняете ничего, да и книг не читаете.

— Если нас на данный момент это объединяет, то давай погавкаем.

— Нет, лучше почитаю. Ты и без меня это прекрасно делаешь, особенно ночью. Спать не даёшь.

— Ну я же для порядка.

— А кота кто гонял в три часа ночи? Это ж надо – прямо через моё лицо сигали – хвостами по губам!..

— А он, мерзавец, на мою кладовую посягнул.

— Не преувеличивай. Твоя кладовая представляла из себя бублик, спрятанный за ножку шкафа.

— Два бублика.

— Ну пусть два. Ладно не мешай мне. Я буду читать.

— Джека Лондона?

— Да, его тоже Джеком зовут. Погоди, а откуда ты его знаешь?

— Сам рассказывал. Про собаку. Белый клык.

— Ну, у тебя и память!..

— Спасибо за комплимент. Ты мне и про «Собачье сердце» рассказывал.

— Да, было дело. И это уже… как его…

— Булгаков.

— Как-кая феноменальная память!

— Польщён. Давай погавкаем.

— Отстань, я же не маленький.

— А сколько тебе лет?

— Эх-х, цифра у меня круглая.

— Как бублик?

— Практически, да. Ноль, как бублик, а впереди пятёрка.

— Ужас, я не доживу до этих лет.

— Каждому своё. Ничего тут не попишешь. О, слышишь, под дверью орёт кто-то.

— Кот орёт. Не пускай его засранца, я его не простил за бублик.

— Ну не ночевать же ему на улице – там под сорок.

— Пусть в подвал идёт.

— Ох, ты и жестокий!

— Ладно, пусть заходит, только с уговором.

— Чего ещё.

— Пожарь куринные окорочка и угости меня.

— Да кончились окорочка-то. Вчера последний вон…

— Там ещё два. Заначил. Ты ведь пять штук покупал. Не стыдно.

— Слушай, ты ещё и в математике силён!

— А то, я же собака.

— А я?

— И ты, как собака умный. Давай погавкаем.

— Давай.

— Гав-гав!

— Гав-гав!

— Мяу, а вы чего тут разгавкались?

* * *

— Девушка, я бы хотел телефон в кредит приобрести.

— Вы уже выбрали себе модель?

— Да, вон тот за две девятьсот семьдесят.

— Мы ниже трёх тысяч в кредит не даём.

— Подумать только, из-за каких-то тридцати рублей…

— Да, это условия банка «Русский каприз», но если вы возьмёте к телефону сумочку, то это вполне потянет на кредит.

— Да, конечно, но сумочка… ого! Аж семьсот рублей. Неужели нет подешевле? Да и цвет у неё невзрачный – серый, как сама жизнь.

— Сейчас, мущина, серый в моде.

— Вы полагаете моей жене это понравится?! И за семьсот рублей!..

— Дешевле нет.

— Ладно, беру.

— Хорошо, сейчас мы с вас соберём данные.

— А эта процедура долгая? Я, понимаете, со смены, уставший я.

— Нет, нет, пять секунд. Кстати, поздравляю – со дня открытия нашего салона вы у нас тысячный клиент, и мы вам дарим, дарим мы вам… а что же мы вам дарим?.. а-а, вот этот махонький брелочек с логотипом нашей фирмы.

— Гм-м, .. спасибо, лучше бы скидку на телефон сделали.

— К сожалению, мущина, это в нашу акцию не входит. И так, мущина, ваше ФИО.

— Если сокращенно, то так же.

— Это как понимать.

— ФИО – Федорчук Илья Оттович.

— Надо же, ха-ха!.. И так Илья Оттович, что имеется у вас из недвижимости?

— Квартира и машина.

— Нет, нет машина это уже другое.

— Почему же, она тоже без движения уже пять лет, ремонта всё требует, а у меня с деньгами…

— Мущина, вы мне арапа не заправляйте, а давайте по делу. Так, пишем дальше. Девичья фамилия вашей мамы?

— А при чём здесь моя мама? Она никак мои кредиты не потянет.

— Ну это, мущина, не я придумала, это требования банка «Русский каприз», и все эти данные, мущина, в совокупности и будут составлять ваш код. И так, следующее: семейное положение, ага – по паспорту жена и дочь, правильно, мущина?

— Да, жена Света и дочь Катя пятнадцати лет.

— Возраст близких не имеет значения. Так, пойдём дальше: телефон ваших соседей?

— Ну вы даёте?! Да откуда ж мне знать. Мы вообще с соседями в плохих отношениях – они самогонку варят и такого отвратительного качества, что…

— Меня, мущина, совершенно не интересует какого качества самогонка у них, мне нужен только номер телефона.

— А для кода, допустим, не пойдёт, чтобы вместо телефона написать: соседи-сволочи?

— Слушайте, мущина, хватит издеваться. Отвечайте конкретно на поставленные вопросы: домашний телефон вашего начальника и вашу зарплату.

— А зарплату начальника?

— Не хамите. Так, дальше: справку о состоянии здоровья.

— Начальника?

— Нет, вашей жены.

— Да больна, она больна!

— Мущина, не нервничайте, пусть она будет и больна, я же сказала это для формы. И ещё нужно от вас заявление, что вы желаете сотрудничать с нашим банком в рамках этого кредита, и что обязуетесь погасить задолженность в срок, обозначенный в договоре.

— О, боже, вы же сказали, это займёт всего пять секунд!

— Ну если бы у вас с собой были справки, то да. Кстати, мущина, ну-ка, глядите вот в эту видеокамеру, так, так... очки снять, кепку тоже, вдруг наш банк не пропустит вас по компьютеру. О, что ж я раньше этого не сделала…

— Что, компьютер забраковал мой фейс?

— В том-то и дело, мущина. Точно – не опознал. Извините, вы не проходите на кредит.

— Да я же вам говорил, что я со смены, уставший, да и жрать хочется, вот физию и повело…

— Ничего страшного, приходите завтра.-

— Эх, кредит твою мать!

* * *

У одного мужика была сварливая баба. До того вредная — спасу нет. Терпел, терпел, ее мужик, потом взял свою ненаглядную да и зарыл в грядку, чтобы избавиться наконец-то. Думал, прорастет она, укоренится, да и с места не сдвинется – будет вместо пугала на огороде.

А год был урожайный, и вместо одной к осени у него выросло еще три бабы: все с одинаковыми мордами, голосистые, языкатые, стоят взявшись за руки и слюною брызжут по сторонам. Даже заплатки на телогрейках и те у всех одинаковые и в тех же местах пришпандоренные. И тут уже сам черт не разберет, где та, на которой он женился.

В общем, осенью снялись эти четыре бабы с грядки, землю с себя стряхнули, и в дом к мужику. Сели за стол и жрать требуют. А у мужика никак челюсть на место не становится. Струхнул он шибко. То, что четыре бабы и все одинаковые – полбеды, а вот то, что их кормить надо всю зиму – это уж слишком – где ж столько еды наберешься. И горько, горько он стал сожалеть, что вот так обошелся со своей благоверной. Терпеть конечно же невозможно сварливую бабу, но та ведь одна была, а теперь их вон сколько…

Накормил он конечно всех четверых, а уж спать побоялся с ними ложиться. Залез на сеновал и лежит размышляет, что с ними делать.Четыре работницы в доме это вроде и неплохо, но они же все одинаковые до жути, тем более каждая на него права иметь будет – запилят в четыре пилы. И если у первой язык был с полметра, то теперь такой же и у остальных. Холодный пот прошиб мужика. Слез он потихоньку с сеновала и подкрался к открытому окну своей спальни. Слышит бабы промеж собой шушукаются, как им лучше от мужика избавиться, да такой галдеж потом подняли... – каждая языком полуметровым хлещет другую…

В конце концов языки у них перешлелись между собой, как змеи да и завязались тугим узлом — не распутаешь. А мужик тут возрадовался да и поволок их кучкой поутру на рынок.

Собрался вокруг них народ, все смеются, пальцем тычут, а покупать никто не собирается. Один купец долго ходил вокруг да около, все приглядывался к товару. «Бабы, — говорит, — хорошие, крупные, и в хозяйстве очень даже пригодятся, да уж больно у них языки длинные». — «А это дело поправимое. – отвечает мужик, — мы счас их быстро укоротим». И берёт он тогда нож и хвать, хвать по языкам!.. Троим сразу отсёк лишнее, а вот четвёртая сбежала.

С тех пор она не показывалась мужику на глаза. И жил наш мужик спокойно и счастливо. Детей сам на ноги поднял. В поле трудился как мог. Только стал он замечать, что у его дочерей языки стали во рту не помещаться, всё норовят наружу выскочить, да позлословить без повода. И понял мужик – они в мать.

Постарался он их быстрее замуж выдать, пока языки полную силу не набрали.

Вот такая вышла история. Всё бы хорошо, но расплодилось с тех пор племя сварливых баб – редко в каком дому хозяйка спокойная, а если какой мужик ещё и в стопку заглядывает, то, как у нас говорится, вообще кранты ему.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРО ЧАЙНИК....3
ИНИЦИАТИВА....5
ДЕНЬ НЕУДАЧНЫЙ....8
МУЖИК С ОТВЁРТКОЙ....11
КАК МУЖИК ХОТЕЛ МЕДВЕДЯ ОБМАНУТЬ....12
ДВА КОТА....14
ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ....16
КАК МЫ С ДЯДЕЙ РИСОВАЛИ....31
КОГДА ДЯДЯ БЫЛ ЗАВКЛУБОМ....38
КРАСНАЯ МАШИНА....42
ВСЁ ДЕЛО В ТОРМОЗАХ....46
ЧТО РАССКАЗАЛ ДЯДЯ....55
КУДА СОЛНЦЕ ПОДЕВАЛОСЬ....60
СОКОЛУХА....63
КАК МЫ С ДЯДЕЙ РЕЧКУ ПОКОРЯЛИ....69
КРАСИВО ЖИВЁМ....76
ОСКОРБЛЕНИЕ....81
ЯЛМЕЗ....84
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА....89
УЧИТЕЛЬ....98
СХОДИТЬ К БОБЫЛЁВЫМ....102
УШАТИКИ....105
ПОЧЕМУ БАБА ВЕРА НЕ ПОЛУЧИЛА ПЕНСИЮ....108
ОКНА....112
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ....116
НЮСИНЫ НЕ СТИХИ....121
ПЕЧАЛЬНАЯ КОРОВА....124
КАК МЫ С ДЯДЕЙ БИЗНЕСОМ ЗАНИМАЛИСЬ....126
УБИТЬ ЗВЕРЯ....137
СПАСТИСЬ ЛЮБЯ....153
НЕ ШАХТЁРСКОЕ СЕРДЦЕ....156
Я ПРИШЛА....158
ВСЯКОЕ БЫВАЕТ....162

ТРИ ТОПОЛЯ.....168
ГАСТРОЛИ.....173
КРЕПКОЕ КРЫЛО.....179
ДЕВОЧКИ С ЧЁРНОЙ ГОРЫ.....186
АЛЛЕРГИЯ.....211
ДВА ХАРАКТЕРА.....215
КОРОТКО О ... .222

Литературно-художественное издание

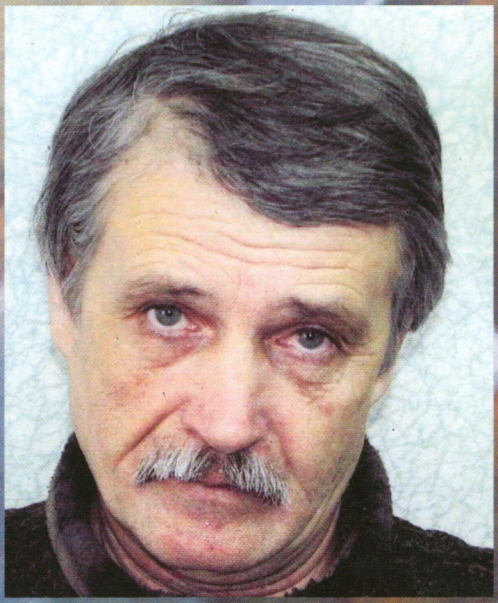
Александр Николаевич Брюховецкий
«Весело живем»
Рассказы

Редактор: Бурмистров Б. В.
Верстка: Майкина Е. К.

В оформлении обложки использована
репродукция картины автора «Житейское».

Союз писателей Кузбасса

Подписано в печать 05.07.2011 г. Формат 60x80/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Тираж 500 экз. Заказ № 538
Отпечатано в ООО ПК «Офсет».
г. Кемерово, 650001, ул. 40 лет Октября, 1Б.
Тел. (3842) 75-43-89, тел./факс (3842) 34-96-41.



Александр Брюховецкий, год рождения 1954. Автор и исполнитель собственных песен, профессиональный художник, член Союза художников России. Прозаик, член Союза писателей России, лауреат Всероссийского литературного конкурса им. В. М. Шукшина, автор двух книг прозы: «Летящий мужик», «Камень». Печатался в журналах: «Огни Кузбасса», «Литературный Кузбасс», «Лад Вологодский», «Молодая гвардия», «День и ночь», сборнике прозы «Светлые души».